

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей Российской Федерации,
Администрация Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Н.М. АХПАШЕВА
Б.Л. АЮШЕЕВ
А.Г. БАЙБОРОДИН
Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ
Б.Я. БЕДЮРОВ
В.А. БЕРЯЗЕВ
Б.В. БУРМИСТРОВ
С.В. ВТОРУШИН
В.В. ДВОРЦОВ
Б.С. ДУГАРОВ
А.И. ИВАНТЕР
В.Н. КАЗАКОВ
Б.Н. КЛИМЫЧЕВ
Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)
В.М. ЛОМОВ
С.Г. МИХАЙЛОВ
А.М. РОДИОНОВ
Э.И. РУСАКОВ
Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА
А.Б. ШАЛИН
В.Н. ЯРАНЦЕВ

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

1 январь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Алексей КАРТАШОВ. Остров. Повесть.	3
Валерия ИВАНОВА. День ангела. Рассказы.	49
Наталья ВОЛНИСТАЯ. О легкости бытия. Рассказы.	59
Александр РЫБИН. Мавзолей. Рассказ.	117
Александр БАБУШКИН. Зачем-то нужен. Рассказы.	130
Сергей СТАХЕЕВ. Сто десять метров с барьерами. Рассказ.	140

ПОЭЗИЯ

Лариса МИЛЛЕР. Для божьей маленькой коровки. Стихи.	47
Дмитрий РУМЯНЦЕВ. «Звездочка» за прилежание. Стихи.	56
Наталья АХПАШЕВА. О вселенских и личных невзгодах. Стихи.	112
Антон МЕТЕЛЬКОВ. Ночь-лисица съест луну... Стихи.	126

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Иван ПОДСВИРОВ. Тайна Григория Федосеева и его «Последний костер».	144
--	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Владимир ЯРАНЦЕВ. Лабиринты и отражения — 5.	165
Алексей ГОРШЕНИН. Поэтическая «прелесть смысла».	177

Книжная полка

Александр КАЗАРКИН. Уходящая натура.	188
---	-----

Авторы номера	191
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

ОСТРОВ

П о в е с т ь

В тот день Ганс проснулся первым. Лежал, приоткрыв глаза, смотрел на беленую стену и пытался удержать за хвост сегодняшний сон. Вспомнил наконец канву и снова удивился — насколько все было в этом сне реалистично и как логично сплетались все кончики сюжета. Прислушался — снаружи было тихо, Гретель не звенела чашками, не напевала своих странных мелодий. Протянул руку влево и улыбнулся — вот же она, рядом, лежит, закутавшись в простыню с головой, тихонько посапывает.

Раз уж удалось проснуться раньше, пойду сварю кофе, подумал он. Осторожно, чтобы не разбудить, встал, натянул вылинявшие шорты, выскользнул за дверь на террасу. Солнце только что выглянуло из-за Миндального холма, значит время — восемь пятнадцать.

Он прошлепал босыми загрубевшими подошвами по прохладному камню в дальний угол террасы, над самым садом, и разжег плиту. Пора было идти вниз, в город, за баллонами, но на сегодня-завтра газа еще должно было хватить.

Ганс не спеша крутил ручку кофейной мельницы и чуть щурясь смотрел вниз — через просторный сад с десятком деревьев и зеленой короткой травой, на плавный серпантин, на город и на Адмиралтейскую бухту. Море сегодня было совсем тихим, зеркальным, и только расходились клином волны от узкой рыбацкой лодки, возвращавшейся с утренним уловом.

— Доброе утро, Ганс! — Хозяйка выплыла из-за угла, за ней следовала чернокожая служанка с корзинкой белья на голове. Миссис Ройс содержала свой небольшой пансион в идеальном порядке, не жалела воды на стирку и мытье полов, хотя даже и ручьев на острове не было — собирали в огромные бочки дождевую воду, по хитрым желобам стекавшую с плоских крыш. Заканчивался сухой сезон, бочки были полупустыми и гулко отзывались, если стукнуть кулаком по нагретому железному боку.

Ганс и Гретель жили в пристройке с отдельным входом, не платили за пансион — да и нечем им было. Помогали миссис Ройс: Ганс возил из порта припасы, покупал рыбу, пилил и колол дрова, Гретель работала в саду. Сегодня, кажется, был выходной, но Ганс точно не помнил. Дни были слишком похожи один на другой.

Кофе начал приподниматься темным куполом, когда дверь скрипнула и Гретель высунула встрепанную голову.

— А, почуяла запах?

— Да! Налей мне, сейчас приду!

Через минуту она появилась, в наброшенном саронге, с коробкой самодельных сигар, примостилась у столика, с наслаждением закурила. Дым поднимался вертикально вверх.

— Что тебе сегодня снилось? — спросила она. — Интересное или страшное опять?



— Нет, не страшное совсем. Но странное, да.

— Расскажешь? Или там опять были посторонние девушки?

— Да ну тебя! Не было девушек. Но я жил в очень странном здании.

— Один, что ли?

— Да, один. Вернее, с соседом — у нас была у каждого комнатка, в половину нашей, общий душ и туалет.

Гретель поморщилась, видимо представив, как это — общий душ с неизвестным соседом.

— А что было у тебя в комнате?

— О, это я хорошо помню. Кровать, очень узкая. На одного человека. Даже тебя бы рядом не втиснуть.

— Перестань льстить, я же знаю, что я толстая.

— Совсем не толстая. Да, так вот... Еще был столик вроде нашего, с лампой под зеленым абажуром. Два стула. И высокий шкаф, а в нем на полках стояли книги. Очень много книг!

— Сколько?

— Ну меньше, конечно, чем в библиотеке в городе. Но думаю, штук двести было.

Она слушала недоверчиво, чуть наклонив голову.

— И все разные. Я помню, что на средней полке, куда легче всего дотянуться, стояли толстые, потрепанные книги. Нужно было очень быстро их читать и запоминать. Это было тяжело, я нервничал.

— Почему? Кому нужно было запоминать? Зачем?

— Хм... — Ганс растерянно пощипал короткую светлую бороду. — Не помню, — признался он. — Сосед мой тоже сидел целыми днями и читал свои книги. Но это не самое удивительное.

— А что самое? — Она отставила допитую чашку, подалась вперед, оперлась подбородком о ладонь.

— Самое было снаружи. Когда ты выходил из комнаты, то попадал в длинный коридор с сотнями дверей. Надо было долго-долго идти по нему, потом ехать на лифте. Помнишь, я тебе рассказывал про лифт?

— Да помню, ты каждый раз спрашиваешь! Давай дальше!

— Потом опять идти по коридору, но уже очень красивому, в мраморе, с картинами по сторонам. И ты приходил... — Он сделал паузу, принялся раскуривать сигару.

— Куда приходил? Что ты дразнишься! — она протянула руку и дернула его за ухо.

— Ну дай же раскурить! — он в шутку отбивался свободной рукой. — Приходил в магазин! Там можно было купить еды.

— И все это в коридоре?

— Да, в смысле — не выходя на улицу. А еще там были лифты, которые поднимали очень высоко. На самом веру можно было выйти и посмотреть в окно.

— А там что?

— Там было плохо видно, — признался он. — Высоко очень. Этажей, наверное, двадцать или тридцать. Внизу был город, тянулся страшно далеко, а моря не было.

— Хорошо, так что ты там делал, во сне? Кроме того, что читал толстые книжки?

— Практически ничего. У меня было всего несколько дней, я подсчитывал иногда, успею ли все прочесть. Мы с соседом по очереди ходили в магазин за едой. Или просто покупали бутерброды, на двоих. Я с ним даже не успел толком поговорить, потому что он тоже спешил.

— Ну и зачем все это было нужно, ты хоть понял? — продолжала допытываться Гретель. Видно было, что она слегка раздражена такими нелепостями.

Ганс попытался еще раз растолковать железную логику сна:

— Надо было прочитать толстую книжку, запомнить ее, а потом прийти и ответить на вопросы.



— Какие вопросы? Про что? Про то, что в книжке?

— Ну разумеется, иначе зачем ее читать?

— А зачем это нужно? Неужели нельзя посмотреть в книжке, если так уж при-
спичило? — недоумевала Гретель.

— Ну, может быть, это была редкая книга? Вообще одна такая?

— Пожалуй, да... Да, конечно. Прости, милый, я не сообразила. — И она снова повеселела.

Такие сны приходили к Гансу довольно часто. И всегда действие происходило в том же самом огромном, невообразимом городе — наверное, в тысячу раз больше, чем их Порт-Элизабет. Там стояли дома в десятки этажей, улицы были во много рядов в одну сторону, и ездили по ним по правой стороне, набиваясь в громадные автобусы. Иногда было так холодно, что приходилось надевать нелепую, тяжелую одежду. Ганс видел уже много разных мест в городе, и каким-то непостижимым образом они между собой связывались, состыковывались, комар носу не подточит. Самые нелепые вещи находили объяснение — например, маленькие книжечки с фотографией владельца и его именем. А как иначе быть, если народу столько, что запомнить всех невозможно? Или вот, мороженная рыба. Сам-то Ганс готовить толком не умел, но Гретель объяснила ему, что на второй день рыба начинает портиться, а если до моря далеко и за день не успеешь довезти, даже на машине?

Гретель тоже видела сны про большой город, но они довольно скоро выяснили, что города были разными, у Гретель поменьше. Зато в нем было две большие реки, и был он красивее. Впрочем, это трудно сказать, — может, она просто была чувствительнее к красоте и умела находить ее там, где другие скользили взглядом, не задерживаясь?

И что-то должно было случиться в Гансовых снах, чего он ждал иногда, со страхом и одновременно нетерпением, но ни разу не дождался. Видимо, должно было — в холодный сезон, когда люди мрачнеют и становятся раздражительнее.

— Милый, ты не забыл, что мы сегодня идем нырять?

Ганс вздрогнул, вернулся в ясное утро. И правда — сегодня все-таки выходной! Он счастливо потянулся, щурясь на солнце, и отправился в комнату, собирать оборудование.

Сегодня Карл из дайв-шопа не работал, так что они думали просто поплавать с маской в бухте, куда еще ни разу не добирались. Там, между прочим, была деревенька со странным названием Пти-Борделло, и Гретель уже язвила по этому поводу: «Может, один сходишь, что я тебе буду мешать?» Ганса подмывало сказать: «И правда, оставайся», — но уж очень было страшно ее обидеть.

Он сложил в сетку ласты, маски, трубки, плавки и купальник, в рюкзак запихнул флягу с водой, положил в карман нож, сигареты и спички, проверил часы. Вроде всё. Подумал — брать ли бутерброды или сейчас перекусить? Но так ничего и не придумал, взял с тумбочки пару яблок, бросил на дно рюкзака. В конце концов, что-нибудь там поймаем.

Миссис Ройс сидела в качалке под хлебным деревом — почему-то она совсем не боялась тяжелых плодов, которые иногда падали и разбивались о землю с глухим треском. Гретель жарила их с луком, и они тогда устраивали семейный ужин: почти что жареная картошечка, свежепосоленная рыба, пара рюмок местного рома. Миссис Ройс принимала приглашение, ела немного и с достоинством, потом рассказывала что-нибудь из истории семьи.

Была она мулаткой, но на острове почти никого белее и не было, мулаты представляли местную аристократию. Ройсы происходили из массачусетских, точнее, нантакетских китобоев, которые в начале двадцатого века откочевали в эти благословенные края, повыбивши всех китов на Джорджес-банке. Дед миссис Ройс обосновался в Порт-Элизабет, отец женился на местной красавице и ходил отсюда в море до старости, а сама она вдовела который год и даже вернула девичью фамилию — не доживать же век никому не известной миссис Грин.

Ганс, когда увидел ее в первый раз, вдруг вспомнил бабушку своего школьного друга. Он приехал к ним на море с отцом, хозяйка так же величественно держалась, осмотрела их и молча проводила в комнату под крышей. Когда друга его звали обедать, Ганса усаживали за стол без разговоров: «Дети должны есть суп». А когда уезжали, отец протянул деньги за месяц. Бабушка отделила половину и протянула обратно. Отец удивился: «А в чем дело?» «Мальчик здесь в гостях», — проговорила она царским тоном, повернулась и вышла, не слушая возражений.

Ганс потряс головой, в который уже раз. Он никак не мог понять — почему он помнит какие-то давние истории так ясно, а что-то, что явно было позже, совсем вылетело из памяти. Он подозревал, что и город из его снов ему знаком, но имя ускользало, и что он там делал, когда, зачем — не вспоминалось. Да он, честно говоря, не очень и беспокоился: ему было чем заняться.

Гретель вернулась из сада с корзинкой инжира, отобрала несколько штук, сунула ему в рюкзак, остальные поставила у заднего крыльца, в тени.

— Миссис Ройс, я собрала инжир, очень спелый! Мы побежали! — крикнула она через плечо и полетела, тонкая и длинноногая, вверх по тропинке.

Ганс вздохнул: он никогда не мог так легко скакать по горам. «Надо бросать курить, что ли», — привычно подумал он, потом так же привычно вспомнил, что и Гретель курит, махнул мысленно рукой и отправился следом.

В этот раз, однако, и Гретель в конце концов притомилась. Солнце было уже высоко, а они не дошли еще до перевала. А ведь этот кусок был покороче — их дом стоял высоко, а идти нужно было на другую сторону острова и спускаться к самому морю. К тому же они шли по обочине дороги, а вниз вела тропа, неизвестно еще, в каком состоянии.

Поднявшись на перевал, они присели в тени, глотнули воды, и Ганс спросил:

— Ну что, не передумала?

— А ты сам не устал? Тебе еще завтра идти за баллонами.

— Так это завтра!

И они тронулись вниз. Тропа была не так плоха — сухая, хоть и каменистая, большей частью затененная. Ганс старался не думать про обратную дорогу, хотя в голове вертелась странная фраза: «Какой длины ни задай полет — обратный кажется, что длиннее». Разговаривали мало, следили за дорогой, и постепенно тропа выровнялась, пошла по ровному месту, а вскоре впереди показался просвет и полыхнул океан.

Деревня стояла чуть в стороне, а на берегу сидели у костерка несколько голых по пояс негров, жарили рыбу на решетке. «Ганс, — попросила Гретель жалобно, — давай купим у них рыбы!» Мелочь еще оставалась, и они направились к костру.

Рыба была очень мелкая и какая-то непривычная — вроде рыбы-иглы. Но пахла соблазнительно. Самый страшный на вид негр снял решетку с огня и завопил, когда Гретель попыталась взять рыбину: «Не отсюда! Бери из кастрюли, там с соусом!»

И правда, новые порции ссыпали в большую кастрюлю без ручек, примостившуюся между камней, и поливали местным перечным соусом. Было необыкновенно вкусно, Ганс и Гретель еле оторвались, а негры уже, видимо, не могли проглотить ни кусочка и валялись вокруг, попыхивая сигарками. Один любовно сворачивал косяк, другой отговаривал его: «Рано еще, подожди до полудня хотя бы». Ганс протянул главному мелочь, тот недоуменно воззрился на него. Потом расхохотался:

— Это за рыбу, что ли?

— Ну да.

— Так ее тут полное море.

— Ну ты же старался, готовил, — убеждал его Ганс.

— Ну а если я бы к тебе пришел, а ты жарил рыбу, неужели ты бы меня не угостил? — полюбопытствовал негр.

Ганс рассмеялся, развел руками: согласен. Угостил рыбаков сигаретами, и они с Гретель отправились в дальний конец пляжа, где громоздились в море камни и, по слухам, обитала всякая красивая живность.



Пляж зарос какими-то неухоженными кокосовыми пальмами, сухие орехи лежали где кучами, где порознь, а несколько пустили корни, уцепились за песок и уже дали зеленые ростки. Ганс бросил рюкзак в символической тени, проверил, не висит ли над головой кокос, переделся. Гретель опять его опередила и пританцовывала на горячем песке, с маской на шее, а ласты надела на руки и собиралась дать ему шлепка по голому задку, когда он будет переодеваться в плавки, но Ганс почувствовал опасность и вовремя отскочил. Правда, ноги были стреножены шортами, так что он упал в песок, и они долго хохотали. Наконец все же добрались до моря, ополоснули маски и поплыли к скалам, которые начинались совсем недалеко от кромки воды.

Ганс больше всего любил этот момент — когда возвращаешься в море, погружаешься и плывешь над самым дном, через медленно колеблющиеся водоросли, и совсем не хочется всплывать за воздухом. Собственно, поэтому акваланг он любил больше всего, но и просто в маске он испытывал странное ощущение — как будто вернулся домой. Опять слышался ему голос, произносящий непонятное: «Таласса, таласса!» Он помнил, что так называется море, но на каком языке и почему в голосе звучало такое счастье — этого он даже не пытался вспомнить.

Гретель любила море не меньше, чем Ганс, а может, и больше, но объяснить, почему, не умела — или не хотела. Она могла плавать часами, и кожа от морской воды у нее становилась особенно нежной, как у дельфина; вот только потом вечером она мгновенно засыпала, и даже на любовь сил иногда не хватало.

Скалы оказались и правда интересными: кораллы здесь не жили, зато были в изобилии анемоны и звезды, а местами куртины красных, бурых и зеленых водорослей. Всего этого на рифах не было, и Ганс пытался вспомнить названия животных и растений. Он точно знал, что мог бы рассказать про них очень много, и ему все казалось, что достаточно одного имени — и прорвется плотина. Уж не про них ли он читал в книге в сегодняшнем сне? Нет, там было о чем-то другом, много формул — и он отвлекся на пятнистую черно-белую мурену.

Гретель не могла оторваться от анемонов. Она вообще-то их очень любила, но на другой стороне острова их было немного, и не таких красивых. Как-то она сказала Гансу: «Они такие нежные, что боязно и сердце разрывается», — а потом сама смутилась и покраснела. Сегодня она нашла один, редкой оранжевой, полыхающей окраски и все пыталась погладить его, а анемон мгновенно схлопывал щупальца. Гретель обижалась, но ненадолго, и снова повисала в воде над капризным цветком, ждала, когда он опять раскроется.

Они уже возвращались, когда вдруг вспыхнуло в голове, и он даже хлебнул ненадолго воды: да ведь не впервые он был во сне в этой комнате! И в прошлый раз он читал о водорослях. Фукус везикулёзус — вот как называется эта водоросль, с пузырьками, которые так смешно лопаются под пальцами! Ганс доплыл до берега, содрал ласты и нетерпеливо ждал Гретель, бормоча под нос странное название. Может, у нее есть карандаш и листок бумаги?

Гретель восприняла все очень серьезно. Сходила к пальме, принесла карандаш и блокнот и вручила ему («Руки только вытри сначала, а?»).

— Слушай, — поразился Ганс, — откуда это все у тебя?

— Из рюкзака, милый. Ты бы иногда интересовался, что там лежит. А то в следующий раз положу тебе пару кирпичей!

Ганс начал писать по-русски, но зачеркнул. Почему-то ему показалось, что писать надо английскими буквами, причем не по-английски, он бы никогда не написал таких слов без ошибок, а вот просто — «как слышится, так и пишется». Он написал: «Fucus vesiculosus», некоторое время смотрел на написанное, проверяя — не выглядит ли неверным, а потом зачем-то добавил букву «L» и точку. Теперь было в самый раз.

Гретель смотрела хмурясь, потом что-то решила и сказала: «Идем домой? Сегодня надо тебе поработать», — но видно было, что какую-то мысль она продолжает думать и даже немного тревожится. Ганс решил не тормозить ее — сама расскажет, когда время придет.



* * *

Обратная дорога была тяжелее. Они миновали знакомых негров, которые зашли уже по пояс в воду и не спеша тянули частую сетку, невод, а вода внутри вскипала от тех же мелких рыбешек. Углубились в пальмовую рощу, спугнули игуану невероятного зеленого цвета, срезали кокос и напились чуть мыльного сока. Передохнув, направились вверх по тропе. Против ожидания, они довольно быстро поднялись до дороги, но тут уже Гретель скуксилась, стала ворчать на жару и зачем они пошли в такую даль. Хорошо, попался попутный пикап со знакомым водителем, Ганс сел в кузове на пол, откинулся на мешок с рисом. Гретель свернулась клубком, положила голову ему на колени, даже, кажется, уснула, а он смотрел на убегающую дорогу и размышлял.

Что-то сильно смущало его в их нынешней жизни. Он был счастлив, сердце мгновенно теплело и таяло, когда он думал о Гретель, а уж тем более, когда она была рядом — вот как сейчас. Ничто вообще его не беспокоило: ни болезни, ни тревожные мысли, ни нужда, ни обязательства. Он немного и с удовольствием работал физически, а по вечерам, после шести, когда солнце садилось в бухте, писал забавную и бесконечную историю — о какой-то нездешней жизни. Он толком даже не мог понять, что его подталкивает писать о незнакомых ему, скорее всего вымышленных людях, но ему нравилось смотреть, как сталкиваются их характеры, как герои думают, обманывают друг друга и выручают из беды, страдают от невыполнимых желаний. Гретель раз в три дня перечитывала то, что он написал, разбирала самым жестоким образом — она была, когда надо, насмешлива и остра на язык, — а изредка хвалила и говорила: «Вот это — настоящее». Он не знал, чем закончится его история, и больше того — что сделают его герои в следующий момент, но это его не очень даже и беспокоило.

И вот недавно он понял то, что, казалось, было очевидно, но не приходило ему в голову много месяцев. Он неплохо знал человеческие характеры. Он знал несколько городов и стран, то есть представлял себе не только памятники и достопримечательности, но и каждодневную людскую жизнь, звуки улицы, и запахи, и погоду, и настроение, например, в Сизтле или Монако. Он только не знал — откуда он это знает. А главное — ничего не знал о себе самом, кроме обрывков детских воспоминаний, и это его не побеспокоило ни разу за время жизни в саду у миссис Ройс.

Пикап остановился на перекрестке под названием Четыре угла, они соскочили на обочину, помахали водителю и направились по тропинке вниз, к пансионату. Гретель ожила и строила планы — как они сейчас насыпят в вино побольше льда и будут с террасы смотреть на закат, а потом она нажарит китайской еды со свежими травами, которые они набрали три дня назад на соседнем холме, но в деле еще не пробовали.

Все так и получилось, по плану. Они сидели на террасе, смотрели, как солнце стремительно погружается в океан, как загораются огоньки на яхтах; слушали обрывки мелодий, когда бриз доносил их с набережной. Играли, видимо, в ресторанчике «Китовый позвонок»: слышно было и рояль, и саксофон, когда мелодия взлетала вверх.

Потом Гретель творила свою китайскую фантазию в сковородке-вок. Уже стемнело, искры летели в небо, блюдо пугающе скворчало и трещало. Потом они ели двумя вилками прямо из сковородки, столкнулись пару раз лбами, опять смеялись и дурачились.

А еще чуть позже Ганс включил лампу над столом и достал тетрадку. Перечитал последний кусок, чтобы вспомнить звуки и запахи, но сегодня рабочее настроение не накатывало, как это было вчера или позавчера — да в любой день, если подумать.

— Гретель, — спросил он, развернувшись на табуретке, — ты помнишь, как мы с тобой познакомились?

— Конечно. — Она пошевелила губами, считая петли, и оторвалась от вязания. — Ты сам разве не помнишь?

- Вот и расскажи, что именно ты помнишь. Мне надо.
- Для книги?
- Нет, просто так. Хочется понять — одинаково мы помним или нет.
- Хорошо. Я сидела и нюхала цветок. Потом подняла голову и увидела тебя.
- Где это было?
- В саду, у причала слева. У старой миссис Хоббс. Я сидела на берегу пруда.

У миссис Хоббс действительно был единственный на острове небольшой пруд, и вода в нем была даже в сухой сезон, правда солоноватая. Миссис Хоббс была тогда уже очень стара, и служанка вывозила ее в кресле на лужайку перед домом утром и вечером, на час, не больше, пока не слишком жарко. Она разрешала — правда, только хорошим знакомым — заходить в ее сад, сидеть в настоящей тени, под платаном, и любоваться цветами.

— Хорошо. А где я сидел? И что делал?

— Знаешь, — Гретель оживилась, — ты ведь сидел совсем рядом и тоже держал в руке цветок.

— Какой?

— Я не помню названия. Помню вот что: он рос в воде, на длинном стебле, и я его не срывала, а просто наклонила к себе. И ты тоже, — предупредила она его следующий вопрос.

— Так, а что случилось дальше?

— Ты спросил меня, причем так странно: «Кто ты?»

— И что ты ответила?

— Ничего, пожала плечами.

— Почему?

— Ну... не знаю. Как можно ответить на такой вопрос?

— Например, можно назвать имя. Или профессию, — предложил Ганс.

— Я не знала, что именно сказать.

— Хорошо, оставим этот вопрос пока. А дальше?

Гретель вздохнула, сложила вязанье в корзинку, пересела на пол, поближе к Гансу, обняла колени руками и посмотрела на него внимательно.

— Почему ты вдруг так подробно спрашиваешь?

Очень не хотелось портить ей настроение, и он даже на секунду подумал: со- врать? отшутиться?

— Понимаешь, мне вдруг показалось странным, что мы ничего не помним про себя самих.

Гретель нахмурилась. Видно было, что эта мысль ей еще незнакома и она примеряет ее.

— Я не думала об этом. Но ведь вспоминаешь, когда тебе плохо, или грустно, или скучно. А нам хорошо, правда же?

— Правда, — сказал Ганс совершенно честно. — Но давай все-таки попробуем вспомнить. Что было дальше-то?

— Ну... мы уже вроде познакомились, хотя не представились. Ты мне сразу понравился, тебя хотелось причесать и покормить. А дальше ты взял меня за руку, помог встать, и мы пошли по дорожке к дому. Там сидела миссис Хоббс, и она сказала: «А, Ганс и Гретель идут к пряничному домику». Так я узнала, что тебя зовут Ганс.

— Ага, а я узнал, что тебя зовут Гретель?

— Да.

— Так вот, я это тоже помню. И я теперь понимаю еще кое-что.

— Что?

— А то, что я узнал, что меня зовут Ганс, тоже от нее. А ты — что тебя зовут Гретель.

Она долго молчала, и видно было, что она сейчас не здесь, а в том самом садике. Наконец вернулась и тряхнула рыжей головой.

— Может, ты и прав. Но я никогда не задумывалась над этим, если честно. А откуда она знала, как нас зовут?

Ганс поколебался — стоит ли рассказывать дальше или подумать еще самому, и решил — надо уже выложить все сомнения. С кем еще ему было поделиться?

— Вчера я был в библиотеке, менял книжки. И попалась мне в руки вот какая... — Он вытащил из стопки на столе нижнюю, большую и потрепанную, в когда-то ярком переплете. На обложке еще можно было различить смешного человечка, в полосатом колпаке и с длинной бородой. Борода застряла, видимо, в расщелине бревна, и человечек пытался вырваться.

Ганс пролистал первые несколько страниц, потом развернул книжку и молча ткнул пальцем в заголовочек — под картинкой, где мальчик и девочка шли, взявшись за руки, по тропинке среди толстых узловатых деревьев.

— «Ганс и Гретель», — прочитала Гретель вслух. — Про что это, милый?

— Там мальчик и девочка заблудились в лесу и попали к ведьме. Она хотела их съесть, но они убежали. Да неважно! Посмотри на картинку, видишь, как они идут?

— Вижу. Мы тоже так везде ходим. — И она углубилась в книжку.

— Ну вот. Ты понимаешь теперь? — спросил Ганс, когда Гретель наконец подняла голову. — Она назвала нас так, потому что вспомнила эту сказку. Посмотри вокруг, на острове и имен-то таких ни у кого нет!

— Жалко, мы не успели ее спросить. Как ты думаешь, а она была ведьмой?

— Я не знаю. Вряд ли — разве ведьмы бывают?

— Я тоже не знаю, но ты помнишь, что она предлагала нам поселиться у нее? — Гретель вскочила и подбежала к нему, обняла за плечи. — Бедный мой! Она посадила бы тебя в хлев и откармливала к Рождеству!

Тут они оба наконец засмеялись.

— погоди, милая. Давай все-таки вспомним — а что было потом?

— Она угостила нас чаем с пряниками, очень свежими, потом предлагала пожить у нее, а когда мы отказались, дала записку к мисс Джонсон, а та послала нас к миссис Ройс. Мы пошли по Фронт-стрит, потом повернули вверх и добрались досюда. Ты нес рюкзак и сумку и один раз попросил передохнуть. Мне тебя было так жалко!

— А что несла ты?

— Свой рюкзак.

— Прекрасно. — Ганс задумался. Какая-то мысль не могла сконденсироваться у него в голове, и он ее пока отложил. — Пойдем покурим на террасу!

Было уже совсем темно, и даже в порту внизу почти не осталось света — только дрожали красные и зеленые корабельные огни. Цикады то вдруг разом замолкали, то опять начинали свою песню. Нагретая земля в саду пахла кукурузой и сухостью. Гретель прижалась к его плечу, потом долго щелкала зажигалкой, наконец закурила и отодвинулась, остался один огонек.

Ганс пытался найти границу между морем и небом, ну хотя бы между небом и склоном горы, но так и не нашел — разве что по звездам, которые вдруг исчезали в нижней части горизонта.

— Подожди-ка! — вдруг сказала Гретель растерянно из темноты. — Я сразу не поняла одну вещь. Ведь если она назвала нас так просто, из-за сказки, значит на самом деле нас зовут не так?

— Ну... скажем, не обязательно так, — уточнил Ганс. — Но скорее всего да. По-другому как-то.

— А почему мы не помним этого? Что случилось, в конце концов?

— Пойдем в комнату, будем думать дальше, — предложил Ганс, поднимаясь. Протянул руку в темноте, наткнулся на плечо Гретель, она судорожно вцепилась в его ладонь, и они вдвоем вернулись в комнату. Зажгли свет, нащарив выключатель на стене, потом маленький свет у кровати, потом погасили большой и легли не раздеваясь — она уткнулась носом ему в плечо. Они часто валялись так после занятий



любовью и болтали ни о чем, «мурчались», как выражалась Гретель. Сегодня она прижималась к нему тревожно, как будто искала защиты.

— Вот ты начал сегодня этот разговор, — сказала наконец Гретель, — и все как будто треснуло и накренилось.

— Прости. — Он чувствовал себя виноватым, уже давно. — Я не хотел, но мне надо было с кем-то поделиться.

— Да, конечно. — Она потерлась о его плечо щекой. — Но мы все пойдем, и снова все будет хорошо. Да?

— Обязательно. Я тебе обещаю. Ничего же плохого пока не случилось?

Гретель помолчала и подняла лицо:

— Я тебе еще одну вещь скажу. Мне кажется, что это все не просто так.

— Эти пчелы не просто так, — пробормотал он.

— Какие пчелы?

— Не знаю, — признался Ганс после паузы. — Это я тоже забыл. Но я знаю точно, что пчелы — это не просто так!

Они облегченно расхохотались, и Гретель пружиной вскочила, зажгла большой свет и стала крутить что-то вроде фуэте, пока не зацепилась краем юбки за кресло и не обрушила его с грохотом. Раздался еще и подозрительный треск, Гретель извернула шею и с придурочным воплем ухватила за бедро. Поздно: юбка треснула, даже не по шву, а поперек.

— Ну и ладно, — постановила Гретель, оценив урон. — У меня полный гардероб, а когда все кончится — мы еще что-нибудь придумаем.

Тут уже Ганс вскочил с кровати. Мысль поймалась.

— Достань-ка свой рюкзак, — потребовал он нетерпеливо.

— Зачем?

— Доставай, сейчас объясню!

Гретель покорно-комично вздохнула, полезла в чулан. Долгое время оттуда виднелась только ее нижняя половина, уже без пострадавшей юбки, — она еще и хулиганила, делала сомнительные движения, но Ганс на провокацию не поддавался, так что она через некоторое время разочарованно вылезла с запыленным рюкзаком и плюхнула его посреди комнаты: «Вот!»

Ганс осмотрел емкость, повертел в руках, раскрыл и, по всей видимости, остался доволен. Гретель смотрела с любопытством, но выдерживала характер, вопросов не задавала.

— А теперь трудное задание, милая. Могу даже сначала предложить тебе рюмку коньяку.

— Желая непременно рюмку коньяку! — важно заявила Гретель и села в кресло, закинув ногу на ногу.

Вообще-то, это была игра — главным любителем вечерней рюмочки был Ганс, но Гретель великодушно позволяла перекладывать ответственность на нее. Обычно она свою рюмку не одолевала, оставляла Гансу половину, и он, поворчав «наливаешь, а выпить не можешь» (хотя наливал-то сам), допивал за ней.

— Так вот, — сообщил Ганс, сделав добрый глоток и дождавшись волшебного тепла, — сейчас мы будем проводить эксперимент. Цели я тебе не сообщаю, чтобы не влиять на тебя.

— Хорошо, — кротко согласилась Гретель.

— Пожалуйста, достань из шкафа всю свою одежду и сложи стопкой.

— Это правда нужно?

— Да, правда.

Гретель вздохнула и направилась к шкафу. Одежды было немного: две юбки, белое платье, зеленое платье, пара шорт, джинсы, светлые брюки, несколько блузок, легкая куртка и главное сокровище — зеленая шляпка, подаренная миссис Ройс.

— Шляпку положи обратно. Теперь сложи рядом белье.

— Ты что, решил меня выгнать? — испуганно спросила Гретель.



— О господи, ты что! — Ганс вскочил, обнял ее и прижал к груди. Что-то хрустнуло, Гретель ойкнула и вывернулась, но выражение на лице было довольное.

— Ладно, ладно. Сейчас сложу. — И она сложила двумя аккуратными стопками несколько выгоревших футболок и всякие женские мелочи.

— А теперь упакуй это все в рюкзак, — продолжал Ганс, оглядев сложенное.

— Точно, решил выгнать, — констатировала Гретель, запихивая в рюкзак белье. — Слушай, помнется же! Я вчера гладила платье!

— Я сам завтра поглажу, если помнется, — пообещал Ганс. Он уже прикончил свою рюмку и с интересом поглядывал на ту, что Гретель беспечно оставила на столе.

— Врушка, — печально отвечала Гретель. — Ганс, ну все! Платье и юбка уже не входят!

— А если постараться?

— Если постараться, могу впихнуть. А юбку в клапан. Надо, да?

— Пожалуй, нет. Ты будешь допивать?

— А вот если я скажу, что буду, что ты сделаешь?

— Не знаю даже, — признался Ганс, но, видимо, он выглядел таким растерянным, что Гретель почесала его за ухом и отдала свою рюмку, уверяя, что ей хватит.

— А теперь рассказывай скорей, зачем это все!

Ганс помедлил, повертел рюкзак в руках — набит плотно, до отказа. Положил обратно, вздохнул и сел во второе кресло.

— У тебя есть обувь? — задал он риторический вопрос.

— Ты же знаешь — кроссовки, сандалии и дивные туфельки-балетки!

— Знаю, да. А еще у тебя есть ласты, маска, трубка и гидрокостюм, правда?

— Правда! — Гретель понравилась новая игра. — А еще у меня есть куча умывальных принадлежностей, две щетки для волос, ожерелье, три пары сережек, записная книжка для рецептов и старинная перьевая ручка. Да, еще часы! Вот, всё вроде бы.

— Часы мы купили здесь, правда?

— Правда. Я никогда не знала, сколько времени, и ты пошел в порт, целый день разгружал лед, тебе заплатили зарплату, и ты купил мне вот эти часы, водонепроницаемые до ста шестидесяти футов! — Гретель ужасно обрадовалась воспоминанию, сидела на столе и болтала ногами.

— погоди, я не про то. Остальное ведь все у тебя было?

— Было, а как же.

— А где все это лежало? Посмотри, твой рюкзак забит полностью.

Гретель растерялась, но только на секунду.

— В сумке, разумеется. У нас огромная сумка.

— Одна.

— Да, одна. — И тут до нее начало доходить.

— Ганс, а твои вещи влезут в твой рюкзак?

— Посмотри, он совсем маленький. И у меня еще пара здоровенных башмаков, бинокль в футляре, фляга, два ножа, выючные ремни, револьвер, компас...

— Да, понимаю. Значит, у нас была одна сумка на двоих.

— Получается, что так. Как ни комбинируй.

Они замолчали, потом Гретель решительно встала, откупорила бутылку и сама плеснула в обе рюмки. Одну протянула Гансу.

— Теперь давай думать всерьез. Давай-ка я запишу все, что мы пока узнали. — И достала свою драгоценную записную книжку из ящика стола.

Ганс не узнавал ее — и любовался ею как-то по-новому. Это была не его легкомысленная и доверчивая Гретель, а какая-то другая женщина, с жесткой пружиной внутри. И это было очень кстати сейчас.

Гретель сосредоточенно писала что-то, хмурилась, наконец отложила ручку.

— Вот, смотри, что у меня получилось. Мы не помним, где мы были раньше. Мы помним немножко из детства и юности.



— Да, я помню что-то. Но это было очень давно, — подтвердил Ганс.

— Мы познакомились с тобой в саду у миссис Хоббс.

— Да, но... ты же видела сама...

Гретель кивнула энергично.

— У нас была общая сумка с вещами. Значит, мы были знакомы раньше.

— А может быть, просто у меня в сумке были вещи, которые тебе подошли?

— Ну да, ласты, гидрокостюм, кроссовки, туфельки — и все моего размера.

И еще очки с моими диоптриями.

Ганс вспомнил, что у Гретель близорукость, минус один на правый глаз и минус одна вторая на левый, и что очки у нее есть, но она их никогда не носит.

— Да, хорошо. Я, собственно, хочу исключить всякую случайность. Значит, получается, что мы были знакомы раньше?

— И даже ехали куда-то вместе, — подтвердила Гретель. — Я запишу это?

— Уже, наверное, можно. А скажи: мы до этого жили на острове?

— Похоже, что нет, — промолвила Гретель после паузы. — Во-первых, у нас не было никакого жилья.

— Может, было, но мы уехали оттуда?

— Вряд ли. Вспомни — мы познакомились со всеми заново и никто не сказал нам: «Привет, как дела, что-то вас давно не было».

Ганс подумал — да, ведь они знают всех жителей Порт-Элизабет и со всеми познакомились, он хорошо помнит это.

— Ладно, ты меня почти убедила.

— И вот еще что! — воскликнула Гретель. — У меня от здешней воды волосы посветлели, за две недели. Сразу после того, как мы поселились у миссис Ройс.

— Посветлели? — поразился Ганс, глядя на нее.

— Ох, милый, — Гретель порывисто обняла его, — ну как можно быть таким невнимательным? Все вы, мужчины... — Она слегка запнулась и замолчала, и на секунду как будто посмотрела внутрь себя, но сразу вернулась: — В общем, поверь мне, они посветлели и с тех пор такими и остаются, — и повертела у него перед носом растрепанным хвостом.

— Тогда получается, что мы только что приехали. И с причала прошли в садик, это совсем рядом, — рассуждал Ганс. — Там мы еще что-то делали, потом сели у пруда, понюхали цветы, а потом заговорили... — Он неожиданно замолчал.

— Ганс!.. Ганс, что с тобой?

Ганс вздрогнул виновато, провел рукой по лицу, как будто снимая паутину.

— Очень странная вещь. Когда ты договорила, у меня в голове вдруг как будто кто-то засмеялся и сказал несколько слов.

— Кто? — подозрительно поинтересовалась Гретель.

— Очень знакомый голос. Я пытаюсь вспомнить. Погоди, не перебивай... сейчас... да! Конечно!

— И кто это?

— Тот же голос, который говорил: «О таласса!» И говорил опять непонятное.

— Ты не разобрал ни одного слова?

— Я их все разобрал, — объяснил Ганс терпеливо. — Но они на языке, которого я не знаю.

— Хорошо, но ты их запомнил?

Он виновато помотал головой:

— Хотя погоди. Одно слово было два раза: «Лотойо».

— Что это значит?

— Я не знаю, но он как будто сделал на нем ударение. Голос этот. И опять засмеялся.

Гретель задумалась на минуту, взяла записную книжку и снова стала писать что-то, прикусывая нижнюю губу. Наконец дописала и вздохнула с облегчением:

— Ну вот, слушай. Второе, что тебя беспокоит, — это твои сны. Они очень подробные, и ты думаешь, что это не сны, а воспоминания о той жизни, которую ты забыл. Так?



— Так, — подтвердил Ганс.

— Еще вот эти голоса и слова, которые тебе приходят в голову.

— Да.

— Смотри, я записала два слова и словосочетание: «таласса», «лотойо» и «Fucus vesiculosus L.». Правильно?

Ганс проверил придирчиво — да, все было записано точно.

— Так вот, милый. Завтра мы пойдем в библиотеку, и мисс Джонсон нам скажет, что они означают. А если она не знает — будем искать в книжках. И мы все найдем, обязательно! И отгадку найдем.

— Обещаешь? — Ганс с трудом сдерживал улыбку. Все-таки она была смешная, когда вот так утешала его.

— Да, обещаю! — торжественно ответила Гретель. — А теперь пойдем спать, а? Пожалуйста!

А потом, совсем потом, когда уже засыпали, он опять обнимал ее во сне, как будто боялся, что она убежит — обернется кошкой, к примеру, или ведьмой. Конечно, ведьму разве остановишь, но все-таки лучше придержать. Гретель смеялась над ним, но не отодвигалась и даже просыпалась, если вдруг не чувствовала этой нежной тяжести.

* * *

А на следующее утро все было уже как обычно, и Ганс открыл глаза от запаха гренок и кофе. Оказалось, правда, что в последние полчаса он пытался спрятаться под простыней, уверял, что ночью совсем не спал, и уже два раза обещал встать через пять минут. Пришлось признать поражение и вылезти на террасу к завтраку — все равно же придется вставать, а гренки лучше есть горячими.

Болтали о том о сем: не пришла ли какая новая яхта, пока они ходили на тот берег, стоит ли пойти с Карлом на глубокое погружение и куда именно, как поживает агава на альпийской горке (новое увлечение Гретель), — и наконец Гретель напомнила ему про вчерашнее.

— Ты не забыл, что мы идем в библиотеку?

— Нет, не забыл. — Ганс отвечал уверенно, но внутри все-таки сжалось. Он попытался проанализировать себя — отчего бы? Ведь там им всего лишь ответят на несколько простых вопросов. И стесняться вроде нечего: они не требуют никаких особенных усилий от библиотекаря, не идут просить денег или работы. Злых собак или белых акул там тоже не держат...

Он размышлял, дожевывая последнюю гренку, и нашел-таки ответ, который ему совсем не понравился.

— О чем ты задумался? — Гретель вывела его из оцепенения. Ганс колебался недолго — решил промолчать, пока все хоть сколько-нибудь не прояснится. Он ответил, впрочем, не кривя душой:

— Слушай, а ведь у нас тут очень хорошо?

Гретель не могла себе и представить лучшего места, чем этот флигель. В спальне все было просто и удобно, окна открывались на три стороны, так что бриз продувал ее в самые жаркие ночи. Огромная мраморная терраса сбегала лесенкой в сад, просторный и светлый, как раз как она любила, а в гостиной можно было сидеть в непогоду. До порта вниз идти было минут десять, не больше, но шум города и запахи базара не досаждали им — только ветер в кронах, иногда кукареканье и далекий прибой в шторм, вот и все, что они слышали. Если обогнуть дом и пойти вверх, ты выходил к перекрестку двух дорог, которые только и имелись на острове, и, дожидая минут десять, всегда можно было поймать попутку. А если хотелось пройтись — до самого отдаленного места было не больше двух часов ходу.

В саду росли, казалось, все местные виды плодовых деревьев, по одному дереву, и каждый месяц Гретель до оскомины наедалась каким-нибудь новым фруктом. Последним увлечением была жабутикаба: Гретель так и не поняла, на что это похо-

же, и каждое утро говорила: «Пойду-ка я попробую ее еще раз, вдруг пойму?» — а Ганс отвечал ей серьезно: «Да, конечно. Это твой долг, иди мучайся!» Тень от громадного баньяна прикрывала флигель после полудня, в самые жаркие часы, но вся бухта была открыта взгляду.

Все, с кем они успели подружиться, жили тоже неподалеку: и Майкл, возивший туристов на яхте, и пара художников, Джон и Саманта, один только Карл жил недалеко от берега в своем дайв-шопе, на втором этаже. Они иногда приходили к нему в шторм, пили на балконе дайкири и смотрели на прибой, ужасаясь и радуясь. Пару раз в прошлые годы, рассказывал Карл, ураган обрывал ему ставни, лушил черепицу с крыши, волны заливали первый этаж, но тут уж такое дело — от урагана никуда не спрячешься, нет такого места на острове.

— Да, — сказала наконец Гретель. — Но, увы, надо идти в город. Давай собираться?

Собственно, и собирать было особо нечего — рассовали по карманам кошелек, нож, блокнот и ручку, опустили жалюзи на окнах от дневной жары, прикрыли дверь, чтобы собаки не заходили, и спустились с террасы в сад. Тропинка вывела на дорогу вниз, к порту. Миновали школу, закрытую на каникулы, футбольное поле — там трое мальчишек перекидывались мячиком, ждали, наверное, когда еще хоть кто-нибудь подойдет. Дальше справа стояла церковь, небольшая, деревянная, внутри трое негров разучивали гимн, Ганс и Гретель немножко послушали и с сожалением двинулись дальше. Прошли мимо любимой финиковой пальмы — их было совсем немного на острове, все больше кокосовые, а финиковые посадил один из приехавших в середине прошлого века французов, беглецов из Алжира. Посадил не только у себя, но и вдоль дорог, так что дети рвали финики, иногда не дожидаясь даже, когда они созреют. Пальма росла ровно на поддороге к морю, дальше все было полого, прямо и жарко — ни одного деревца, вокруг только редкие сухие кусты, где бродили местные безрогие козы.

Они проходили этот кусок побыстрее, а там уже начинался город — Бэк-стрит, где располагались парикмахерская, автомастерская, отделение полиции и всякие мелкие лавочки, работавшие крайне нерегулярно, то с утра, то под вечер. Короткие переулки соединяли ее с параллельной Фронт-стрит — набережной. На Фронт-стрит протекала основная жизнь: тут тебе и бары, и ресторанчики, и несколько магазинов, и почему-то городская библиотека. Если пройти вправо, придешь к причалам, а влево — к круглой площади, которой Фронт-стрит и заканчивалась. Там, на брусчатке, располагались торговцы сувенирами, а по вечерам играли музыканты, народ танцевал, туристы пили скверные коктейли в баре у Бена, под соломенным навесом, и договаривались с местными девушками о любви, но вяло: девушки были не ахти.

Дальше, за площадью, дорога поднималась вверх и шла над берегом, а между дорогой и морем стояли на склоне несколько крохотных пансионатов, каждый с ресторанчиком на веранде над берегом. Сверху были парадные въезды, но можно было пройти в любой ресторан по дорожке вдоль моря. Ганс и Гретель иногда заходили выпить по коктейлю, когда вдруг заводились лишние деньги. Впрочем, у них все деньги были лишними — на что их тратить? Вино и табак, иногда какой-нибудь деликатес в лавочке у Джузеппе Больцоне. Больше всего они любили «Маленький сад» — там бармен Фил смешивал что-то свое, чрезвычайно тропическое. Конечно, как он это понимал — с разными фруктами, крошеным льдом, необыкновенными ароматами, и алкоголя добавлять не забывал, в отличие от своих коллег, так что не приходилось сразу заказывать еще. И смешивал он на двоих здоровенный, тяжелый шейкер, в котором оставалась минимум одна порция. Гретель даже не отдавала ее Гансу, а следила придирчиво, чтобы он честно разливал пополам. Играл там пианист, местный немолодой негр Чарли, обыкновенно слегка подвыпивший, и играл совершенно без программы, бесконечные джазовые импровизации, а иногда, в настроении, сальсу. Тогда Гретель танцевала, ее наперебой приглашали, потому что Ганс танцором был нукудышным. Гретель в шутку беспокоилась — не ревнует ли он

ее. Честно говоря, она была настолько не кокетлива, что с ней редко заигрывали, да она и не расстраивалась.

Но сейчас им было нужно направо, к библиотеке. Прошли мимо «Неряхи Джо». Майкл уже сидел там с кружкой «Хайнекена», разговаривал оживленно через всю веранду с огромной черной хозяйкой, но не забывал целовать проходящих женщин — конечно, только хороших знакомых, то есть некоторые проходили непоцелованными. Гретель строго сказала: «Я сама к тебе подходить не собираюсь!» — пришлось Майклу отрывать задницу от табуретки и спешить ей наперерез. Но улыбался он все равно во все тридцать два зуба и только привычно пожаловался: «Что ж ты меня все время воспитываешь, я тебе в отцы гожусь!» Дела у него шли вроде ничего, через неделю, как он сказал Гансу, приезжала пара каких-то ненормальных в свадебное полуторамесячное путешествие. Заплатили они половину вперед, Майкл уже нанял повариху, молоденькую девчонку откуда-то из Европы, и сейчас как раз объяснял ей, чем отличается стряпня в камбузе от обычной и как закупать продукты на долгое путешествие.

— Ганс, можно я тебе возьму кружечку? — предложил Майкл. — Мне с тобой бы посоветоваться насчет клиентов. А Гретель возьмем мороженого!

Они переглянулись.

— Давай попозже, после ланча? — предложил Ганс, Гретель чуть сжала его ладонь, одобрительно.

— Я уже очень сильно расслабюсь, — огорчился Майкл. — Какие дела после ланча, о чем ты говоришь? После ланча надо готовиться к вечеру. Если ты неправильно провел это время — всё, считай, вечер пропал. А это уж вообще последнее дело.

Повариха смотрела на него неодобрительно, наконец позвала:

— Кэп, я записываю, между прочим. Если вы будете со всеми трепаться, мы ничего не успеем.

— Вот, видели? — горестно спросил Майкл, обращаясь уже ко всей улице (они стояли ровно посередине Фронт-стрит, и несколько Майкловых друзей и подруг оставались засвидетельствовать свое почтение). — Нанял эту засранку Мишель. Неделя, как приехала из Парижа, и уже знает, как надо работать в наших краях. А на самом деле она даже французского не знает толком. Выгоню я ее к черту, пожалуй.

— Вы меня не можете выгнать, — возразила девица. — Мне тогда не на что будет жить, я пойду по рукам, умру под забором и буду к вам приходиться в страшных снах.

— Майкл, — сказала Гретель со смехом, — я вижу, экипаж у тебя уже подобран что надо. Ступай, учи девушку, а нам надо идти.

— Я не девушка, — откликнулась Мишель, — а матрос и кок, у меня так в контракте записано. Кстати, Майкл, там еще сказано, что меня будут кормить три раза в день.

— Не «будут», а ты будешь всех кормить!

— Это в море, а на берегу меня надо обучать и кормить. Мы до сих пор не завтракали, а уже одиннадцатый час.

— Правда? — поразился Майкл. — Сейчас закажу что-нибудь.

— Не надо, — откликнулась хозяйка, выходя на веранду со скворчащей сковородкой. — Я ей уже сделала омлет, а то ты ее голодом заморишь. Посмотри, какая худенькая, тебе не стыдно?

— По сравнению с тобой кто угодно будет худеньким, — справедливо заметил Майкл и встал покрепче в ожидании неизбежного ответа.

Воспользовавшись заминкой, Гретель утатила Ганса из теплой компании Майкловых друзей, которые уже давали хорошие советы, в основном на тему воспитания барышень и споров с женщинами.

Ганс все никак не мог привыкнуть к тому, что этот разгильдяй, вечно слегка навеселе, забывающий поесть, переодеться, не знающий, утро на дворе или вечер, в море становится совершенной машиной, содержит яхту в идеальном состоянии,



знает все отмели и рифы на Наветренных островах, прокладывает курсы хоть по GPS, хоть по звездам и может стоять вахту сорок восемь часов, если нет подмены. Однако, глядя на него на террасе «Неряхи Джо», многие потенциальные пассажиры не решились положиться на такого капитана. Майкл относился к этому высокомерно-философски; кстати, он и сам мог послать куда подальше даже самого щедрого клиента, если тот казался ему хамоватым или даже просто дураком. Так что особого капитала он не скопил, но у него была яхта и дом с плоской крышей под звездным небом, а больше ему ничего не требовалось.

Наконец они завернули за угол, за здание таможни, откуда доносились взрывы хохота, и через палисадник подошли к крыльцу библиотеки. Гретель охнула, увидев очередной распустившийся клематис, и Ганс решил не ждать ее, вошел один.

Ему нравилось здесь всё. И сам дом необычной архитектуры с высокими узкими окнами, и прохлада, и полумрак внутри, и особенный запах книг. И эхо тут было особенное — не такое, как в жилых домах, или в магазинах, или в портовых складах. Впрочем, похоже на эхо в мастерской Джона. И библиотекарьша была замечательная — мисс Джонсон, старая дева в седых бужах, тоже из китобойской семьи. Сама она училась в классическом университете где-то на материке, вернулась, замуж так и не вышла, но племянников и племянниц, теперь уже и внучатых, у нее было много. Для них она держала в высокой напольной вазе шоколадные конфеты — в библиотеке было всегда прохладно, и конфеты не таяли. Кроме шкафов с книгами, в комнате было множество удивительных предметов: компасы, секстансы, барометр, еще какие-то древние приборы — все из потускневшей меди, с четкими делениями, строгими циферблатами и шкалами. Старинный глобус, с любовно выписанными морскими чудовищами на месте Антарктиды. На стене — старый винчестер с отполированным стертým прикладом, рапира и кортик. Чучело аллигатора висело под потолком, белоснежный попугай бродил по клетке, цепляясь мо-золистыми лапами за прутья, — он умел открывать дверцу, иногда летал по комнате, но предпочитал проводить время у себя, качаясь в кольце и разговаривая сам с собой или с хозяйкой.

Все это, да и сам дом, когда-то принадлежало отцу мисс Джонсон. Он был из шкиперов. Две другие дочери вышли замуж, а мисс Джонсон осталась хранительницей. Старый Джонсон, говорят, был человеком образованным, всегда уважал книги, а на старости лет проводил дни в саду, в качалке, читая неспешные толстые классические романы, исторические сочинения, книги по естествознанию и даже отцов Церкви. После его смерти мисс Джонсон решила — не пропадать же библиотеке, и открыла ее для публики. Жители охотно жертвовали книги, иногда собирали деньги, помогали содержать дом в порядке. Как раз недавно Ганс чистил желоба, скоро ведь ждали первых дождей. Гретель, конечно, часто помогала в саду: мисс Джонсон последнее время мучил радикулит, и она только давала указания. К тому же она не всем доверяла, а про Гретель сказала при всех, повелительно: «У этой девочки “зеленый палец”, она мне может помочь».

Ганс вошел, слегка пригнувшись, через невысокую входную дверь. В старые времена строили потеснее, а Ганс был здорово выше большинства островитян и пошире в плечах, правда, худ и довольно нескладен на вид. И в помещении он как-то никогда не знал, куда себя деть, вот и сейчас, озираясь в поисках хозяйки, то хватался за стул, то прислонялся к косяку и в конце концов решил позвать на помощь Гретель. Они столкнулись в дверях.

— Куда ты собрался, милый?

— А ее нету, — начал было объяснять Ганс.

— И ты решил убежать? Нет уж, давай дожидаться. — И Гретель втокнула Ганса внутрь, не обращая внимания на его возмущенное сопение.

— Да не убежать я решил, а за тобой сходить! — наконец сумел объяснить Ганс.

— Боялся один не справиться? — съязвила Гретель, и тут на шум наконец спустилась сверху мисс Джонсон, осторожно ступая по лесенке.



— Дети, что вы расшалились? — Мисс Джонсон была строга и всегда называла их именно так, хотя у Ганса уже пробивались и в бороде, и в шевелюре седые волоски. Он и не возражал, наоборот, разговаривал со строгой библиотекаршей с особенным почтением.

— Мы пришли... — Он запнулся, не зная, с чего начать.

Гретель помогла:

— Мы пришли за советом, вы наверняка знаете!

— Смотря что, милая моя. — Мисс Джонсон на лезть особо не поддавалась и была о себе твердого высокого мнения. В общем, заслуженно высокого, как решили в свое время Ганс, Гретель и Саманта. Они сидели тогда втроем в мастерской у Саманты, пили чай собственного урожая и вспоминали разные эпизоды, когда мисс Джонсон решала, неспешно рассуждая, непростые задачи — например, как Саманте быть с Джоном, который не может работать без сердечных волнений. Послать его ко всем чертям, когда он влюбится в очередной раз, или незаметно управлять им поженски? Библиотекарша подобрала Саманте целый веер рассуждений разнообразных великих умов, а потом еще показала, как вывести из них тот ответ, который Саманте хотелось услышать с самого начала. Так они до сих пор с Джоном и живут, каждый в уверенности, что перехитрил другого. Впрочем, они так были всегда привязаны друг к другу, что эти маленькие забавные хитрости, полагала Гретель, можно простить с легким сердцем. Да и по любому вопросу, даже не такому болезненному, у мисс Джонсон находилось обычно оригинальное мнение, а если не было — она его формулировала у вас на глазах, с безупречной логикой складывая кубик за кубиком, и редко ошибалась в итоге.

— Это, наверное, очень просто, — начала Гретель, доставая записную книжку, но тут же поправилась: — Конечно, не очень, а то бы мы вас не беспокоили! У нас есть несколько слов, и мы не знаем, что они значат. — Она раскрыла книжечку в нужном месте и приготовилась прочесть.

Мисс Джонсон слегка приподняла одну бровь и остановила ее жестом.

— Скажи мне, деточка, а откуда у вас эти слова? Последнее, что вы у меня брали почитать — Ганс твой, точнее, — это детские сказки. Неужели оттуда?

— Нет, — смутилась Гретель. — Они из разных мест... из других, в смысле. Нам их вообще сказали.

— Ну хорошо, давай сначала слова, а потом уже поговорим, откуда они.

— «Фукус везикулёзус. Таласса. Лотойо», — раздельно прочитала Гретель.

Мисс Джонсон еще раз приподняла бровь, помолчала, потом спросила:

— Ганс, дай мне, пожалуйста, стул.

Присела к столу, жестом попросила блокнот и посмотрела на слова, покачала головой.

— Гретель, эти слова — из мертвых языков. Кто их тебе мог сказать?

— Ганс, — выпалила Гретель, тут же испугалась и жалобно посмотрела на него, даже чуть сжалась.

— Хорошо, Ганс, а откуда ты узнал эти слова? Присядьте, милые, мне неудобно задирать голову.

Ганс, придвигая табуретку, задумался: он вдруг вспомнил класс, три ряда парт, тоскливый запах мела и тряпки. Он стоит перед доской в сером неудобном костюме, уши горят, и учительница, высокая, в синем платье, спрашивает: «Откуда ты узнал такие слова? Завтра приходи с родителями», — и ужас сжимает желудок.

— Это странная история, мисс Джонсон. Первое слово я увидел во сне. Потом я понял, что это такое.

— *Fucus vesiculosus*, — повторила мисс Джонсон, ведя карандашом вдоль строки.

Тут Ганс поправил ее дотошно:

— Там еще в конце буква «L» и точка.

— А, тогда все совсем просто. Так что же это такое, по-твоему?



— Это такая водоросль. Их в море довольно много, особенно в Спринг-Бей. Со смешными пузырьками в листьях, и, когда их отрывает от дна, они всплывают.

— С пузырьками, ну правильно. *Vesiculosus* значит «пузырчатый», — пояснила библиотечарша, вытянув ящик из письменного стола. Она долго перебирала что-то и наконец извлекла пластиковую карточку размером с тетрадный листок, с яркими картинками. Ганс видел много таких у Карла, обычно на них изображали рыбок, живущих на рифах, и аквалангисты брали эти карточки с собой — определять, кто им встретился. Честно говоря, он особого смысла в этом не находил, просто любовался каждый раз как заново, но были такие дотошные туристы, которые даже потом, на палубе, в качку, записывали, кого видели, хвастались друг перед другом. Гретель тоже любила узнавать рыбок, но она обычно рассматривала картинки вечером, валяясь на кровати и дрыгая ногами, и все время отрывала Ганса от занятий: «Ой, посмотри! Вот такую мы видели сегодня, ну правда же?»

Мисс Джонсон, рассмотрев карточку, удовлетворенно кивнула головой и протянула ее Гансу. Сначала он несколько оторопел: тщательно выписанные водоросли были со всех сторон окружены иероглифами. Потом, однако, среди зарослей он различил латинские буквы, и рядом со знакомой водорослью увидел знакомые слова.

— Это она! — подтвердил Ганс. — Только без буквы «L».

Библиотечарша подняла палец торжествующе:

— Именно по этой букве я и догадалась. Дело в том, что все растения и животные имеют латинское имя из двух частей. Первая — название рода, вторая — название вида. А еще иногда в конце пишут имя того, кто первый описал этот вид.

— Так что значит «L»?

— Был такой великий биолог, Карл Линней. Он описал очень много видов и был вообще одним из первых систематиков. Так что из уважения к нему его имя пишут одной буквой — и так всем понятно, кто это.

Ганс не понял, почему из уважения оставляют только одну букву, но кивнул.

— Прекрасно. Дай мне карточку, положим ее пока в сторону. Во сне, значит, — пробормотала она и опять повернулась вопросительно к Гансу: — Давай дальше.

— А следующие два слова мне произнес голос в голове.

— У тебя в голове? — уточнила мисс Джонсон, постукивая карандашом по блокноту.

— Ну да. — Ганс рассказал про то, как он плыл под водой, над самым дном, и услышал голос; а потом слегка загнулся, потому что вдруг понял, что пока не хочет рассказывать больше, чем нужно, — никому, даже мисс Джонсон. Так что он быстро закончил: — А второе слово — это единственное, что я запомнил из длинной строчки, оно там было два раза, поэтому я именно его и запомнил, наверное.

— Ну, наверное, — с сомнением отозвалась мисс Джонсон. — Слова же все одинаковые, незнакомые. — Она повернулась к Гансу: — Расскажи мне подробнее про первое слово. Итак, ты нырнул?..

— Да. После долгого перерыва — сначала был ураган, все переболтало, потом мы ремонтировали дом, потом было холодное течение, потом я простудился и валялся дома. А потом был хороший, солнечный день. Во второй половине дня пришел Карл, принес каких-то фруктов, посидел со мной и уговорил меня сходить поплавать немного с маской и трубкой. Мы дошли до Спринг-Бей, я не стал даже надевать маску, просто вошел в воду по пояс, продышался и нырнул. Я плыл вдоль дна, там такая крупная галька, потом начинается песок и растут длинные плавные водоросли. Волной их слегка поднимает и опускает. И вот я плыл среди них, было так тихо, и солнце уже заходило, под водой быстро темнело, но еще все было хорошо видно. И я почувствовал... — Ганс загнулся, стараясь найти слово, — как будто я под вечер вернулся домой, где очень долго не был, и меня ждут.

— Домой?

— Да.

— К себе, во флигель?

Тут он запнулся опять. Слово «домой» он произнес машинально, не думая над его смыслом, а теперь пытался вспомнить — о чем же он тогда подумал? Но нет, он действительно ничего не представлял себе.

— Нет. Понимаете, просто всплыла в голове фраза: «Я вернулся домой».

— Хорошо, — кивнула мисс Джонсон. — И что же было дальше?

— А дальше я услышал голос, как будто издадалека. Он раздавался у меня в голове.

— Ты точно знаешь, что именно в голове?

— Да, точно, потому что под водой голос не слышен, — объяснил Ганс. — И он кричал: «Таласса, таласса!»

— Что ты еще запомнил?

— Больше ничего он не говорил. Я только помню главное — что голос был очень счастливым. И еще почему-то я понял, что это слово означает «море». И я подумал: вот и он понимает, что я чувствую.

— Да, он понимал, и очень хорошо, — отозвалась мисс Джонсон задумчиво. Она сидела со странной улыбкой, как будто глядя куда-то внутрь себя. Потом встрепенулась и подняла глаза на Ганса: — Это очень просто. Погоди минутку! Подойди-ка вон к тому крайнему шкафу.

Ганс открыл тяжелую дверцу. В этот шкаф он раньше не заглядывал, здесь стояли солидные книги в темных переплетах и сильно пахло пылью и чем-то старым. Он с трудом дотянулся до верхней полки и извлек, по указаниям мисс Джонсон, томик в черном коленкоре, со стертым корешком. На передней обложке было золотом написано что-то, но странными буквами — наполовину русскими, наполовину английскими; некоторые буквы были вообще смешными и непонятными.

Мисс Джонсон торжественно открыла книгу, долго листала ее, водила пальцем по строчкам, шевеля губами, снова перелистывала страницы. Наконец она нашла то, что искала, положила раскрытую книгу на стол, а на страницу — плоскую бронзовую плашку, сняла очки, подняла глаза и откашлялась. Ганс и Гретель сидели тихонько, ждали.

— Это очень старая история, ее мало кто помнит, — начала мисс Джонсон. — Прошло уже две тысячи четыреста лет с тех пор. Царь Кир из Персии нанял греческих воинов. Среди них был один, по имени Ксенофонт, который потом написал эту книгу. В одной из битв Кир был убит, и греческие воины решили отправиться домой. Идти было очень далеко, и дорогу они знали плохо.

— Очень далеко — это сколько? — поинтересовался Ганс.

— Если знать дорогу, да нигде не задерживаться, и налегке — несколько недель, наверно. А они шли через чужую страну, непохожую на их Грецию. Совсем непохожую, — подчеркнула мисс Джонсон и сделала паузу. Казалось, она ждет вопроса.

— Чем непохожую? — спросила на этот раз Гретель.

— Понимаешь, детка моя... греки эти все выросли у моря. Они с детства плавали, умели обращаться с веслом и парусом, ловить рыбу. А в той стране, куда их занесло, кругом были только равнины, горы, сушь и камни. Они никогда раньше не забирались так далеко в глубь континента. И шли они через враждебные земли, на них все время нападали то разбойники, то местные жители. Шли очень долго. И вот наконец что случилось... — Тут она надела очки и обратилась к книге. — Я буду переводить вам, тут по-гречески. Давайте отсюда, — решила она, и начала читать, медленно, с паузами, подбирая слова и, видимо, пропуская кусочки.

«Когда солдаты авангарда взошли на гору, они подняли громкий крик. Услышав этот крик, Ксенофонт и солдаты арьергарда подумали, что какие-то новые враги напали на эллинов спереди, тогда как жители выжженной области угрожали им сзади».

— Эллины — это кто? — спросил Ганс, напряженно слушавший.

— Это греки, так они называли себя сами. Вот, слушайте дальше.

«Между тем крик усилился. Непрерывно подхлотившие отряды бежали бегом к продолжавшим все время кричать солдатам, отчего возгласы стали громче, поскольку»



ку кричащих становилось больше. Тут Ксенофонт понял, что произошло нечто более значительное».

Она подышала на стекла, протерла очки и продолжила:

«Он вскочил на коня и в сопровождении Ликия и всадников поспешил на помощь. Скоро они услышали, что солдаты кричат: “Море, море!” — и зовут к себе остальных. Тут все побежали вперед, в том числе и арьергард. Когда все достигли вершины, они бросились обнимать друг друга... проливая слезы».

Мисс Джонсон тихо закрыла книгу, и все некоторое время молчали.

— Да, они кричали: «Таласса, таласса!» Ты понимаешь, почему они плакали? — спросила она мягко, обращаясь к Гретель.

— Потому что они увидели море.

— Они знали, что теперь доберутся домой, найдут дорогу... — начала мисс Джонсон, но Гретель упрямо помотала головой и улыбнулась.

— Нет. Они уже пришли домой. Они увидели море.

— Может быть, ты и права, — неожиданно легко согласилась мисс Джонсон, обернувшись было к Гансу, но, увидев его лицо, решила не спрашивать ни о чем.

Ганс стяхнул оцепенение и спросил сам:

— Так кто же говорил это у меня в голове? Ксенофонт?

— Такое объяснение тоже может быть, — отвечала мисс Джонсон. — Но есть, милый мой мальчик, такой принцип — начинать с более простых объяснений. Не привлекая сверхъестественных сил.

Ганс подумал, и принцип ему понравился. Он только пока не мог понять, как его применить.

— Ну, это просто, — отвечала мисс Джонсон. — Например, ты когда-то слышал эти слова, просто забыл. Слушал постановку по радио, например. Или кто-то при тебе рассказывал эту историю, с выражением. Слова долго дремали у тебя в памяти, а в нужный момент всплыли.

«Слишком много я всего забыл, — подумал Ганс про себя. — И слишком многое вспоминаю теперь».

Так или иначе, и второе слово они разгадали. Мисс Джонсон отложила книгу в сторону и опять обратилась к Гретель:

— Третье слово было... «лотой»? — Она мельком глянула в записную книжку.

— Да, — ответили Ганс и Гретель почти хором.

— Если это то, что я думаю, то скорее всего это одна из форм слова «лотос». И тогда это опять на древнегреческом.

— Что такое «лотос»?

— Да вы видели его, — заметила библиотекарьша. — Это цветок, который один год даже рос в саду покойной миссис Хоббс. Он растет в воде и поднимается над поверхностью.

Ганс и Гретель переглянулись, и Гретель спросила, очень спокойно:

— А это какой-то особенный цветок?

— Цветок редкий, красивый. Но ничего особенного в нем нет. Разве что... есть у меня одна догадка, но, к сожалению, я не могу пока ее проверить. У меня нет этой книги.

— Какая догадка? Какая книга? — заволновалась Гретель. Ганс знал, что у нее сейчас покалывает в ногах, хочется немедленно вскочить и куда-то бежать, и она силой заставляет себя сидеть смирно.

— Есть такая книга, «Одиссея», — отвечала мисс Джонсон. — Разве ты не читала ее? И никогда не слышала?

Гретель огорченно покачала головой.

— Герой плывет домой после войны.

— Тоже эллин? — догадалась Гретель.

— В общем, да. И вот он с товарищами приплывает на остров, где живут лотофаги. Это люди, которые питаются плодами лотосов. Тот, кто отведал этого плода,



забудет все, что с ним было, и навсегда останется на острове лотофагов. — Она замолчала.

Сердце как будто на мгновение провалилось — и тут же застучало так, что Ганс слышал удары крови в висках. Он не мог даже посмотреть на Гретель, только видел перед глазами нежно-розовый цветок и ощущал пальцами резиновый влажный стебель. «Ну вот, — вертелась в голове пустая бесцветная мысль, — ну вот...» Резкие крики чаек доносились с улицы, и запахи соли, рыбы и цветов показались ему чужими и незнакомыми. Он услышал, как будто из-за стены, голос Гретель, нарочито беззаботный:

— А если лотос только понюхать?

— Не помню, — послышался ответ. Понемногу звук возвращался. — Я должна посмотреть в книге, но пока не могу.

— Вы совсем-совсем не помните? — продолжала все же допытываться Гретель.

— Честно говоря, нет. Но ведь это все равно только книга, может быть, там было сказано так, а может, иначе.

— Наверное, если только понюхать его, — задумчиво проговорила Гретель, — то сначала все забудешь, а потом начнешь вспоминать.

— Это красивая мысль, — одобрила мисс Джонсон. — Вот подскажи ее Гансу, пусть он вставит ее в свою книгу.

Ганс заставил себя улыбнуться:

— Но ведь я же пишу не сказку.

— Гомер тоже писал не сказку, — заметила мисс Джонсон. — Это миф, и он сам в него верил.

— Мисс Джонсон, — вмешалась Гретель, — а что значит «пока не могу проверить»? Вы сказали сейчас...

— Да, пока не могу. Я не помню всего текста, а книги у меня нет. Но через несколько дней смогу ее получить.

— Почтой, с материка?

— Нет, скоро должен прийти корабль-библиотека, а у них столько всего!.. — Она улыбнулась.

Опять стукнуло сердце. Ганс проглотил вопрос, поднялся с табуретки и подошел к Гретель.

— Мисс Джонсон, спасибо вам огромное! Мы зайдем еще попозже, ладно? Нам надо на рынок.

— Ну что вы, вам спасибо, что не забываете старушку. Это все очень интересно и довольно странно. У меня вертится что-то в голове, но сейчас я не могу вспомнить. Пойду прилягу, — она глянула на часы в угловом шкафу, — а вечером, если хотите, заходите на чай. Я ведь не ужинаю теперь, доктор Гульддинг не разрешает.

Гретель пыталась спросить еще что-то, но Ганс чуть сжал ее плечо, и она кивнула, тоже почти незаметно. Встали, распрощались и вышли в ослепительный полдень, Ганс зажмурился на несколько секунд, прежде чем ступить с крыльца в палисадник. Снаружи было не видно, как из полутемной библиотеки мисс Джонсон внимательно и грустно смотрит им вслед.

Не сговариваясь, они вышли на улицу и повернули налево, в сторону дома. Гретель только бросила взгляд на Ганса, немножко успокоилась и зашагала рядом с ним, не обгоняя, принаравливаясь к его шагу.

— Мы ведь домой? — спросила она, когда они повернули еще раз. Ганс кивнул — да, конечно. Постарались проскочить незамеченными мимо «Неряхи Джо», Майкла уже не было, остальным махнули рукой, и Гретель даже улыбнулась и скорчила физиономию — заняты, мол. Когда они вышли из города, Гретель первая спросила:

— Ты понял?

— Не все, но многое. Давай-ка пойдем на Спайс-хилл, там поговорим.



Это было их любимое место — старая заброшенная плантация, где когда-то растили гвоздику и кардамон, а теперь были те же сухие джунгли, что и везде. От конторы остался остов из грубо отесанного известняка, и они любили сидеть на крыльце или в проеме двери. Птиц там было видимо-невидимо, непуганых, и народ почти не забредал, нечего там было делать. Дорога тоже была старая, мощенная плитами из того же известняка, еще различимая в колючих кустах. И тишина была особенная.

Гретель присела в тени акации, достала из рюкзака бутылку воды, отхлебнула.

— Рассказывай ты первый.

— Вот что получается. Давай я сначала, пока не забыл, скажу про этот несчастный фукус. Я теперь уверен, что мои сны — это про настоящую жизнь. Я бы не смог придумать такого слова, и еще с этой буквой «L» в конце.

— А ты не мог видеть этого у Карла, на карточках?

— Нет, ты же помнишь: у него только рыбы и ракушки. И названия по-английски.

— Я видела и по-латыни, — вспомнила Гретель. — Но только рыб. И было всегда два слова, без всяких букв в конце.

— А я помню цветную картинку, с этим фукусом. Там были еще несколько водорослей. И картинка была вклеена в толстую книгу, в конце. Я не смог бы во сне такого придумать, Гретель, — повторил он.

— Значит, это было. — Она подвинулась к нему поближе. — Это не страшно, ведь у тебя все равно была какая-то жизнь, а что тут плохого — читать книги про водоросли?

— Я все вспомню, — пообещал Ганс, нагнулся поправить ремешок на сандалии и, наверное, от этого не заметил, как ее губы чуть дрогнули. — Теперь «таласса»... это тоже из прошлой жизни, Гретель. Почему я запомнил эти слова?

— Это как раз просто, — мягко ответила она и обняла его за плечи, прижалась легонько и теперь уже улыбнулась.

— Просто? — Он был озадачен.

— По-моему, да. Я просто глупая женщина, которая тебя любит, — дай договорить! — Она закрыла ему рот ладонью. — А ты больше всего на свете любишь море. Больше, чем меня, правда?

— Неправда! — Он наконец оторвал ее руку и обнял ее, и они долго сидели, прижавшись боком друг к другу и просто молчали, слушая тепло и движение крови.

Потом Гретель вздохнула, успокоенная, и посмотрела на свои руки критически.

— Маникюр я не делала не помню сколько, а ты мне не напоминаешь. Но все равно у меня самые красивые руки! Ничего больше, правда, нет... Тебе нравятся, наверное, женщины в теле?

— Ох, болтушка. Давай поговорим о лотосе, — печально отвечал Ганс. — Я понимаю, что не хочется, но это ведь самое главное.

— Да, милый. Я просто, знаешь... хотела быть уверенной, что ты готов, — отозвалась Гретель. Она снова неувовимо изменилась, опять вернулась та вчерашняя пружина. Гансу даже показалось на мгновение, что Гретель старше его.

— Получается так. Мы вдвоем приехали сюда. Мы уже были вдвоем. Нас звали как-то по-другому. — На каждую фразу Гретель кивала согласно. — Мы пришли в сад к миссис Хоббс, сели у пруда, понюхали лотос...

— Да, и все забыли, — закончила Гретель.

— И теперь главный вопрос. Ты понимаешь какой?

— Понимаю. Как это получилось? Случайно?

— Ох, вряд ли. Ты обратила внимание вот на что: лотос рос у нее всего один раз, в прошлом году, когда мы приехали. Цветков было ровно два, и они только распустились. А через неделю их, наверное, уже не было.

— Да. И миссис Хоббс жила уединенно, к ней мало кто заходил. Уж из приезжих — точно никто.



— А мы зашли, и она пустила нас в цветник, — продолжил Ганс. — Да. Это было не случайно.

— Хорошо. — Гретель подняла глаза. — Тогда второй вопрос: мы сами это все придумали? Или?..

— Опять угадала. Вот как я думаю: что бы с нами ни произошло — кто-то это сделал. Спланировал и сделал. В смысле, это не само по себе произошло.

— Почему ты так думаешь? И кто это такой — «кто-то»?

— Не знаю почему. Понимаешь, уж слишком все гладко получается. Мы приехали сюда ровно с теми вещами, которые нам нужны, — ни больше ни меньше. Нас сразу направили туда, где все как будто устроено для нас.

— Послушай, а почему не могло быть так, что мы сами все спланировали, а потом просто забыли?

— Может быть. Но такое впечатление, что нас ждали. Нас передавали из рук в руки — миссис Хоббс, мисс Джонсон, миссис Ройс. И все они знали, куда нас направить дальше.

— Но миссис Хоббс предлагала нам остановиться у нее?

— Да. А когда мы отказались, она кивнула и сказала: «Я знала», — внезапно вспомнил Ганс. Он чувствовал, что память его светлеет, но пока не рисковал зайти за черту, туда, откуда они пришли в сад у причала.

— Хорошо, давай пока примем это. Что нас сюда привез или прислал кто-то. Так почему тебя это тревожит?

— Во-первых, мне не нравится, что кто-то за нас все решил.

— Подожди. Тебе плохо? Тебе что-то здесь не нравится? — Она села перед ним на корточки, заглянула в глаза.

Ганс почувствовал укол совести: он никогда не видел ее такой встревоженной. Взял за плечи, притянул к себе.

— Ну что ты! Все очень хорошо. И из-за этого, наверное, всякая ерунда в голову лезет.

Гретель мотнула головой:

— Это не ерунда. Давай дальше рассказывай.

— На чем я остановился? Ах да. Мне не нравится, что за нас решили и все за нас сделали, потому что... во-первых, потому что не хочу, чтобы за меня решали.

— «Во-первых» уже было. — Она слабо улыбнулась и шмыгнула носом.

— А я по новой начал считать!

— Вот, заврался совсем и выпутываешься!

— Ну погоди, послушай дальше. Самое главное даже не это. А то, что если мы попытаемся понять, для чего они это сделали... понимаешь?

— Если честно, то нет.

— Что-то изменится. Того, что было, уже точно не будет.

— А что будет? — Она подняла глаза и смотрела очень серьезно.

— Этого я не знаю. — Ганс смотрел не отводя глаз, хоть ему и было неуютно.

— Знаешь, Ганс, — она назвала его по имени первый раз за много дней, и он чуть насторожился, — я думаю, того, что было, не будет уже в любом случае.

Они молчали довольно долго. Потом Ганс встал, подал ей руку:

— Значит, давай искать?

— Давай. — Она встала. — Только сейчас пойдем, наверное, домой. Я очень устала, если честно. И мне надо посидеть и подумать.

* * *

Ничего они в тот день не придумали. Посидели за чашкой кофе, перебрасываясь вялыми фразами, — и мыслей новых в голову не приходило, и не хотелось говорить там, где могли услышать. Почему-то Гансу казалось, что не надо ни с кем делиться этими открытиями, и Гретель согласилась с ним. Почему именно не надо — они не обсуждали, просто было ощущение настороженности.



Вечером Ганс никак не мог приняться за работу, голова была занята не тем. Перечитывал последний кусок и не понимал, что же произойдет дальше. Наконец он отложил с досадой ручку, поднял глаза — Гретель смотрела на него, как-то необычно грустно. Впрочем, она сразу повеселела:

— Ну что, милый, ты соскучился по мне?

— Ага, — признался Ганс с облегчением. — Я к тому же вспомнил, про что хотел спросить у мисс Джонсон.

— Про корабль-библиотеку, — почти утвердительно предположила Гретель.

— Да. Что это, как ты думаешь?

— Я думаю, что это... такой корабль?

— А на нем библиотека?

— Да, — отвечала Гретель радостно.

— Какая ты у меня умница, ну просто невероятно! — воскликнул Ганс, и Гретель, с возмущенным воплем схватив подушку, принялась бить его по голове, а он закрывался, просил пощады, а потом, изловчившись, схватил ее поперек живота и бросил на кровать. Когда Гретель была окончательно обезврежена, Ганс первым предложил мировую, она подулась для порядка, но вырваться не могла, пришлось согласиться — на условии, что он должен будет ей семь порций мороженого. Сторговались на одной порции и еще на аленьком цветочке.

А потом, совсем поздно ночью, они лежали на совершенно мокрых простынях, и Ганс, когда пришел в себя и смог говорить, спросил чуть тревожно:

— Что это было? Что с тобой сегодня?

Она уткнулась носом ему в плечо и помотала головой отрицательно. Потом ответила, шепотом:

— Не знаю. Просто я поняла, что очень люблю тебя. Это ведь не страшно?

— Нет. — И он обнял ее покрепче. Так они и проснулись утром.

* * *

Гретель сидела в библиотеке и читала толстую книгу о путешествиях. Мисс Джонсон обещала быть в час дня, и Гретель уже который раз смотрела на свои водонепроницаемые часы. Она была сегодня одна, Ганс отправился с Майклом на Майклову яхту, проводить профилактику перед долгим рейсом. Вопросы она сформулировала и даже записала, рассказы про бедуинские нравы в голову не лезли, так что она наконец с досадой захлопнула книжку — и ровно в этот момент величаво закрипела входная дверь: мисс Джонсон вернулась с прогулки.

— Сегодня не так жарко, и я что-то засиделась в кофейне, — извинилась она. — Ты нашла, что почитать? Дай-ка я налью тебе лимонаду.

Они вышли в сад через заднюю дверь, Гретель несла прохладный кувшин, а хозяйка — две глиняные чашки. Уселись за мраморный столик с отбитым краем, под старой глицинией. Уже давно сгнила беседка, которую строил шкипер Джонсон, а глициния все сохраняла ее форму.

— Ну что, моя девочка? — спросила мисс Джонсон. — Не выпалась?

Гретель неожиданно покраснела, не сразу сообразив, про что ее спрашивают, а библиотекаря продолжала:

— Я и сама очень заинтересовалась — что же это за голоса, которые слышатся твоему Гансу. И про лотос я хочу посмотреть — но это уже совсем скоро.

— Да, — обрадовалась Гретель, — а я как раз хотела у вас спросить: что такое корабль-библиотека?

Мисс Джонсон сняла очки и внимательно посмотрела на Гретель. Сложила руки на коленях, помолчала и начала, как будто очень издалека:

— Много лет тому назад жил один состоятельный человек. Он заметил, еще когда сам был ребенком, что интереснее всего ему было с теми детьми, которые читали книжки. Потом, когда он вырос, он общался с людьми самыми разными — с теми, кто умел работать руками, с теми, кто играл на музыкальных инструментах, с



теми, кто умел делать деньги. Он и сам неплохо научился этому последнему делу, но в какой-то момент вдруг решил остановиться и подумать. Думал он долго и в конце концов понял несколько простых, но важных вещей. Я тебе сейчас все их пересказывать не буду, но одна из его мыслей была такой: как изменился бы мир, если бы люди больше читали? А после этого он спросил себя: не снарядить ли большой корабль с книгами и не отправить ли его в плавание вокруг света? И пусть он заходит в самые разные порты, и пусть на корабль поднимаются люди, берут книги, сидят на палубах и в каютах и читают. Дело в том, что — как-то уж так получилось в этом мире — вокруг портов живет народ не особо читающий. Нет у них времени и денег.

Гретель вспомнила всех своих друзей, у кого она брала книги, и поняла — да, они живут или чуть за городом, в холмах, или у моря, но далеко от центра. А на Фронт-стрит и Бэк-стрит живут люди попроще: рыбаки, грузчики, мелкие торговцы, огородники, механики.

— Конечно, — продолжала библиотекарша, — идея может показаться безумной. Что сделает один корабль, пусть даже битком набитый книгами, когда в мире столько городов, да еще и не все стоят у моря? Но человек этот отличался одной особенностью — она ему в свое время помогла разбогатеть. Если он решал, что правильно поступать так-то, то именно так он и поступал. И если что-то могло улучшить мир, то он не говорил себе: «Весь мир не переделаешь», а просто делал это. Некоторые называли его ограниченным человеком, но это его не обижало.

Надо сказать, сложностей возникло много. Хорошо, что у него были толковые друзья, которые с удовольствием взялись помогать... — Мисс Джонсон взяла кружку и не спеша отпила лимонаду.

— Какие сложности? — Гретель слушала очень внимательно и несколько раз уже порывалась задать вопрос, но все не было подходящего момента.

— Такой корабль должен быть удобно спланирован. В грузовом корабле почти весь объем занимает трюм — как в нем складывать книги? В пассажирском много маленьких кают, а больших помещений, для самой библиотеки, почти нет. В конце концов он купил очень странный корабль, идеально приспособленный, как будто специально построенный под библиотеку. Говорят, история его такова. Когда в Америке задумали строить метро, вагоны делали только в одном месте на земле, в Лондоне. Англичане сумели получить громадный подряд и за год построили корабль, куда вагоны загоняли в несколько рядов, в этикие шестигранные тоннели, точно как тоннели лондонской подземки. Однако через несколько лет американцы и сами освоили вагоностроение, и корабль долго стоял на приколе, потом перебивался случайным фрахтом, ржавел, и его совсем было собирались сдать в металлолом, когда подвернулся наш филантроп.

Гретель понимала не все, что-то всплывало у нее в голове, как воздушные пузыри, когда вниз уходят дайверы, но тут же и лопалось, и она решила отложить воспоминания на потом.

— Ты понимаешь, почему, увидев эти шестигранные тоннели, он закричал: «Беру!»? — поинтересовалась мисс Джонсон, как бы слегка небрежно. Но Гретель сегодня трудно было обмануть, она поставила следующую мысленную отметку.

— Нет, а почему? — Вроде бы ее вопрос прозвучал тоже достаточно невинно.

— Понимаешь, — разъяснила библиотекарша, — ведь в этих тоннелях очень удобно сделать полки вдоль стен, место совсем не пропадает... — Она все ждала какой-то реакции и смотрела на Гретель чуть пристальнее.

Гретель выдержала взгляд.

— Действительно! Как замечательно придумано! — А в голове крутилась и билась какая-то мысль, совсем уже близкая.

— На верхней палубе была большая кают-компания, салон, много места просто на палубе, в общем, вопрос с кораблем решился, — продолжила мисс Джонсон. — Но были и другие, даже важнее. Например, на каких языках брать книги. Ты знаешь, что в мире пять тысяч языков?



Гретель ошарашенно помотала головой, эта цифра как-то не укладывалась в сознании.

— И что, взять по десятку книг на каждом? Это абсурд, разумеется. Но выяснилась простая и замечательная вещь... — Тут мисс Джонсон довольно улыбнулась, ее глаза блеснули, как у фокусника после удачного трюка. — Оказалось, что в истории человечества было не так много народов-мореплавателей. Скандинавы, испанцы, португальцы, голландцы, англичане и французы. Ну... были еще и другие. Эллины, например, или римляне, но это было совсем давно. Арабы и китайцы, они много плавали в Индийском и Тихом океане.

Гретель сообразила:

— И эти языки?..

— Да, во всех приморских городах мира говорят на этих языках, — подтвердила мисс Джонсон с торжеством. — Оставался еще и главный вопрос: какие именно книги брать с собой?

Она снова отпила из глиняной чашки и продолжила:

— Оказывается, в мире выходят миллионы книг! И, к сожалению, большая их часть — полная ерунда. Они быстро умирают, и их трупы продолжают забивать склады, магазины и библиотеки. А есть книги настоящие, но ни один человек в мире не прочитал все. Есть замечательные детские книги, без которых ни один мальчик не вырастет настоящим мужчиной, а девочка — настоящей женщиной. Да, часто это одни и те же книги, — улыбнулась библиотекарша на вопросительный взгляд Гретель. — Есть книги, которые надо перечитывать с детства и до старости, каждые несколько лет. Есть замечательные учебники, и лучше, если ребенок наткнется на них еще до того, как будет проходить их в школе: хороший учебник надо читать самому, не спеша. Есть книги о человеческой жизни, которые можно прочитать марсианину, и он все поймет про нас. А есть книги странные, которые раздражают и тревожат, и люди читают их столетиями, обсуждают, все хотят понять смысл. И в каждом столетии находят новый смысл, а старый иногда забывают. Некоторые книги прочитали, может быть, несколько десятков человек, но они, книги эти, изменили мир.

Гретель думала о том, как выглядят миллионы книг. Она не очень хорошо могла представить такое количество и вообразила себе длинную анфиладу таких же комнат, как библиотека мисс Джонсон, уходящую вдаль, сколько хватает глаза.

— Есть еще такая теория, — продолжала мисс Джонсон, — что для каждого человека есть одна главная, его книга. Если он прочитает ее, он изменится навсегда. — Она сделала паузу.

Становилось совсем жарко даже здесь, в тени, и Гретель уже довольно давно казалось, что слова старой женщины не доходят снаружи, а звучат прямо у нее в мозгу, как будто внутренний голос, и она даже знает, что будет сказано через секунду. Так что она послушно, почти против своей воли спросила:

— А кем он станет?

— Тем, кем он должен быть, — отвечала библиотекарша раздельно и с ударением.

— Разве это... подождите! — Гретель волновалась и не могла объяснить, наконец выпалила: — Разве у человека только один вариант?

— Это всего лишь теория, милая моя девочка. Ее придумали старые мудрые люди, может быть, правда, слишком усталые.

— Ну хорошо, пускай даже так. А как тогда узнать, что это за книга? Она ведь не для всех одна и та же?

— Некоторые считают, что одна, и готовы убить тех, кто верит в другие книги, — невесело усмехнулась мисс Джонсон, отставила наконец чашку и выпрямилась, села поровнее. — Говорят, что на корабле-библиотеке собраны все главные книги. Другие, конечно, тоже, но главные — все. Человек, о котором я рассказываю, очень долго сам думал над этой проблемой и собрал несколько замечательных ученых. Они поселились почти на год на одном из островов здесь неподалеку, тайно, и работали вместе. Им удалось найти алгоритм поиска. Алгоритм, — пояснила она, — это



просто способ, правило. Если начать со всех вообще книг и следовать этому правилу, можно сократить число книг до нескольких тысяч. Ну, десяти, пятнадцати тысяч, не больше. Они все будут очень неплохи, и все главные книги будут там. Сколько их — неизвестно, говорят, что от ста до пятисот.

Да, это была отличная работа, — задумчиво продолжила мисс Джонсон. — И нелегкая. Говорят, что было закуплено и выпито двенадцать мешков отборного ямайского кофе, выкурена сотня ящиков доминиканских сигар, а готовили и прибирали исключительно старые дородные негритянки. — Тут мисс Джонсон вдруг прыгнула, как девчонка, и они обе расхохотались. Голова у Гретель немного прояснилась, и стало как-то вдруг легко и радостно. Она наконец сменила позу — нога, оказывается, ужасно затекла и теперь кололась мурашками. Мисс Джонсон встала не спеша и предложила: — Не вернуться ли нам в библиотеку, там попрохладнее?

Они шли по извилистой гравийной дорожке, хрустя камешками, Гретель осторожно ступала на затекшую ногу, а когда мурашки прошли, спросила:

— А как же все-таки найти главную книгу? Ведь прочитать все десять тысяч томов вряд ли успеешь...

— Знаешь, — отвечала мисс Джонсон рассудительно, — я не верю в эту теорию. Но в любом случае — вреда от того, что будешь читать хорошие книги, не будет, правда ведь? Но некоторые верят и продолжают работать, там, на корабле.

— Те же самые, знаменитые ученые?

— Нет, они бы не справились и за всю жизнь. И потом, их ждали дома и в их университетах — нельзя же совсем исчезнуть из жизни? — Тут она бросила быстрый взгляд на Гретель.

Гретель, однако, этого не заметила, потому что в голове назойливо, где-то сзади, где не видно, как будто зажужжал москит — а что он хотел сказать, было непонятно. Опять пришлось оставить мысленную отметку.

— На корабле работают их ученики, люди помоложе, — продолжала мисс Джонсон. — Кто проводит там месяц, кто несколько, кто и годы — это уж у кого как получится. По доброй воле они от этой работы не отказываются, только если уж совсем загонят в угол обстоятельства. И потом, вот еще что важно...

— Что? — встрепелась Гретель. Москит зажужжал веселее, как будто почувствовал цель.

— Говорят, что иногда кто-то из ученых находит свою главную книгу. Это происходит случайно. Просто потому, что они много читают, а главные книги все собраны на корабле.

— И что же тогда происходит? — Гретель загаила дыхание, хотя уже начала понимать.

— Тогда человек становится тем, кем он должен быть. И делает то, что он должен делать. Нет, пойми, он не становится зомби. Просто он понимает, что для него главное. И часто это совсем не работа в библиотеке, девочка моя. — Они подошли к задней двери, и мисс Джонсон взялась за ручку. — Пойдем-ка внутрь, я хочу рассказать тебе еще кое-что, а тут слишком жарко.

* * *

Майкл развалившись сидел в кокпите и потягивал «Хайнекен» из мокрой холодной банки. Пива на острове, увы, не делали. Когда Майкл добирался до Венесуэлы, он забивал целый чулан тамошним «Полярным». Хоть он и подтрунивал над названием — сам-то Майкл был из Канады и с небрежной гордостью упоминал метели и торосы, но венесуэльское пиво любил за сочный цвет и настоящую горечь. Однако по возвращении на остров чулан с помощью друзей опустошался за три дня, и приходилось переходить на скучный, одинаковый во всем мире напиток.

На сегодня была запланирована очень важная процедура — покраска палубы противоскользкой краской. Ганс теперь хорошо понимал, какая это полезная штука, после того как приложился копчиком о палубу в совсем небольшую качку, да еще



и уронил баллон — хорошо, что на бедро, а не повыше. Так что сегодня, пользуясь безветрием и легкой дымкой, они с Майклом дружно взялись за дело — откладывать уже было некуда, до выхода оставалось десять дней.

Все утро Ганс откручивал с палубы разнообразные торчащие части и запоминал их названия: утки, лебедки, кнехты, обклеивал липкой лентой порожки (комингсы). Ему очень нравились эти морские названия, и он их запоминал с удовольствием, шепча про себя. Теперь он дошкуривал последний кусочек палубы. Майкл пока разводил краску, лениво ругался с Мишель, но в основном пил пиво и развлекал свою небольшую команду рассказами о прошлом. Ганс всякий раз недоумевал: как Майкл при таком веселом детстве дожил хотя бы до окончания школы. И в тайге он терялся, и бураны его заносили, и под лед, естественно, он проваливался не раз — уж очень им в деревне не терпелось поскорее начать хоккейный сезон. Была еще одна причина, по которой Ганс любил слушать эти истории: каждый раз ему казалось, что и с ним было что-то похожее. И вот что интересно: его это не тревожило, как некоторые уж очень подробные сны, наоборот, становилось и грустно, и тепло — в общем, он сам не мог разобраться в себе, но ждал Майкловых рассказов всегда.

Сегодня, правда, Майкл вспоминал ураган позапрошлого года, в который он попал самым неудачным образом, в бухте на Гренаде, откуда выйти-то толком было нельзя. Яхту тогда здорово побило, выкинуло на отмель, и до апреля Майкл приводил ее в порядок. Кое-что он так и не успел сделать, так что сейчас приходилось, например, заниматься покраской.

— Так ты решил, значит, переждать на берегу, бросил старушку? — подначивала его Мишель. — А как же «капитан не покидает корабля»?

— Это тебя обманули, — убежденно отвечал Майкл. — Капитан покидает судно последним. Ну вот, я тогда был один, значит последним и покинул.

— Так почему все-таки покинул? — не отставала Мишель.

— Потому что страшно очень было, — честно отвечал Майкл. — Я, знаешь, видел штук двадцать ураганов, но этот был хуже всех. Даже на берегу все к чертовой матери переломало. На всем острове, может, два десятка целых домов осталось, в центре, в котловине. Сначала я надеялся выстоять, бросил оба якоря и полным ходом шел навстречу ветру. То есть пытался идти. И все равно меня стаскивало. Когда затихло минут на пятнадцать, я только успел спустить шлюпку и дойти до берега.

Майкл каждый год после сезона ураганов клялся, что уж на следующий-то год уйдет, как все добрые люди, заблаговременно на север, — и каждый раз находились дела, а потом азарт захватывал, и его уже и силой нельзя было эвакуировать. Зато потом он мог пренебрежительно сплевывать под ноги, встречая «перелетных птиц», как он их насмешливо называл.

Ганс разогнулся наконец, голова слегка закружилась, и звездочки поплыли перед глазами. Неудивительно: последний час он простоял на четвереньках со шлифовальной машинкой. Ганс с наслаждением потянулся — надо еще окатить все водой, пройтись шваброй, но это уже пускай Мишель делает, справится. Вообще, девчонка была вполне ладная, работающая, а ругалась с Майклом просто так, чтобы уж не было все как в книжке: «Сэр, йес, сэр». А он заслужил банку пива!

Ганс плюхнулся напротив Майкла, откупорил «Хайнекен» и разом ополовинил. Показалось, что пиво всосалось в кровь, не доходя до желудка, как в горячий песок, и тут же проступило на коже потом. Ради этого момента стоило поработать, подумал Ганс умиротворенно. А уж когда Мишель, шурясь, вылезла из салона, взяла веревочную швабру и ведро и принялась драить палубу — стало совсем хорошо, Ганс допил пиво и открыл, уже не спеша, вторую баночку.

— Это правильный расклад, — провозгласил Майкл. — Мужчины должны сидеть и пить пиво, а женщины драить палубу. Вот говорят, женщина на корабле — плохая примета. Я считаю, это какая-то средневековая дикость. Женщины, если их правильно использовать, это не только украшение любого судна, но и...

Тут Мишель картинно отставила швабру, подперла бок рукой и глянула на Майкла сурово. Он сбился с мысли, махнул рукой и полез вниз, в салон. Через минуту он



уже вернулся с небольшим мешком из суровой холстины, плоскими электронными весами, здоровенным стаканом и кофемолкой. Кофемолку Майкл воткнул в розетку, поставил стакан на весы, выставил ноль и запустил руку со стаканом в мешок. Ганс с интересом наблюдал за этими странными действиями и наконец не выдержал:

— Что у тебя там, в мешке? Кофе?

— Давай поспорим, что никогда не угадаешь? — предложил Майкл. — Подскажу: нет, не кофе, какой же кофе, когда мы пьем пиво?

Гансу было лень гадать, так что он сразу сдался. Майкл огорченно вздохнул.

— Ладно, скажу. Скорлупа от грецких орехов, — и тут же повеселел, глядя на озадаченного Ганса. — Не веришь? Напрасно, напрасно!

Достав полный стакан, Майкл торжественно поставил его на весы и записал вес в желтом блокноте. Высыпал стакан в миску, повторил процедуру еще несколько раз. Достал калькулятор, долго тыкал в кнопки, выписывал какие-то дробы, шевеля губами. Опять потыкал в кнопки, досыпал еще немножко скорлупы и наконец, завязав мешок, убрал его под сиденье. Ганс все еще ничего не понимал, а уж когда Майкл засыпал первую горсть скорлупы в кофемолку, опять поинтересовался:

— Что готовить будешь? Какой-нибудь венесуэльский напиток?

Майкл изобразил на лице обиду. Над его пристрастием ко всему венесуэльскому подтрунивали все кому не лень. Он предпочитал тамошнее пиво, сигары, девушек — уверял, что они самые беззаботные в Латинской Америке. Но больше всего он любил капибар, или карпинчей, как он их называл. В Венесуэле их было видимо-невидимо, а с одним, который жил на ферме у Майклова друга, он очень подружился, всегда навещал, привозил чего-нибудь вкусного. Развешал его фотографии у себя в капитанской рубке — вместо красоток, как у других шкиперов. Про карпинчо Майкл говорил даже теплее, чем про девушек, и складывалось впечатление, что они там по вечерам часто ведут философские беседы. Впрочем, отчего бы и нет?

Как-то раз Ганс и Джон разыграли его: Джон написал огромную, чудовищно аляповатую картину с ягуарами, попугаями, роскошными голыми девушками, и они убедили Майкла, что это шедевр венесуэльского примитивиста Роберто Сьенфуэгоса, которого всякий культурный человек должен знать. Майкл возжелал картину, ходил к Джону и ныл, просил продать ее за любые деньги. Когда предложенная сумма достигла уже неприличного размера, — пожалуй, Майклу пришлось бы закладывать дом, но он не сдавался, и в глазах у него появился нехороший огонь, — Джон совсем было растерялся, но нашел выход. Он встретил Майкла сообщением, что это поддельный Сьенфуэгос и что он, Джон, готов уступить его за ящик пива и коробку сигар. В результате они же и остались в дураках, потому что пиво прикончили в тот же вечер, сигары за неделю, а шедевр Майкл повесил у себя в гостиной на самом видном месте — и он был единственным, кому этот ужас нравился, а смотреть приходилось всем.

Мишель вытащила очередное ведро забортной воды, окатила палубу и прошлась шваброй. Выкрутила ее ловко, встряхнула и поставила сохнуть, а сама под села к Майклу, достала сигарету и с удовольствием закурила. Некоторое время они с Гансом наблюдали за тем, как Майкл с хрустом доламывает в ладонях ореховую скорлупу. Солнце прошло зенит, и Мишель свернула навес над кокпитом. Было как-то необычно тихо и благостно.

Майкл принялся загружать скорлупу в здоровенную кофемолку — в нее помещались три полные пригоршни. Долго жужжал, каждые несколько секунд открывая крышку и проверяя качество помола, наконец высыпал скорлупу во вторую миску. Повторил со следующей порцией.

— А теперь, друзья мои, — объявил он, — будем работать втроем. Ты, — он ткнул Гансу в грудь пальцем, — будешь непрерывно мешать краску. Ты пойдешь готовить ланч. А я буду красить.

— Хорошо, — согласился Ганс, — так зачем ты все-таки молот скорлупу?

— Вскоре вы узнаете всё! — торжественно отвечал Майкл.



— Кэп сегодня изображает дельфийского оракула, — съязвила Мишель и отправилась вниз, к плите. Ганс не понял, что это за оракул, но ему не хотелось думать об этом.

— Она была крупновата, — жалился наконец Майкл. — А теперь, смотри, как песочек! Нам ведь нужна противоскользкая краска? Держи мешалку, — и аккуратно начал высыпать скорлупу в ведро.

Ганс, сообразив наконец, в чем дело, добросовестно размешал содержимое. Майкл обмакнул в ведро кисть, провел полосу, пару минут внимательно смотрел, как краска подсыхает, и, видимо, остался доволен. Ганс еще раз помешал краску и аккуратно налил, примерно на палец, в широкую кювету.

— Видишь, насколько проще красить, когда все подготовлено, — рассуждал Майкл, ловко орудуя роликом на длинной ручке. — А если ничего не снимать, пришлось бы возиться с кисточкой, долго, а ровно никогда не положишь.

Когда закончили первый слой, поджаренные сэндвичи уже были готовы. Перекусили на скорую руку, чтобы краска совсем не высохла. Второй слой лег уже совсем идеально, и на палубу было больно смотреть, так она сияла на солнце.

— Эй, вы тут? — раздался голос из-за борта, и к корме вывернула лодка Айры, обшарпанная до невозможности, заваленная разноцветными юбками, маечками и прочей дребеденью. Айра греб одним веслом, стоя на колене, а на кормовой банке сидела Гретель, ровно держа спину, с нарочито скромным выражением на лице.

— Мишель! — завопил Айра на всю бухту. — Я привез что обещал!

Из салона вылезла Мишель, сильно смущенная. И вправду, она имела неосторожность остановиться вчера около лотка Айры на рынке и даже поболтать с ним. Тогда ей удалось отвертеться, но она сгоряча пообещала еще посмотреть товар, если Айра подъедет к ней на яхту. Вздохнув, она села на борт, свесив ноги под леера, и принялась придирчиво рассматривать маечки, которые Айра подавал одну за другой, не забывая слегка подгрести веслом, чтобы лодку не отнесло отливом.

Гретель смотрела на Ганса по обыкновению молча и немножко виновато. Потом улыбнулась и тряхнула головой:

— Ну что, герои? Покрасили?

— А как же! — отвечал Ганс обрадованно. — Залезай, посмотри, какая красота! — и они с Майклом выдернули Гретель из лодки за обе руки и аккуратно приземлили ровно на палубу, она даже пискнуть не успела. Всплеснула руками и обратилась к Майклу:

— Кэп, а можно пройтись? — и, не дожидаясь разрешения, затанцевала по белоснежной палубе, крутя юбкой и напевая что-то свое на четыре четверти. Майкл смотрел, довольно ухмыляясь, посасывая сигару.

— Ну что, можно принимать уважаемых гостей?

— Можно, можно! А откуда у тебя уважаемые гости, ты же все больше со всяким сбродом дружишь вроде нас? — И Гретель прыгнула в кокпит, уселась рядом с Гансом и обняла его порывисто за плечи, прижалась покрепче.

— Нашел он каких-то сумасшедших, — объяснил Ганс. — Датчане, арендовали яхту на полтора месяца, говорят, медовый месяц у них.

— А зачем тогда на полтора? — удивилась Гретель.

— Я знаю, — отозвалась Мишель, держа в руках очередную маечку. — Если они с нашим кэпом столько проживут, им потом ничего не страшно.

— Я их буду высаживать на берег иногда, — сообщил Майкл. — Настоящих моряков мало, не понимают люди, как хорошо в море. В Венесуэлу пойдем... — Все расхохотались, так мечтательно это прозвучало. Майкл по секрету всем рассказал про свою последнюю зазнобу из Маракайбо, самую скромную и нежную девушку на свете, которая его терпеливо ждет уже месяц. Саманта, правда, считала, что Майкл больше скучает по карпинчо: девушки-то есть везде, а настоящих друзей мало.

Айра продолжал неумоимо подавать Мишель шмотки. Уже было понятно, что она опять ничего не купит, но он не раздражался, только поддразнивал ее: «Конечно, на тебя это не налезет, с такими-то боками!» Тонкая политика принесла успех, Ми-



шель побежала за кошельком и купила за десятку какую-то совсем миниатюрную маечку с тонкими бретельками. Айра улыбался, блестя белыми зубами на черной физиономии, а деньги взял небрежно, как будто не в них счастье. Собственно, так оно и было.

Когда он отчалил, Майкл посмотрел вдруг на часы:

— Друзья мои, а ведь сегодня вечер у губернаторши! Надо пойти отдохнуть, что ли. Давайте я вас отвезу.

Вдова покойного губернатора, последнего за долгую историю, вышла за него в свое время совсем молоденькой и успела родить ему двоих сыновей. Так что в мир иной он отошел вполне счастливым человеком, даже не застал наступления независимости: пока подыскивали новую кандидатуру, империя сама собой развалилась. Старые люди вспоминали колониальные времена с теплотой: солнце было ярче, девушки моложе и красивее, и однажды до острова даже почти доехала королева, но ее сразила лихорадка за два дня до визита, так что она отбыла восвояси, да так больше и не вернулась. Злые языки утверждали, что это была не лихорадка, а дизентерия, но эту версию не уважали.

Губернаторша же не только вспоминала прежние времена, но и регулярно, два раза в год, устраивала приемы, один на день рождения Ее Величества и один в произвольное время — это была ее дань свободомыслию. Сегодня как раз был такой день, и Гретель с Гансом попали в круг избранных, довольно широкий, надо признаться.

Гансу почему-то ужасно не хотелось уходить, но он понимал, что Гретель надо примерять платье (одно надеть или другое?), изобретать прическу, и он, вздохнув про себя, поднялся, спрыгнул в шлюпку, привязанную к корме, подал Гретель руку. Она как будто немножко робко оперлась на нее, сошла вниз и пристроилась на узенькой носовой банке. Майкл дернул шнур, мотор зарычал, и они тронулись к берегу. Мишель в новой маечке махала рукой с кормы, потом показала им язык и ушла.

Майкл высадил их на причале, распрощался до вечера и тут же ввязался в дискуссию с еще двумя шкиперами. Ганс и Гретель прошли мимо рынка и свернули направо, на Фронт-стрит. Миновали библиотеку, банк, «Неряху Джо», свернули в сторону дома. Солнце скрылось за тучками, стало прохладнее, и они довольно быстро дошли до последнего подъема к дому. Гретель молчала все это время и вдруг спросила на ходу:

— Скажи, а тебе не надоело вот это всё?

Ганс вздрогнул от вопроса, поняв, что ожидал чего-то подобного. И все-таки решил уточнить:

— Про что ты говоришь? Что «всё»?

— Ну посмотри сам! — Гретель говорила каким-то непривычным, трезвым и плоским голосом, так что у него нехорошо засосало под ложечкой. — Вот эта улица. Мы на ней знаем каждый дом. И каждого встречного. И мы знаем, более или менее, кто что скажет и сделает.

Ганс молчал, размышляя. Они поднялись по ступенькам на террасу: обычно они разваливались тут же в шезлонгах и выкуривали задумчивую сигарету напополам, но сегодня не сговариваясь прошли в комнату. Гретель присела на краешек стула, Ганс продолжал топтаться посередине, пока Гретель не показала ему взглядом на кровать, и он сел напротив нее.

— Ты понимаешь, — продолжила она все тем же голосом, от которого ему хотелось куда-нибудь спрятаться, — что все так и будет всегда? Этот дом, эти люди, эти дома, это море? Этот остров?

— Да, понимаю, — отвечал Ганс, хотя ему ужасно не хотелось соглашаться, но он не знал, что можно возразить на такие простые и верные слова.

— А ты знаешь, что тебе нужно? — продолжала Гретель безжалостно.

— То есть — как? — Тут Ганс немножко потерялся. — Нужно — в каком смысле?

— Вообще, в этой жизни.



— У меня все есть, — отвечал он, и ему очень хотелось, чтобы это прозвучало уверенно, чтобы прекратился этот разговор, от которого у него как будто пол уходил из-под ног, как в прошлом году, когда остров трянуло. Но прозвучало, как понял, не очень убедительно, и он начинал понемногу злиться на себя.

Гретель помолчала немного, перекладывая ручки на столе. Легонько провела рукой по стопке исписанной бумаги (Ганс вспомнил, что не успел еще прочитать ей последний кусочек книги, написанный вчера вечером). Повернулась к нему и продолжила, уже почти нормальным своим голосом:

— Я сегодня была опять в библиотеке, разговаривала с мисс Джонсон.

— Расскажи, да, — попросил Ганс.

Гретель вздохнула, села поудобнее. Подробно, почти слово в слово, пересказала все, что узнала сегодня про корабль-библиотеку. Ганс не перебивал, не задавал даже вопросов. Потом она, помолчав, добавила:

— А когда мы зашли внутрь, мисс Джонсон сказала мне еще одну вещь. Мы приехали на этом корабле.

Ганс кивнул: он уже понял. Только решил уточнить кое-что.

— Она твердо это знает? Мы ей сами сказали?

— Нет, мы ведь забыли все к тому моменту. Но в тот день прибыл только один корабль, утром. Были еще маленькие яхты, но вроде бы пассажиров на них не было. А паром в тот день не ходил, был понедельник. И мы были такие... беленькие еще совсем и одеты во все приличное. — Она грустно улыбнулась. — И с большой сумкой.

— А почему она раньше не сказала об этом? И никто не говорил нам?

— Понимаешь, тут люди считают, что, если кто-то приехал и не хочет говорить о прошлом, значит не надо его расспрашивать. Ты вот знаешь, откуда приехали Джон и Саманта? Или Карл?

— Нет, — признал Ганс. — Но погоди, вот про Майкла я знаю все, с самого его детства.

— Майкл сам любит рассказывать о себе, ты разве не заметил? Что все его рассказы — про себя, а уж остальное в виде приправы?

— Ну почему? — не согласился Ганс. — Я от него столько всего узнал...

— Да, про его друзей, про его женщин, про страны, где он бывал. А хоть раз вы говорили с ним вообще о любви или о дружбе, вообще о путешествиях? О жизни и смерти?

Она встала и прошлась по комнате, потом опять села на стул.

— Ты пойми, я же его не упрекаю. Просто он такой человек. А Джон совсем другой. Но он никогда не говорит про свое прошлое.

— Ты думаешь, он тоже не помнит?

— Вряд ли. Мы с тобой, наверное, одни такие. — Ганс не мог понять, горечь он услышал или гордость. — Но если люди не хотят говорить сами — никто не спросит.

— Хорошо. — Теперь Ганс перешел к главному вопросу: — А что мы делали на корабле и почему ушли оттуда?

— Это совсем просто, — отвечала Гретель. — Ну что ты мог делать там? Ты не моряк, морского дела толком не знаешь. Не повар, это уж точно! — Она наконец улыбнулась. — Ты делал то, что ты умеешь, — читал книги.

— И потом?..

— И потом нашел свою книгу. Вот так тебе повезло.

— И в ней было сказано, чтобы я остался здесь?

— Получается, так. — Гретель опять встала, не могла она долго сидеть на одном месте. — Чтобы ты остался здесь, жил в этом доме и работал. Писал. А я... чтобы была с тобой.

— Подожди! — Гансу не очень нравилось что-то, но что именно он никак не мог сформулировать. — Но ведь могло статься, что это ты нашла свою книгу? И в любом случае, ну подумай сама, вряд ли мы оба нашли их одновременно?



— Да, это уж совсем было бы странно, — согласилась Гретель. — И что это значит?

Ганс помолчал, разглядывая испачканные краской руки, и наконец поднял глаза.

— А это значит, что один из нас здесь ради другого, и только ради этого.

Они долго молчали, иногда украдкой поглядывая друг на друга. Потом Ганс добавил:

— И еще мне очень не нравится, что мы все забыли. И знаешь почему? Я теперь могу объяснить.

— Я тоже могу, — тихонько отвечала Гретель. — Потому что мы не знаем теперь, от чего мы отказались. И мы не знаем, сами мы решили или нас уговорили. Нет, решили-то, конечно, сами, но была ли эта книга той самой, единственной? А нас заставили забыть, чтобы мы не задавались этим вопросом.

— Или мы сами решили забыть? — все-таки возразил Ганс.

— А если сами, то зачем? Чего мы могли бояться, спрятанного в памяти? Нет, милый, так и так получается: мы все забыли, чтобы не сомневаться. А теперь мы знаем об этом.

Ганс помолчал, потом глянул на часы и поднялся с кровати.

— Нам пора уже собираться. Знаешь, давай мы еще подумаем об этом, у меня не все складывается в голове как следует. И еще: не бойся ничего, все же хорошо, правда?

Гретель подняла глаза. Он выдержал взгляд, улыбнулся и обнял ее. Гретель порывисто прижалась к нему, и они постояли молча. Ганс чувствовал, как она чуть дрожит, мелко-мелко, а потом успокаивается, и он снова улыбнулся, на этот раз сам себе.

* * *

Ганс давно сидел на террасе, но не шел поторапливать Гретель. Смотрел в звездное небо, шевелил пальцами в неудобных ботинках. На прием полагалось идти хоть и в тропическом, но в приличном одеянии: светлые брюки, светлые ботинки, рубашка, хорошо хоть с коротким рукавом. Гретель погладила его единственную рубашку, пришла оторвавшуюся пуговицу, а сейчас занималась своим платьем. Она долго терзала Ганса, наконец он сказал: надевай зеленое! Гретель обрадовалась, потому что белое хоть и было новее и моднее, но ей нравилось меньше. «Я в нем толстая, — говорила она убежденно, — не спорь». Ганс уже давно и не спорил: в конце концов, всякая женщина имеет право на свою причуду.

Он посмотрел в окно: Гретель стояла перед зеркалом, что-то делала с прической. Ее рыжие кудри никогда не хотели ложиться ровно, вечно растрепывались через полчаса, и она старалась придать беспорядку нарочито небрежный вид — дескать, так и надо. Ганс некоторое время наблюдал за ее немножко угловатыми движениями и поймал себя на мысли: а сумеет ли она хорошо держаться на приеме? Правильно себя вести? Опять он разозлился на такой вопрос, но предательская мысль не уходила. А когда он понял, что злится почему-то на Гретель, а не на себя, ему стало совсем мутно.

Гретель повернулась решительно, подхватила сумочку и вышла из комнаты. Посмотрела несколько мгновений на Ганса, вздохнула:

— Милый, ты волнуешься? Не надо! Честное слово, я знаю, в какой руке держать вилку, а в какой котлету!

Они оба засмеялись, а Ганс подумал с досадой: «Ну откуда, откуда она всегда знает, о чем я думаю?»

С улицы донеслось бибиканье: подъехало такси. Не пешком же идти на прием! Ганс пощупал очередной раз бумажки в кармане — вроде бы хватало на дорогу и приличные чаевые — и предложил даме руку с некоторой церемонностью.

Особняк губернаторши сиял в темноте на соседнем холме, — собственно, его было хорошо видно даже с террасы, правда, дорога вилась непредсказуемо. У ворот

их встретил лакей в ливрее, почти незнакомый, Ганс только помнил, что зовут его Кларенс. С важностью отворил кованую калитку, пожелал приятного вечера бархатным басом и повернулся к следующим гостям. Ганс и Гретель двинулись к дому по дорожке между мерцающих факелов. Цикады, замолчавшие было, снова грянули хором.

Сад выступал из темноты громадными баньянами с узловатыми переплетениями стволов. Летучие мыши стремительно чертили изломанные линии. Дом был ярко освещен изнутри, оттуда доносились взрывы смеха и ровное жужжание разговора, а снаружи он смутно белел в темноте, даже не было заметно неизбежных темных разводов: в сезон дождя все зарастало плесенью, и большинство хозяев даже не обращало на нее внимания. Губернаторша все же, по старой привычке, следила за внешним видом дома, как будто в любой момент могла прибыть с визитом особа королевской крови. Так что каждые пару лет дом заново штукатурили, а вот сейчас что-то с ремонтом задержались.

На террасе, под навесом, сияли лампы, стояли группами люди, лакеи разносили коктейли и закуски. Саманта, в шафрановом платье, помахала им приветственно рукой справа, из дальнего угла, и Гретель обрадованно потянула Ганса за собой. Он выпустил ее руку и шел чуть сзади, невольно замечая легкую нескладность ее движений, выбившуюся прядь, царапины на пятках туфелек.

Саманта расцеловала Ганса и обняла Гретель — Ганс невольно залюбовался, как они хорошо смотрелись вместе: рыжая светлокочая Гретель и смуглая Саманта, почти того же роста, но чуть пошире в кости и поплотнее. Послушал их разговор пару минут, вставил несколько слов и потихоньку отошел в сторону. Заметив Карла в середине террасы, он решительно направился туда. По дороге ухватил с подноса у проходившего лакея бокал с «Маргаритой», отхлебнул глоток и понял, что хочет сегодня выпить.

Карл, в ослепительно белой рубашке, внимательно слушал двоих немолодых джентльменов, кажется приезжих. Впрочем, совсем уж джентльменами назвать их было трудно. Скорее они напоминали профессоров, не особо следящих за внешним обликом. Один из них, покрупнее и на вид постарше, с седой львиной шевелюрой, как раз расспрашивал Карла о рифе Грейт-Уолл. Ганс очень любил это место, где дно обрывалось стеной в бездну и на стене цвели, теснясь, невиданные анемоны всех расцветок — только надо было освещать их фонарем, на этой глубине все цвета пропадали, кроме безмерной синевы. Как раз об анемонах-то и спрашивал старший профессор, и Карл представил всех троих:

— Ганс, мой друг и помощник, — доктор Хатчинсон — доктор Снедекор.

Догадка оказалась верной, оба гостя были морскими биологами, к тому же завзятыми дайверами, и приехали посмотреть на местную фауну. Поговорили немножко про Грейт-Уолл, но профессоров интересовали больше всего обрастания на затонувших кораблях.

— Видите ли, Ганс, — объяснял Снедекор высоким, слегка козлиным голосом, — это один из самых интересных вопросов: как одни организмы сменяют другие на месте, где вначале вообще никого не было. Например, на застывшем лавовом поле. На суше это наблюдали много раз и подробно описали — как появляются растения-пионеры, создают почву, потом приходят другие, уже на готовое, вытесняют первых поселенцев...

— А как это происходит в море, мы не знаем, никто этого не видел, — вмешался Хатчинсон. — Хотелось бы посмотреть на это.

— На сукцессию? — неожиданно для себя спросил Ганс, и оба биолога, замолчав, посмотрели на него с подозрением. Он и сам не мог понять, что это за странное слово всплыло у него в голове, но оно потянуло за собой другие, и он почувствовал даже легкое головокружение, как будто в голове у него всплывали и лопались пузырьки с забытыми словами. Он растерянно продолжил: — Ну да, смена одной экосистемы другой. Последовательность бентосных сообществ...

Хатчинсон обрадовался, заулыбался, обнял Ганса за плечо здоровенной лапой:



— Да вы все знаете, дружище! Приятно поговорить с понимающим человеком! — и попытался углубиться в детали, но Снедекор ухватил его за локоть и потащил в сторону со словами: «Дай же человеку выпить спокойно!» — так что Хатчинсон успел только настоять, чтобы им непременно встретиться наутро у Карла и продолжить беседу.

Карл улыбался, как взрослый, наблюдающий за детскими шалостями, хотя был в этой компании моложе всех. Этаким злагокудрый греческий бог, подумал Ганс. Он вдруг понял, что знает довольно много про греческих богов, Гермеса, Ареса, Зевса, обрадовался и даже почувствовал нетерпение: скорее бы оказаться одному и с удовольствием и подробно начать вспоминать все эти чудесные истории. С ним творилось что-то странное, определенно.

— Что ж, — заметил Карл, когда гости отошли, — произвел ты впечатление. У меня на них серьезные виды, завтра расскажу.

— Расскажи сейчас! — попросил Ганс, допивая «Маргариту», и тут же взял следующую бокал.

Карл охотно начал: эти двое собираются провести исследование, не на один год. Возможно, им дадут денег. Хочется им найти недавно затопленный корабль, каждую неделю погружаться к нему и наблюдать, как он потихоньку обрастает живностью.

— Я предложил им «Мэри Агнесс», она затонула всего год назад. Можно будет с ними нырять, они будут платить, ну и оборудование у нас арендовать. Хорошая, интересная работа, и люди они занятные, — подытожил Карл. — Так что приходите завтра утром, пойдем на погружение! — Он тронул Ганса за плечо, опять улыбнулся и направился дальше, к очередной группе гостей.

Ганс стоял задумавшись посреди толпы — ему вдруг остро захотелось в море, в тишину и синеву. Он встряхнул головой и отправился обратно, посмотреть, что там делает Гретель.

В том углу уже собралась небольшая компания женщин, а посередине возвышался Джон, что-то красноречиво вещавший, огромный, толстый, с холеной рыжеватой бородой, с проседью, заметной даже в светлых волосах. Дамы, как обычно, поддразнивали его. Заметив Ганса, Джон помахал ему приветственно. Ганс поспешил на вырuchu к товарищу.

Дразнить Ганса было не так увлекательно — он отвечал слишком серьезно, не всегда включался в игру и совершенно не умел кокетничать. Так что дамы понемножку разбрелись по террасе, а мужчины взяли себе еще по коктейлю.

— До чего приставучие тетки, — шутливо пожаловался Джон. — Все им расскажи! Может, я собираюсь написать роман о своей жизни и получить Нобелевскую премию!

— И что ты с ней будешь делать? — заинтересовался Ганс. В голове уже немножко шумело, он наконец расслабился и с удовольствием отхлебывал «Хаммингбёрд» — любил он этот дамский коктейль.

— Ну как! — воодушевился Джон. — Сначала построю большой дом на самом берегу.

— Будто тебе твоего не хватает, — резонно заметил Ганс.

У Джона в доме гости вечно разбредались и терялись, Саманта никогда не могла всех собрать к чаю.

— Ты не понимаешь. Сзади я построю дом поменьше, с окнами на все стороны. Студию, знаешь, с самым лучшим в мире светом. И там буду работать. И ни одну собаку к себе не пушу — сидите в большом доме, пейте, купайтесь в бассейне, а меня чтоб не трогали.

— Будто ты там усидишь, если все начнут пить, — усомнился Ганс.

— И опять ты ничего не понимаешь. Вот ты пишешь книгу, ты можешь работать ночью. Ночью даже лучше: Гретель твоя спит, не отвлекает, за окнами темно. А мне нужен свет. Ты знаешь, чем пишут картины?

— Красками?



— Черта лысого! Светом, светом и ничем иным. Ну ладно, не буду тебе излагать теорию, иди лучше последи, чтобы не увели твою ненаглядную. — И подтолкнул его в сторону гостиной. Там Гретель и вправду разговаривала с подтянутым, немолодым моряком в белоснежной форме.

Ганс вдруг опять заметил с удивлением, как легко и непринужденно она держится с явно незнакомым человеком. Он-то всегда был вначале неловок: ведь ничего же не знаешь о собеседнике, как начинать разговор? Потом уже, когда он сходил с человеком, было легко и говорить, и молчать, но первые минуты всегда были просто мукой. Гретель же как-то удивительно естественно, с первой фразы, находила тон, всякий раз немного разный, и люди уже через полчаса говорили с ней, как со старой доброй знакомой. Он задумался: отчего такая разница? Почему-то именно сегодня это его встревожило, и он даже почувствовал досаду.

Вот и сейчас моряк этот, которого Ганс совершенно точно видел первый раз в жизни, рассказывал что-то, изображая ладонью правой руки, видимо, какой-то маневр. Ганс прислушался — сквозь общий шум доносились только обрывки фраз: «... Тогда можно зайти круче к ветру, но теряешь в скорости... в этих широтах вообще можно закрепить парус и идти спать...» Потом Гретель что-то спросила, неслышное, моряк рассмеялся: «Нет, так никто не делает...» — и опять взялся что-то объяснять, поставив стакан и используя уже обе руки для изображения. Ганс отправился по кругу дальше, отхлебывая своей коктейль и ловя обрывки разговоров, — ему захотелось немножко отвлечься.

«... Разве это ураган! Вот в семьдесят третьем году — да вас тогда и на свете не было...»

«... Я выписала эту лозу из Испании, она переносит засуху, а вот от дождей виноград становится кислым...»

«... Ему сделали там операцию, выставили счет на полтора миллиона, а у правительства таких денег не было. Хорошо, голландцы помогли — вы же, говорят, наша бывшая колония...»

«... И он приплыл на этом корабле, иначе и быть не могло».

Ганс вздрогнул и повернул голову. Мисс Джонсон сидела на белой кушетке и рассказывала что-то двум молоденьким девушкам, стоявшим рядом, видимо сестрам. Ганс прислушался.

Мисс Джонсон молчала, полуприкрыв глаза, и наконец старшая из девушек, кашлянув, спросила:

— Это был последний корабль в тот год?

— Да. Он нанялся в Нантакете, и они пришли в Чарльстаун закупить провизию и набрать пресной воды. Мать встречала каждый корабль в порту и в этот день точно знала, что увидит его. Он ведь обещал, значит должен был прийти. Они поженились через два дня, в воскресенье, а еще через два дня он ушел в море.

— Как же он мог уйти? — воскликнула младшая.

— Милая деточка, для мужчины главное — это его дело. А найти женщину, которая это понимает, — это уже его счастье. Или оно бывает, или нет...

— А если бы этого корабля не было? Ну, если бы он не успел его поймать?

— Этого быть никак не могло, — спокойно отвечала мисс Джонсон. — Корабли не ходят просто так, только силой любви. Он пришел, потому что был нужен.

Ганс тихонько отошел в сторону. В голове в беспорядке крутились обрывки мыслей, но целиком все не складывалось. Тут его ухватили сзади за оба локтя сразу, он вздрогнул — это была Гретель, порозовевшая, уже чуть встрепанная, как обычно, — не держалась у нее прическа, что тут поделаешь.

— Ты куда пропал? Пошли в сад, там уже свинья готова!

Ганс бы предпочел подумать в одиночестве, но, поколебавшись, отправился за ней. Краем глаза он заметил, что губернаторша уже вышла в гостиную и завела беседу с миссис Ройс. Видимо, разговор шел о них, потому что обе смотрели в их сторону, и миссис Ройс помахала им рукой. Ганс поклонился, губернаторша кивну-



ла в ответ, улыбнулась и сделала жест — идите, идите, потом поговорим! — и он догнал Гретель уже на ступеньках.

В саду, в темноте, жарко светились угли. Когда глаза привыкали к освещению — несколько гирлянд вроде рождественских и бамбуковые факелы по периметру, — можно было увидеть здоровенную свинью, целиком насаженную на вертел, с укоризненным выражением на рыле. Повар, здоровенный негр Джерри, двигался во мраке, в основном был виден его фартук и накрахмаленный колпак, и ножи сверкали красными отблесками. Гости отходили с тарелками с наструганной свининой, кто-то рассаживался за столики, кто-то продолжал беседовать, стоя небольшими кучками. Зажглись свечки за столиками, в дальнем конце сада брали первые аккорды двое гитаристов. Цикады сегодня стрекотали тихо, только иногда звук накачивался, как волна на гальку.

Ганс вдохнул запах ночного сада, дыма и сообразил, что проголодался.

— Пойдем скорее возьмем по самому большому куску! — предложил он, и Гретель захлопала в ладоши.

— Идите к нам! — позвала Саманта: они уже сидели за круглым столом с Джоном и профессором Снедекором. Ганс и Гретель сели на оставшиеся два стула, Джон тут же налил им красного вина из невидимой в темноте бутылки, а Саманта пока зажигала свечу, наконец поставила ее посреди стола, огонек потянулся вверх и осветил лица.

— Все-таки мне нравится, — Снедекор, видимо, продолжал начатый разговор, — что у вас так все... неформально. Могу себе представить прием у нашего губернатора — и чтобы под столом разливали красное.

— Ну... бутылка очень тяжелая, я ее над столом не удержу, — оправдывался Джон. — И потом, у вас штат большой, губернатор — это о-го-го!

— Губернатор есть губернатор, — возражал Снедекор. Он слегка захмелел и перестал выглядеть профессором — во всяком случае, лекторские интонации пропали, и он уже больше напоминал старого хиппи, с седым хвостом и бородкой. — Оплот порядка, традиций. Ливрейные лакеи, джентльмены в цилиндрах... истеблишмент, черт бы его побрал!

— Нет уж, по мне, так лучше, — отвечала Саманта. — У нас можно быть самой собой. — Она закинула полные руки за голову и мечтательно уставилась в небо с крупными дрожащими звездами.

— Самой собой, да, — повторила за ней Гретель, хотела добавить что-то и замолчала, бросив быстрый взгляд на Ганса. Он сделал вид, что занят куском свинины.

Потом подходили еще какие-то люди, перебрасывались шутливыми фразами, отходили. Слуги понемногу убирали обеденные столы. В разных концах сада и со стороны террасы доносились взрывы смеха. Музыканты играли сегодня что-то грустное, кажется кубинское, и на мгновение Ганс вдруг почувствовал странное стеснение в груди — как будто он точно знает, что видит это все в последний раз. Потом это прошло, на террасу вышел оркестр побольше и заиграл танцевальную музыку. Двое гитаристов в саду собирали инструменты, негромко переговариваясь по-испански. Подошла Гретель, тронула Ганса за руку — он стоял в тени большого дерева, чуть в стороне.

— Милый, миссис Ройс едет домой, спрашивала, не подбросить ли нас. — Он заколебался, и Гретель легко прислонилась к нему щекой и шепнула: — Поедем, я такая сонная вдруг...

— Да, конечно! — Он очнулся, взял ее бережно под локоть, и они направились к выходу, с кем-то прощаясь, кого-то ловко обходя стороной.

Миссис Ройс сидела рядом с шофером в открытой машине, с улыбкой смотрела, как они приближаются.

Доехали они быстро, распрощались церемонно: миссис Ройс выразила сожаление, что они толком не поговорили сегодня с ней и губернаторшей, а впрочем, народу было так много, что никакого разговора все равно бы не получилось, — и отправились к себе.



— Устал? — спросила Гретель. — Кофе сварить? Будешь еще работать?

Ганс с благодарностью помотал головой:

— Нет, не буду. Слушай, я же тебе забыл сказать! Мы завтра идем на погружение!

Гретель взвизгнула и запрыгала на месте, порывисто обняла его.

— Вот с этими профессорами, да? Я слышала, как они говорили с Карлом! Хотела попроситься и постеснялась!

— А я оказался наглецом! — засмеялся Ганс. — В общем, идем завтра на стенку. А теперь давай спать, поздно уже, не проснешься вовремя.

— Ну так и есть, наглец, — печально констатировала Гретель. — Раз в месяц встаешь раньше меня, постеснялся бы такое говорить. — Повернулась спиной: — Расстегни этот дурацкий крючок, пожалуйста!

Ганс повозился немножко, потом приподнял ее за подмышки и переставил под лампу. Наконец удалось справиться с крючком — он все время ускользал из пальцев.

— Послушай, а я вдруг подумал! — Гретель обернулась к нему, он успел поймать легкий испуг у нее на лице, и волна стыда и нежности ударила ему в щеки. Но он все же продолжил, как можно беззаботнее: — А как ты думаешь, в той, прошлой жизни, мы были женаты?

— Может, и были, — ответила она, — только не друг на друге.

— Откуда ты знаешь?

Она вздохнула, улыбнулась, как несмышленому ребенку.

— Ты всегда спишь справа, правда ведь?

— Да.

— Ну так вот, я тоже предпочитаю справа. И ты меня в первые несколько ночей все время прогонял. А теперь я привыкла.

— Как «прогонял»? — Он не мог поверить.

— Ну, ты сам этого не замечал, милый. — Она обняла его, глядя в глаза, и пригласила вихор на макушке. — Не думай о такой ерунде! Есть вещь и поважнее! — И она комически подняла палец.

— Какая? — Ганс занервничал.

— Ты предпочитаешь растворимую бурду вместо моего кофе! — скорбно объявила Гретель. — Если бы мы были женаты, я бы тебя переучила. Ты довольно обучаем.

— Да, получается, так, — пробормотал Ганс.

— А теперь пошли спать! У меня уже совсем нет сил, — объявила Гретель и нырнула под простыню. — Тебе гасить свет!

Он долго не мог уснуть, сначала кружилась голова от лишнего выпитого, так что он вставал и выходил покурить на террасу, а потом он не смог больше отгонять простой вопрос: на ком же он был женат? Он не был мальчиком, это было понятно, в его жизни были другие женщины. Отчего он расстался с ними? И когда это произошло — перед тем как они сошли с корабля на остров... или раньше? Может быть, много раньше? Он впервые за последний год почувствовал раздражение от своей амнезии (вдруг он отчетливо вспомнил это слово — да, именно так называется то, что с ним случилось). И опять он задумался: кто решил, что он будет жить здесь, с этой женщиной, на этом острове? Даже если он сам — тут что-то было не совсем честно. Ведь он сейчас не мог ничего изменить в решении того человека, которым он был раньше.

А решено было все на этом корабле, корабле-библиотеке. Он перебирал в памяти рассказ мисс Джонсон, пробовал все варианты, и получалось всякий раз одно и то же: он не знает, кто заставил его принять решение.

Ганс понял, что теперь он всегда будет думать об этом, и, пока не найдет ответа, прежняя жизнь не вернется. Еще он понял, что устал и больше сегодня ничего не поймет. Значит, буду искать ответ завтра, подумал он и пошел спать.



* * *

— Так. — Карл встал и обратился ко всей компании: — Выходим в девять, у нас осталось пять минут. Советую использовать их с умом, — и направился с причала на берег. Ганс пошел с ним, а Гретель помотала с борта «Катманду» головой: неохота! Они прошли мимо дайв-шопа до конца причала и достали сигареты.

— Что-то наши биологи сегодня не такие веселые, — заметил Карл.

— Лишнего выпили вчера? Вроде бы на них не похоже.

— Ладно, бывает. Покажи им, пожалуйста, грот, там самые удивительные анемоны, — попросил Карл. — И не забудь, что вы идете на нитроксе, не ходи ниже ста десяти. . . ну, ста двадцати!

Ганс кивнул. Дело привычное. Это Гретель любит ходить туда, где компьютер верещит и надрывается: «Нельзя! Немедленно наверх!» Останавливать ее было бесполезно, у нее становились совершенно сумасшедшие от счастья глаза, и она летела птицей вниз. Наверху она каялась, но в глазах была хитринка, и Ганс первый не выдерживал и начинал смеяться, так что в конце концов махнул на ее фокусы рукой.

Бухта разворачивалась за спиной, раскрывалась ровной чашей. Гретель стояла, как всегда, на корме, ее завораживала эта картина и всякий раз немножко тревожила, зато она радовалась, когда они входили, сбрасывая ход, и направлялись к маленькому, чуть покосившемуся причалу дайв-шопа. Вышли на глубокую воду и наконец пошли полным ходом, навстречу солнцу. Гретель вернулась и села рядышком с Гансом. Мотор ровно гудел, палуба вибрировала. Иногда катер подпрыгивал на волне, и Гретель сильнее вцеплялась Гансу в локоть. Он щурясь смотрел на сверкающую рябь океана и белый бурун у скулы корабля и молчал — все равно говорить было почти невозможно, и он даже был рад этому. Вскоре Карл вышел из рубки, показал растопыренную ладонь: пять минут. Ганс достал из-под лавки гидрокостюмы, сначала Гретель, потом свой, и начал натягивать его, суеверно с правой ноги.

Хатчинсон и Снедекор были уже одеты — Ганс оценил благородную потерю их костюмов и компенсаторов и тщательно подобранное железо. Собственно, у Карла они взяли только баллоны и грузы. Небольшая компания из Америки, двое молодых ребят и их подруги, галдя, начали одеваться — девчонка потолще никак не могла влезть в костюм, и они все четверо хохотали как сумасшедшие, давая ей малопрстойные советы. «Неужели и ее потащат на глубину?» — подумал Ганс и махнул мысленно рукой: не его это дело, Карл знает свою работу.

Двигатель сбросил обороты. Вода здесь была не зеленой, как у берега, а немислимой, до оторопи, густой синевы. Карл углядел впереди буй, и самым малым ходом они подошли и развернулись. Карлов помощник Кларенс ловко зацепил причальный канат — на этой глубине якорь не бросали, швартовались к бую.

Наконец моторист заглушил двигатель совсем — стало тихо, только мелкая волна била в борт. Карл объяснил порядок: идем вдоль троса до соседнего маленького бую (он указал на него рукой), а потом вниз до кабельной катушки, она лежит вместо якоря на 60 футах. Дальше следуем за мной около ста футов на восток — и вот она, стенка. Обрыв будет хорошо виден, пока будем спускаться, заблудиться трудно. Четверо американцев идут двумя парами с Карлом, профессора идут в паре, ну а вы двое знаете что делать.

Ганс сел на скамейку, натянул ласты, влез в компенсатор, застегнулся, проверил еще раз все шланги, грузы, рывком встал, вынув баллон из стойки. Как всегда, легкая дрожь прошла по спине: он никогда до последнего момента не мог поверить, что вот, идем на глубину. Помог Гретель встать, ее вечно утягивал назад баллон. Худенькая она была слишком.

Народ шлепал в ластах к корме и бултыхался в воду, Ганс подошел последним. Шагнул за борт, все вспенилось перед глазами, на мгновение он потерял ориентировку, но тут же всплыл пробкой и осмотрелся. Все были уже рядом, Карл показал рукой — за мной, и они поплыли, держась рукой за трос, к дальнему бую.



Гретель показала — вниз, и он камнем пошел вдоль якорного каната. Мгновенно исчезли звуки, он услышал опять тишину и понял, как по ней соскучился. Синева обняла их со всех сторон и все густела и густела с каждым футом. Гретель летела впереди, раскинув руки, изломанные под каким-то немислимим углом, почти как будто не двигая ногами, но он никогда не мог угнаться за ней и любовался сзади, пролетая через серебряную россыпь воздушных пузырей.

Они первыми дошли до катушки и остановились подождать профессоров. Те спускались не спеша, оглядываясь по сторонам, — естественно, они первый раз погружались здесь, Ганс мысленно одобрил такую обстоятельность, а Гретель, конечно, не могла никак дожидаться партнеров, но делать нечего — и она пока полезла под катушку дразнить омара, который там жил и которого она доводила иногда просто до бешенства. Омар терял всякую осторожность и вылезал, размахивая клешнями, так что его можно было хоть сейчас ловить на обед. Разумеется, такая мысль им и в голову не приходила, он все же был старый знакомый, пусть и с дурным характером.

Ганс посмотрел вверх — вроде бы все спускались успешно. Только наверху, ближе к поверхности, видимо, произошла какая-то заминка. Карла дожидаться было не обязательно, и он показал Снедекору: идем дальше? Тот переглянулся с коллегой, оба кивнули утвердительно, и все четверо тронулись, скользя в нескольких футах над дном, на восток.

Через несколько минут дно резко оборвалось — и вот она была, настоящая Глубина, другая планета, где не было ни верха, ни низа, ни скучной земли, ни края, ни дна, а только сумасшедшая темная синева и тишина, и бездна внизу, над которой можно было парить, как во сне. И опять они полетели вниз. Ганс перевернулся на спину — над ним, в страшной высоте, чуть дрожал зайчик солнца, и длинные рыбы не спеша пролетали и исчезали за краем обрыва, темным силуэтом рисовавшимся на фоне далекого неба.

Биологи спускались медленнее, разглядывая стену. А посмотреть было на что: такого разнообразия кораллов Ганс, например, нигде вокруг острова не видел. Это был какой-то сказочный лес, иногда казалось, что из недоброй сказки. Обычные веера на стенке высились в рост человека, за ними легко было спрятаться. Бугрились громадные шары мозговых кораллов, какие-то ядовито-зеленые трубки, покрытые чем-то вроде присосок, кубки Нептуна — это, правда, были губки, но размеров они достигали невероятных. А чуть ниже по склону тянулся будто выгоревший лес из ломких черных кораллов, хотя Ганс всякий раз сам удивлялся нелепости такой фантазии: выгоревший лес на двадцатифутовой океанской глубине.

Пестрых разноцветных рыбок здесь уже было мало, проплывали в тишине длинные полупрозрачные пелагические рыбы (опять Ганс с радостью вспомнил слово для обозначения этих обитателей водной толщи, где уже нет дна). Но надо было поторапливаться. Он постукал ножом по баллону — резкий плоский звук заставил всех повернуться в его сторону — и указал рукой в сторону грота.

Заплывать внутрь сегодня не стали, посветили фонариком, полюбовались дивными разноцветными наростами на стенах, громадными нежными анемонами у входа, спугнули желтую мурену, и она нехотя ушла куда-то в сторону, скрылась за кораллами. Ганс посмотрел на манометр — уже пора было идти наверх, на этой глубине воздух кончался быстро.

Обратно дошли без приключений, поболтались, держась за якорный канат, на пятнадцати футах, даже Гретель честно выдержала необходимые три минуты паузы. Американцы уже были на палубе, обсуждали шумно свои приключения. Толстая девчонка упустила пояс, Карл выводил ее на поверхность и возвращался к группе, так что потеряли много времени и на глубину так и не пошли в этот раз. Однако ребята особо свою подругу не ругали, наоборот, утешали, а Карл предлагал сходить завтра, уже бесплатно, раз вышла такая незадача.

Гретель достала свою любимую «птичью еду», как ее называл насмешливо Карл, — смесь из орехов и сушеных фруктов. После погружения дьявольски хотелось жрать, чего-нибудь быстро утоляющего голод. Они вдвоем доели содержимое



коробки, Гретель только оставила крошки покормить рыб. Черные лоскуты, стайкой кружившиеся вокруг корабля, вспенили воду, только что не передрались из-за еды, американцы жались над ними и делились остатками сэндвичей. Все расселись на солнышке греться и переждать оставшиеся полчаса до следующего погружения: Карл уже заставил своих учеников рассчитать по таблицам, сколько времени надо пробыть на поверхности, чтобы выдыхать весь лишний азот из крови.

— Пойдем сегодня на «Мэри Агнесс»? — поинтересовался Ганс у Хатчинсона. Тот улыбнулся как-то невесело и промолчал, а за него ответил Снедекор:

— Сходить-то можно, конечно. Вот только денег нам не дали. Сегодня получили отказ.

— Вот тебе и раз, — пробормотал Ганс. — Значит, не будете вы у нас работать?

— Ну это пока еще неизвестно. Что-то мы не так, значит, сделали. Надо вернуться и начать все сначала, на этот раз правильно. Вообще, я этот рецепт для себя давно вывел, и пока он меня не подводил, — подытожил Снедекор. — Не расстраивайтесь, еще поработаем вместе!

«Да, — подумал Ганс. — Вернуться и начать все сначала». Он чувствовал какую-то пустоту и досаду, понимая, что слишком много вчера поставил на этот проект. Поймал внимательный взгляд Гретель, улыбнулся через силу и достал из ящика со льдом банку кока-колы. Ладно, сначала так сначала.

Второе погружение было поближе к берегу, на мелководье. Здесь уже бросили якорь, в песок на границе рифа, и все отправились любоваться многоцветьем рыбок. Гретель спугнула громадного ската и плыла за ним, взмахивая руками в такт движениям рыбы. Ганс почувствовал легкое раздражение, хотя и понимал, что неправ, ведь он не поделился с ней своими сомнениями и надеждами, так что теперь сердиться, если у нее хорошее настроение? Однако подавить до конца обиду не удавалось, и, когда они вылезли наконец наверх, Гретель быстро заметила, что он не в духе. Приставать с расспросами не стала, растянулась на носу и грелась на солнышке, а потом, как обычно, стояла и жадно смотрела на приближающийся остров. «Как ей не надоест это?» — подумал неожиданно для себя Ганс, и опять нахлынуло раздражение. Он от греха перешел на корму и сел, закрыв глаза и подставив лицо солнцу.

«Начать все сначала, — думал он снова и снова. — Что это значит? Где оно было, это начало?» — и понимал, что неизбежно ответ приведет его на корабль.

Еще он понимал, что, кто бы ни придумал этот остров для них двоих — они сами или кто-то еще, — они были защищены здесь от этих вопросов и сомнений силой любви. Той, про которую вчера говорила мисс Джонсон, любви, которая только и может заставить корабль идти через океан.

И еще одна мысль пришла ему в голову, не в первый раз за эти дни, и отогнать ее он уже не смог. Что корабль вернется с ответами только тогда, когда один из них разлюбит, потому что они отослали его прочь, он был им не нужен больше. Он ушел вместе с их прошлым.

А теперь Ганс вдруг ощутил всей кожей, что уже несколько дней откуда-то, от другого, далекого острова идет в полном молчании их корабль, корабль-библиотека, идет, разрезая волны, днем и ночью, в полной тьме, без огней, и движется он силой нелюбви. И скоро придет к ним, потому что он сам, Ганс, вызвал его сюда, чтобы найти ответы на свои нелепые вопросы. И сам понимает, что они нелепы, но сделать уже ничего не может.

«Катманду» вошел тем временем в бухту и сбросил обороты. Ганс рывком поднялся с места — пора было готовиться к разгрузке.

* * *

Время подходило уже к шести, солнце клонилось к закату, когда Гретель поднялась по ступенькам на террасу. Ганс сидел в кресле в каком-то странном оцепенении и даже не встал встретить ее, обнять. Гретель села в кресло напротив, взяла сигарку из коробки на столе, раскурила, выдохнула струйку дыма и повернулась к нему:



— Завтра утром приходит корабль. Ненадолго в этот раз, только доставить заказ мисс Джонсон. Вообще-то он не должен был даже останавливаться у нас, но вот видишь, — и она развела руками.

Ганс не мог ничего сказать, только голос в голове повторял: «Как быстро... как быстро». Гретель продолжила:

— Ты ведь твердо решил, что должен вернуться на корабль и узнать, в чем там было дело?

— Да, — ответил наконец Ганс.

— Ну вот и прекрасно. Ты знаешь, я обещала немножко помочь мисс Джонсон, я пойду сейчас к ней — нет, ты не ходи. Я буду поздно вечером, ты не беспокойся. — Она погасила сигарку, встала, развернулась, взмахнув юбкой, и сбежала вниз по ступенькам.

Ганс с тоской чувствовал, что у него нет сил побежать, остановить ее, пока не поздно. А потом, когда она скрылась за поворотом тропинки, вдруг почувствовал странное облегчение и понял, что и не хотел ничего останавливать.

Он смотрел, как солнце опускается в море: горизонт опять был чистым, шар солнца коснулся поверхности моря и через две минуты исчез. Только два маленьких облачка светились белым над морем. Ганс обвел взглядом быстро темнеющие склоны по обе стороны от бухты. Он наконец понял, что это последний закат, который он видит с этой террасы, и попытался запомнить, как выглядят облачка, а может, понять, что они означают. Но они уж очень скоро растворились в наступающей темноте.

* * *

Ганс сидел на корточках в комнате. Все вокруг было раскидано в полном беспорядке в холодном свете верхней лампы. Он никак не мог сосредоточиться и бессмысленно перекладывал вещи из одной кучки в другую, иногда застывая на несколько минут.

Вернуться за вещами он уже не успеет, значит, надо взять с собой то, что он не оставит... в крайнем случае. Ганс еще не знал, что случится на корабле, что он узнает, но его охватило незнакомое ощущение — что кончился какой-то кусок жизни. Он примерял его на себя с недоверием и понимал, что это уже было с ним. И с его героями тоже было, и он писал об этом, уверенно расставляя слова, но только сейчас понял, что они должны были чувствовать. «Надо будет переписать все заново», — подумал он отстраненно, стараясь занять голову хоть какими-то заботами, чтобы не стояла перед глазами Гретель, легко взбегающая по тропинке, в счастливом зеленом платье.

Он отодвинул сумку в угол — не будет он ее брать с собой, еще чего не хватало. Положил рукопись в рюкзак, к спине. Сандалии он наденет завтра. Нож... нет, оставит здесь. Зачем он ему теперь? И бинокль тоже. Одну ручку он положит в карман, больше не надо, там есть наверняка. Револьвер... ох, он ведь так и не научил ее стрелять, а она просила несколько раз.

Ганс зажмурился, как от боли, и резко встряхнул головой. Так. Надо все-таки собираться. Башмаки — брать с собой или просто выкинуть? Он опять замер в нерешительности. Пробормотал вслух: «Отгрызть лапу...»

Дверь осторожно скрипнула, он вздрогнул и обернулся. Гретель стояла на пороге, равнодушная, приветливая.

— Можно? — И, не дождавшись ответа, она вошла осторожно внутрь, ступая между разбросанных вещей. Села в кресло у стола, пощелкала выключателем настольной лампы, наконец оставила свет гореть. — Так уютнее. Собственно, я пришла тебе напомнить, чтобы ты не забыл свою мочалку.

— Какую мочалку? — тупо спросил Ганс. Он по-прежнему сидел на корточках, только повернулся к ней лицом.



— Твою, желтую, японскую, — терпеливо разъяснила Гретель. — Мне почему-то вспомнилось из прошлой жизни, что ты всегда забываешь мочалку в ванной. А может, глупости, показалось.

— Да, конечно. — Он встал и направился в ванную. Вернулся, держа в руке чудо японской технологии — длинную сеточку, которой так удобно было тереть спину и от которой кожу покалывало острыми иголочками. Сунул ее в рюкзак, стараясь не глядеть на Гретель.

Сейчас она будет упрекать его, потом жаловаться, упрашивать и потом плакать. Он уже терпеливо ждал этого, сдерживая раздражение. «Я все это уж знаю наизусть — вот что скучно», — всплыла в голове фраза. Внезапно Ганс вспомнил и книгу, откуда была фраза, и как будто прорвалась перегородка — он вспомнил беседку, увитую настурциями, и запах этих настурций, тревожный и сладковатый, и себя на скамейке, как он сидит, облокотившись на неудобную спинку, поджав колени, и читает сероватый томик из собрания сочинений. Мама скоро позовет его на полдник. Слова всплывали одно за другим, и он почти вспомнил голос мамы — а ведь тогда он узнает свое имя. Он замер на секунду, но морок пропал. Гретель говорила с ним, а не мама, и говорила ровно и спокойно.

— Ганс, все люди разные. И мы с тобой в том числе. Я знаю, что тебе нужно прийти на корабль, что ты не можешь оставаться в неведении. Что тебе очень важно знать, что никто тебя ни к чему не принуждал.

— Да, это так. Именно так.

— И я понимаю, что тебе нужно было разлюбить меня — иначе все бы осталось по-прежнему. Ну что же. Поверь, я понимаю, что значит это «надо». — Она чуть повела острым плечом.

— Гретель... — Он откашлялся, слова не находились, но он не мог больше слышать этот спокойный голос. — Ты ведь понимаешь, что нам не оставили никакого выбора? Если человек знает, что есть что-то очень важное, что определяет его жизнь, и он может узнать это — как он может отказаться?

— Понимаешь, Ганс... конечно, ты можешь сомневаться — правильная книга, неправильная... лотос этот зачем-то. Можешь думать, что тебя заставили, обманом куда-то завлекли. Хотя... не похоже это на тебя, ты слишком упрям. Но одно я знаю, и очень твердо. Никакой человек, даже ты, и никакие силы небесные, хоть все вместе соберись, не заставили бы меня полюбить тебя, если бы я сама этого не захотела. Значит, я сделала это сама, без чужой помощи, а себе я доверяю. И я не верю в единственную книгу, не верила никогда, а теперь знаю твердо, что ее не бывает.

— Откуда знаешь? — Ганс был рад, что может хоть что-то спросить.

— Я вспомнила книгу. Это была твоя книга, и ты знал ее с детства. Знал почти наизусть и только на корабле вдруг решил, что она — твоя. Пойми, мы решаем самое главное в своей жизни сами, а когда боимся своего решения, то хватаемся за подпорки. За чужие теории, умные книги. Называем их своими...

— Что это за книга? И что ты еще вспомнила?

— Почти все. — Гретель вздохнула, помолчала, глядя в пол. — И то, как я не стала тебя переубеждать тогда, хотя не верила в единственную книгу, не стала, потому что мне самой хотелось в это поверить. Поэтому я не могу тебя держать сейчас — это было бы нечестно. Ты тоже должен вспомнить, сам, не меня же слушать. А книга... в ней, знаешь, герою даруют покой и жизнь рядом с любимой женщиной. Только и там небесные силы не все могут. — Неожиданно она грустно улыбнулась. — Прочитала сегодня, что Хоббсы ведут род от салемских ведьм. И наша миссис Хоббс как раз из них. А мы еще удивлялись, откуда она все знает про нас...

Она встала, подошла поближе, присела на корточки рядом, заглянула в рюкзак:

— Положи рубашку, только аккуратнее, не мни. Когда ты ее еще погладишь. Ты же ведь сам не умеешь...

— Подожди. — Ганс отпихнул рюкзак в сторону. — А как же ты?..



— А что — я? — Она недоуменно подняла одну бровь. — Мне и здесь вполне хорошо. Да нет, ты не думай, мне грустно, мне действительно грустно. Только я не отгрызенная лапа, я буду жить дальше. Не бойся ничего. — Она легко встала. — Поздно уже, тебе очень рано вставать. Они придут до рассвета, а в семь утра должны идти дальше. А тебе еще там поговорить со всеми надо.

* * *

Ганс лежал без сна. Гретель тихонько дышала рядом, по левую руку от него, — он вдруг вспомнил ее слова накануне, что она привыкла в прошлой жизни сама спать справа. Он забывался на несколько минут сном и тут же просыпался опять. Иногда он осторожно подносил руку с часами к лицу и нажимал кнопку. Вспыхивал голубоватый свет: 2:15... 2:42... 2:57. Вставать через пару часов, может, уже не пытаться уснуть?

Он вспоминал книгу, о которой сказала ему Гретель, но всплывали только некоторые яркие картинки. Раскаленные белые улицы. Кавалерийский отряд, пролетающий на рысях под крепостной стеной. Гроза в городе, похожем на город из его снов. И грызущая память о предательстве — которое никогда не искупить.

Он провалился наконец в сон, лежа на спине. И снилось ему, как он бредет ночью по залитой лунной пустынной дорожке. Он знает откуда-то, что это происходит то ли в Венесуэле, то ли в Буэнос-Айресе. И навстречу ему выходит из кустов неуклюжий большой зверь с квадратной мохнатой мордой и доверчиво утыкается в колени.

— Ты кто? — спрашивает Ганс и вдруг вспоминает: — Неужели карпинчо?

— Да, конечно, я, — отвечает зверь тихонько. Ганс гладит его по загривку, а карпинчо вздыхает и говорит: — А я тебя тоже знаю, — и называет его другим именем. Ганс неожиданно понимает радостно: да, и правда, его так зовут, — и вспоминает, сам себе не веря, всё, день за днем, что он так долго не мог вызволить из памяти.

Они бредут туда, откуда светит луна, и Ганс говорит и говорит. Волнуясь и перескакивая с одного на другое, он рассказывает все, что случилось с ним и с Гретель.

— Что ж ты делаешь, а? — говорит ему наконец карпинчо. — Я убежал из клетки, но я ведь там был совсем один. А ты?

— Я только хотел все вспомнить, — оправдывается Ганс.

— Ну вот, теперь ты вспомнил, как тебя зовут, — рассуждает карпинчо. — Значит, и остальное вспомнишь. Ты такой большой и умный, а я всего только зверь, видишь, у меня и рук нет, только лапы с перепонками. — Он останавливается и показывает ему лапу. — Но даже я знаю, что предательство — это самое плохое, что может совершить человек.

— Да, — соглашается Ганс, его обжигает стыд. — Нельзя бросать тех, кто тебя полюбил, — и чувствует, как слезы текут по щекам, соленые, как океанская вода.

— Это да. Но ты опять не все понимаешь, — укоряет его карпинчо. — Нельзя бросать того, кого ты любишь. Потому что это твой выбор и ты сам себя предаешь. Ты же ведь уже вернулся домой, сам говорил.

— Да, да! — говорит Ганс и плачет уже взахлеб, и ему радостно и легко, как будто он снова в детстве и его простила мама.

— Ты ведь теперь все вспомнил? — заботливо спрашивает карпинчо и косит на него черным глазом.

Ганс прислушивается к себе и отвечает уверенно:

— Да, всё!

И правда, теперь-то это совсем просто. Он удивляется: как же это можно было забыть, — и улыбается сквозь слезы, и садится на скамейку. А карпинчо встает на задние лапы, и тычется ему головой в плечо, и толкает передними лапами.

— Ганс, Ганс! — снова называет его старым смешным именем.

Он очнулся. Гретель трясла его за плечо.

— Ты проспал, Ганс! Уже скоро шесть, ты опоздаешь на корабль.

Он провел рукой по щеке — мокро. Уткнулся в подушку, незаметно утер слезы, поднял голову и посмотрел в лицо Гретель. Только тревога за него, ни капли обиды или досады. Он улыбнулся, чувствуя, как снова подступают слезы. Произнес медленно, нерешительно ее настоящее имя и увидел, как она вздрогнула.

— Ты спала?

— Я уснула в последний момент, — повинилась Гретель, глядя на него влюбленно и с надеждой.

Он вздохнул и обнял ее:

— Можно я никуда не пойду? Я совсем не выспался, а у нас на сегодня столько дел, — и закрыл ей рот ладонью.

* * *

Они спали обнявшись и не слышали низкого гудка корабельной сирены, и не видели, как белый корабль, развернувшись, ложится на курс и вскипает вода за кормой, а потом расходится волнами и снова успокаивается.



Лариса МИЛЛЕР

ДЛЯ БОЖЬЕЙ МАЛЕНЬКОЙ КОРОВКИ

* * *

В июне, что богат росой,
Послужим взлётной полосой
Для божьей маленькой коровки.
Уж коль мы сами так неловки,
Что не летаем, пусть она
На лёгких крылышках, одна,
Поджав невидимые ножки,
Взлетит с распахнутой ладошки.

* * *

А жизнь морочит и темнит.
Спроси её, чем втайне дышит —
И притворится, что не слышит
Иль о другом заговорит.

О, это странное житьё:
Веду, веду допрос с пристрастьем,
Чтоб вдруг понять, что можно счастьем
Считать уклончивость её.

* * *

Планирую проснуться рано —
Едва зажгутся облака.
А остальные пункты плана
Я не наметила пока.
А остальное я намечу,
Когда увижу, что жива.
Тогда на семь назначу встречу
С туманным утром, а на два —
С дневным лучом, что встречи скорой
Дождавшись, примется плясать,
А после — с вечером, который
Тихонько будет угасать.

* * *

Мне так нужен воздух, которым ещё не дышали,
Загадки, задачи, которых ещё не решали,
И звуки, которых покуда не слышал никто.
А я свои силы истратила только на то,
Я только на то драгоценное время убила,
Чтоб с тем разобраться, что здесь до меня уже было.

* * *

Не то я исключение из правил,
Не то Всевышний правила исправил,
Но я, чем старше, тем живей, живей.
В минувшем мае даже соловей
Моим стихам счастливым поразился
И даже в час ночной со мной сразился.
Вот и сегодня я ночей не сплю,
Стихи из слов податливых леплю
И засыпаю где-то на рассвете,
Не записав ночные строчки эти.

* * *

Я как раз подросла,
Когда раздавали подарки.
Мне достался весь белый
В цветку куст жасминовый маркий.
Был он хрупкий на диво,
И я его тронуть боялась.
Взгляда не отводила
И смехом счастливым смеялась.
Ну а он, точно ангел, от сглазу меня охраняя,
Трепетал своим крылышком, пёрышки тихо роняя.

* * *

Слава богу, что папа успел потетёшкать меня,
Что успел подержать у себя на коленях немного.
Ну а дальше — война и дорога, дорога, дорога,
На которую рухнул ничком. Ведь любовь — не броня.
Не броня? Но любовь, что ко мне проявлял, не тая,
Мой погибший отец — и сегодня защита моя.

* * *

Смотри, на бочке дождевой
Сидит воробышек живой.
Ну, разве это не удача?
Все целы — птица, ты и дача.
И лишь сарайчик дровяной
Уйдёт, наверно, в мир иной.
Он сам на волю попросился,
Поскольку сгнил и покосился.

* * *

Так дружат счастье и беда!
Так дружат — не разлей вода!
Они не могут друг без дружки
И даже пьют из той же кружки,
Из той же мисочки едят
И в ту же сторону глядят,
И, видя, что идёт прохожий,
Летят навстречу вместе тоже.

Валерия ИВАНОВА

ДЕНЬ АНГЕЛА

Р а с с к а з ы

ДЕНЬ АНГЕЛА

Зима пятьдесят седьмого от прочих зим отличалась мало. Слепые стекла под слоями льда, столбы инея из форточек; промороженные стыки весной оттают и потекут разводами, смывая известку и штукатурку со стен, — такое повторялось каждый год. Двадцатое ноября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого (а ноябрь в Сибири — уже зима, и глубокая зима) выдалось на среду, и была бы это обыкновенная рабочая среда, когда б не день рождения. Исполнилось Лидке девятнадцать.

Будильник загудел под ватной подушкой у кровати. Вскочила сразу, отжала кнопку, — отца бы не разбудить. В кухне, пока терпели ладони, держалась за чайник на конфорке, отогревалась. На скрип обернулась — Натка, чудо сонное. На цыпочках по ледяному полу проскочила, голые пятки высоко, как над углями. Влезла на колени, прижалась. Потом из-под майки открытку вытянула — подарок. Лида качнулась назад, поймала свет от лампочки.

— Сама, что ли, нарисовала?

Фыркает. Нет, не сама. Открытка старинная, с салонной фотографией. По черно-белому снимку неведомый ретушер щедро, по-кондитерски, прошелся краской, в основном розовой: усатый кавалер во фраке протягивает румяной даме коробку с тортом и букет в лентах. По лаковым его штиблетам и по белому подолу барышни надпись с вензелями: «С днем ангела!»

— Ты где ее стащила? — в ответ сопенье. Уснула красотка, пригелась.

Лида дотянулась до выключателя, чайник всхлипнул и затих. На окне оттаявшее паровое пятно снова подернулось льдом, будто растрескалось. Лида прижалась щекой к стриженной наголо Наткиной макушке. Грубо постригли, рубец возле уха вспух. Вшей из школы принесла. Мать пробовала вычесывать гниды из кос, но плюнула: и долго, и смысла нет. Ездили на выходных к тетке в деревню, та церемониться не стала, схватила ножницы овечьи — и готово. Ничего, обрастет еще. Лида легонько потянула сестру за нос:

— Натка, слышишь? Беги-ка в постель, досыпай. Ну?..

* * *

В каморке при складе холодно, вода в графине за ночь замерзла, стекло на боку лопнуло, будто шов разошелся. «Надо бы выбросить, а то оттает, потечет», — подумала Лида, но вместо этого прислонила к графину открытку. Шнурованный дамский башмак завис над казенной расходной книгой, почти касаясь мыском чернильных



цифровых колонок. В дверь заколотили, полетела из-под реек деревянная труха пополам с инеем:

— Открывай, слышь! Чего заперлась? Давай склад открывай, мне верхонки получать.

Грузчики комбинатовские были для Лиды все на одно лицо, а Семенова отличать научилась. Он, хоть и ругал лядащей, а с верхних полок тюки брезентовые или штабеля крышек для майонезки всегда сам снимет и с замками-засовами поможет. Вот и сейчас — отобрал у нее ключи, ловко скинул с дужек амбарный замок, пощелкал выключателем.

— Лампа, похоже, гикнулась. Давай посвечу.

Тут же и фонарь в кармане нашелся. Запасливый. Так и шли вдоль стеллажей рядком, плечами толкаясь. У ящика с верхонками фонарь Лидке под мышку пристроили; пока Семенова тюки пересчитывал, она накладную заполняла. Пальцы застыли, не сладили с копиркой, вспорхнул чернильный листок куда-то под ноги, в темноту. Пока шарила одной рукой под полками, у ладони что-то мягкое скользнуло — крыса. Лидка выпрямилась рывком, поймала на лету фонарь — и вдруг разревелась.

— Ты чего? Ну? Чего ревешь-то? Поранилась, что ль?

— Чего-чего... День рожденья у меня сегодня, вот чего.

— Ого! Поздравляю. Лидк, так отметить надо, а? Давай, может, спиртику оформим? Потом спишешь, не маленькая ведь. А, именинница?..

Лидка плечом оттолкнула Семенова, утерла нос чернильными пальцами.

— Обойдешься. Спиртику ему, как же. Подержи фонарь, верхонки пересчитаю. Знаю я вас, ухарей. Уйди, говорю, с дороги, ну!

К вечеру в кладовщицкой потеплело. Открытка сползла на стол и свернулась трубочкой. Лидка разгладила картонку. Лаковый слой пошел трещинами, как глазурь на пирожном. Зарешеченное окошко под потолком снова ослепло. «Будто и не светало», — вздохнула Лидка и стала собираться. Заперла каморку, ввернула лампочку у складских ворот, та сразу вспыхнула. В синеватом круге закружились мухами снежинки. На лестнице стряхнула валенком со ступеньки замерзшего воробья. За ночь крысы съедят вчистую, костей не останется.

До проходной идти далеко, да и шмонают там. А Лидке этого нельзя: под ватником кофта рукавами вокруг живота обвязана, в ней бутыль со спиртом. Семья большая, ртов много, а спирт — валюта верная. Так что дорога одна: склад обогнуть, там за бытовками дыра в бетонном заборе. Если не знать, можно на арматуру напороться, но Лидке и этот штырь кстати: хватаешься, ноги подтягиваешь — и спрыгиваешь уже на той стороне. Теперь через пустырь до дому рукой подать. Сугробы высокие, но наст крепкий, намороженный. Да и Лидка легкая. На ногах пимы отцовы, огромные. Она уж наловчилась пальцы кверху задирать, чтоб валенки держались. Сегодня луна высоко, пустырь как на ладони, надо бы поторопиться. Не дай бог, кто из охраны с проходной выйдет покурить на мороз. Вдруг сбоку тень мелькнула, Лидка шарахнулась, оступилась. Из-под изломанного ивового куста, будто со звериной лежки, поднимался мужик. Ухватил за рукав, повалил, зашарил под ватником. Кофта развязалась, бутыль тюкнулась о камень. Плеснуло спиртовым духом, обожгло ноздри. Мужик застыл, принохиваясь. Лидка очнулась, вцепилась зубами ему в ладонь, выкрутилась из-под тяжелого ватника, рванулась. Громила спохватился, уцепил за ноги. Так с пустыми валенками в руках и остался. Сама же она по сугробам в носках припустила, отплеываясь на бегу соленым. Там, в левом пиме, за голенищем открытка Наткина приткнута. Добыча мужикова теперь. С днем ангела тебя, дядя.

Пока до дому долетела, шерстяные носки о наст изрезала вчистую. В доме спали. Прошла тихонько в кухню, нашарила на столе вареную картошку в миске, поела в темноте, слезами присаливая. Завтра с утра с отцом придется объясняться — и про пимы, и про спирт. Не уберегла. В комнату шла ощупью, света не зажигая, будить никого не хотелось. За занавеской в кровати Натка заснула, приткнулась к стенке, скорчившись, как давешний мерзлый воробей. Восьмой год, а совсем кроха, и пяти-

то не дашь. Лида укутала сестру шалью поверх одеяла, угнездилась рядом, начала задремывать в тишине. Сквозь сон опять мужик из-за ивы потянулся, за плечо тряхнул. Лидка вскинулась, рванулась.

— Тише, тише! С днем рождения, доча. Пошарь под подушкой, носки я тебе связала, из собачьей шерсти. Говорят, от ревматизма хорошо. А отцу-то на базе рыбы дали, вроде как на аванс. В субботу пирогов напечем, да? Ну спи, спи, ладно.

Мать погладила Лидку по плечу, чмокнула неловко в макушку и вышла. Занавеска качалась на сквозняке, звякая кольцами. Натка рядом заворочалась, зашептала что-то во сне и снова стихла. В кухне мать зажгла свечу, как делала всегда по ночам, чтоб большим светом своих не будить.

Лидка смотрела сквозь ситцевые складки на теплый отсвет, слушала, как плещется вода, как тихоночь звякает посуда, и мягко соскальзывала в сон. Там, во сне, она снова бежала через пустырь. Новые шерстяные носки держали тепло надежно, а рядом, у плеча, неслышно летел стриженный лопухий ангел в шнурованных ботинках. Летел совсем близко, касаясь крылом. И пахло от него горячей хлебной коркой.

ЗОНТЫ

Ой, да ну что вы! Ну куда вы пойдете, такой ливень! Садитесь, садитесь, и плащ снимайте... Давайте, я его развешу внакид — не высохнет, так хоть стечет. Да не волнуйтесь, нетрудно мне. Пока дождь не кончится, я вам чайку сделаю, хотите? В меню такого нет, это мне хозяйка наша с Байкала привозит травы, мы для себя завариваем. На меду, да с ягодами. И я с вами попью, все равно никто не придет, в такой-то ливень.

А вы знаете, я ведь тоже зонта не ношу. Да ну, какой принцип... Так, не сложилось у меня с ними... Ну как чаек? Ага, я же говорила — понравится. А еще отказывались. Давайте-ка еще по чашке, а? Видите, в лужах пузыри надуваются? Примета есть, что такое к долгому дождю. Ну вот, другой разговор. А зонты... Тут издалека надо начинать, наверное. С детства. Мы же с мамой трудно жили, вдвоем все. Про отца она не любила вспоминать. Вроде не бросал он ее, так, уехал на заработки, с шабашниками по деревням мотался. Сначала-то вроде на сезон договаривались, потом позвонил, что согласился до конца лета. Потом еще раз-другой на связь выходил, приветы передавал, да и пропал. Вольная-то жизнь кому не понравится? Деньги? Не знаю, может, сначала что-то и слал, но при мне нет, не помню такого. А мама же гордая, все сама, молчком. Тянула меня, работала, я ее и дома-то почти не видела. Ночью проснусь: в кухне свет, шитье, что ли, она брала на дом, калмыла. А я что? Ребенок. Помню, уже в школу пошла, когда мы из общаги нашей переехали в новый дом. Однушку там дали, зато и кухонька своя, и ванна. Мама радовалась, а я, дура, злилась: у меня в прежнем-то дворе все друзья-товарищи остались. Изводила маму, конечно. А тут еще у соседки дочка, ровесница моя, гулять выходила с зонтом. Ох, какой был зонт! Импортный, прозрачный — и не плоский, как все обычные, не крышей, а грибок таким. До плеч спускался куполом, а на макушке, на шпиле, кисточка. И по всему полю — цветы-колокольчики. Ох, как мне этот зонт нравился! Наяву сна видела: дескать, появится у меня такой же, и приеду я в наш старый двор, в общагу, шелкну замочком небрежно, все и попадают. И дождя под такое дело не надо. Без дождя бы и лучше: и зрителей больше, и красоту портить не придется, под водой-то. Ну и пристала к матери как банный лист: купи да купи! А где бы она купила? Он же импортный. У соседской-то девчонки все импортное, даже имя — Виолкой звали. Куда уж нам... Но это я сейчас умная, а тогда... ой, и вспоминать стыдно. Мама в долгах была, что-то там с квартирой непросто выходило, а тут я с зонтом. Ну и довела ее, шлепнула она меня. По щеке, потом еще и под зад поддала. И сама же и разревелась. А я чемодан с полки стянула, уйду, говорю, от тебя! Потом-то, позже, когда уж помирились, мама смеялась. Говорит, я в чемодан-то одни трусы из шкафа выгребла. Самое, значит, нужное. Не знаю, про трусы не помню, зато врезалось в память,



как я сама себе тогда же обещание дала: вырасту, пойду работать и с первой зарплаты куплю себе самый шикарный и дорогой зонт. А матери — фигу!

Потом, я уже постарше была, сошлась мама с одним, с работы. Встречались они, по углам мыкались. Мама глаза прятала: заночую, дескать, у тети Ларисы, у подружки, суп в холодильнике, разогреешь сама. Ну, потом вроде серьезно у них стало, мужик нас к родне повез, знакомиться. Приехали. Квартира огромная, под книжками целая комната. Они там под цвет подобраны, переплеты, в шкафах вдоль стен от потолка до пола этажами, этажами все. Я подошла, потянула пальцами створку — не открывается. А интересно же! Стекло мутное, буквы на корешках не разглядеть. Я носом приплюснулась к дверце, губами шевелю, силось прочитать. Тут мама подскочила, оттаскивает меня, я упираюсь. А хозяйка таким противным голосом: «Да ничего, не волнуйтесь, что с ребенка взять?» А сама уже в перчатках резиновых, — и таз с водой, и порошок притащила. И как давай стекло намывать. Потрет, отойдет на шаг, присмотрится, дыхнет и снова трет — то сухой тряпочкой, то даже и подолом халата. Потом глянет со стороны, глаза скосит — опять дышит, опять трет. А мы с мамой у стены стоим, в углу. И молчим.

Еще почему-то запомнилось, как за столом сидели, в другой уже комнате, а у мамы на чулке штопка. Она все старалась коленку под скатерть спрятать, да вдруг отвлеклась, разговорилась, что ли. Нога-то и вынырнула на свет. Я тогда скатерку за край ухватила и потянула, чтоб штопку прикрыть. Вазочка с вареньем со стола и брякнулась, прямо на паркет.

Когда уже уходить собрались, дождь рванул, прямо водопад с обрыва. Вот как сейчас, да холоднющий, осенний. Мужик нас провожает в прихожую, маме пальто подает и говорит, дескать, не волнуйся, мать тебе зонтик даст. А та в гостиной, паркет оттирает от варенья. Услышала, выходить не стала, а так оттуда и кричит: «Ну уж нет, Славик! У нас слишком дорогие зонты, чтобы их всем подряд раздавать. Тем более — без возврата». Мужик там остался, а мы с мамой шли к остановке, темно уж было, лило мне за шиворот, будто под трубу водосточную попала. Бежим к остановке, а я зубами стучу и тайком, в голове, мечту свою переиначиваю: «Не надо мне больше шикарных зонтов. Вот вырасту — и накоплю себе много-много дешевых, простеньких. И всем-всем буду раздавать».

Ну что сказать... Не сбылось — ни первое, ни второе. Первый мой зонт мне муж подарил, да. Ну и какой он тогда муж был... Так, даже и женихом не считался. Студентик с параллельного потока, ровесник. Копил долго, в каникулы по деревням шабашил, как и отец мой. Только отец больше по стройкам, а этот дрова колот старухам. Вернулся — кожа да кости, на ладонях мозоли от колуна, рубцы с палец. Обрадовался, обнимать полез, а я кричу: «Уйди с клешнями-то!» Кофточка на мне новая была, у соседки перекупила, голубая ангорка. Боялась, что он мозолями-то своими зацепит, разорвет. Смеялся. А на день рождения мне зонтик и купил. Японский, автоматический. Ой, они тогда в моде были, что вы! Гонялись за ними. У спекулянтов взял, втридорога. Преподнес, довольный такой был. Еще и на гвоздички осталось, и на кафе-мороженое. Вот там-то я свой подарок и забыла. Спихватились, вернулись, а зонта и след простыл, конечно. Шли домой, а тут и закапало. Сначала-то вроде немного, он мне еще щеки утирает, мозолями-то своими. Чего, говорит, ре-вешь? Новый зонт купим! А я: «И ничего я не реву, дурак ты, что ли. Это дождь, не видишь?» — «Да где?» — и ладонь под небо подставляет. Ну, тут и хлынуло. Ох, и бежали мы! А на улице — потоп. По колено в воде, будто вплавь по реке, перекрестки нам по колено. Трамваи встали, светофоры с ума сошли. А мы хохочем и все бежим, бежим... Помню, по воде чью-то куклу понесло, она мне еще в коленку ткнулась и дальше поплыла. А он смеется: смотри, говорит, знак — значит первой у нас дочка родится. Так и вышло, да.

А с зонтами не сложилось... Да чего ж хорошего? Вот будь у меня зонт, я б вас сейчас выручила, а так... Что? Кончился уже? Точно? Ну вот и славно. И плащик ваш подсох как раз. Берите, встряхните только, чтоб расправился. А за чай я с вас по меню возьму, как за обычный. Не возражаете?..

ГОРЕ ЛУКОВОЕ

Газета на подоконнике пришлась впору, легла аккуратно, как скатерть. Шрифт вот только на сгибах смазался. Она присмотрелась: так и есть — ладони черным-черны. Хотела обтереть краску о халат, да застеснялась, спрятала руки под себя.

А гость и не заметил, опрокинул стопку, пальцами подхватил с рыбной нарезки горку луковых колец и звонко захрустел. Она зажмурилась: жухлая луковица, пережившая два сезона, а брызжет соком, будто от сладкой чернильно-фиолетовой ялтинской откусил где-нибудь на печеном базаре в Крыму.

— Омулька, омулька берите! — ткнула пальцем в тарелку и опять засмушалась: полная, мощная, как фонарь, луна висела в окне, обводя голову гостя маслянистым нимбом. Вместо ответа он перехватил ее руку, развернул ладонью вверх и поморщился: в желтом свете типографские кляксы чернели сквозными дырами. Звякнуло бутылочное горло, вымеренно, четко, в три коротких булька, плеснула водка. Гость выпил, шлепнул пустую стопку о газету, добавив третий четкий ободок к двум уже расплывшимся.

— Бог троицу любит, — некстати лягнула она, а он прыснул изо рта водкой ей на ладонь, в точности как сама она прыскала на белье при глажке. Из-за плеча поднялось крыло; Ангел, крикнув, выщипнул перо и заелозил по руке, как тряпкой. Она вырвалась, замахала, а он заблажил гнусаво-умоляюще:

— Мамо! Тае, это ж я, мамо! Чего вы не просыпаетесь? Тае утро! — и пропал.

Вместо него, наклонившись над подушкой, дышал луком сын Сеня. В одной руке стакан, в другой — платок. Платком он тер ей без разбору лицо и ладони, которыми она заслонялась от брызг. С усов капало.

— Ты чего?!

— Бужу.

Отхлебнул из стакана и брызнул — показал, как будит. Она сплюнула и вцепилась ему в костлявые плечи. Сеня дотянулся стаканом до пола, примостил, не глядя, на половике, потом плотнее уперся руками в матрас. Начался привычный труд поднимания: сын пружинил локтями, позвоночником, скруглял плечи и тянул ее на себя. Она подавалась острым носом, подбородком, ключицами, а налитые большой водой груди и живот скатывались вниз под рубашкой и распластывались на простыне. Рывок — и мать сидит, свесив ноги из-под одеяла, пережидает собственные плески и колыхания.

— Ну и куда ж я так опаздываю со сранья? Поддай мне грацию!

Вот она уже перед трельяжем, румянит щеки хлопками и сообщает трем своим отражениям сразу:

— Трудно встать, идти-то сможем. Было бы куда. Так куда ж я опаздываю, Сеня?

Но Сеня как сквозь землю провалился.

— Мадам, тут это... время поджимает.

Дверь отлетает и бьется в стену. Парень в белом халате втекает в комнату. Сам собой подвернулся под руку стул, крутнулся на ножке и принял гостя на сиденье, как в седло. Может, Герману таинства туалета престарелой графини и казались отвратительными, парень же смотрел на хозяйку явно с удовольствием.

— Мадам, красота — страшная сила, вы б побереглись. Лопнет чехольчик-то.

Она нащупала утонувшую в плече ляжку, расправила и отпустила. Ляжка резиново чавкнула.

— Не лопнет, грация чехословацкая. Что на этот раз?

— А на этот раз у нас, то есть, у вас, два вызова. Вчера он пытался вызвать скорую к продавщице из ларька, — дескать, несчастная любовь, помогите, плачет. Диспетчером в вызове отказано. А у девчонки аппендицит оказался. Сегодня позвонил: приезжайте, сменщица повесилась.

— Ну?

— Мы приехали. Сменщица на пороге курит, в ларьке грузчики шуруют: бананы завезли. Все живы-здоровы, в петлю никто не лезет.





— Ну?

— Мадам, вы повторяетесь. Бросайте курить, ешьте лучше бананы. Докладываю: за киоском в куче коробок обнаружен ваш сын, подозреваемый в ложном вызове бригады скорой медицинской помощи. Вопросы есть?

— И что он там делал?

— А вот это в точку, потому что там он прятал щенка неустановленной породы с откушенным хвостом. Его и предъявил к осмотру. Суицидно-настроенную продавщицу объясняет так: дескать, справедливо рассудил, что к щенку бригада не поедет. А зверя жалко. Мадам, вы любите животных?

— Нет, я люблю докторов. Особенно белобрысых и с собаками. Кстати, когда вам надоест уже портить мне утро, так вы подниметесь на четвертый этаж, дверь сразу налево. Там Людмила Сергеевна откроет, скажете, что от меня, получите два кило куриных голов. Может, еще и лап завернет, не знаю. И не благодарите меня, я этого стесняюсь! Щенку надо поправляться, на хлебных корках хвоста не отрастишь.

Оставив доктора смеяться, она, казалось, сразу о нем забыла. Все так же стоя, — сесть, будучи затянутой в грацию, значило принять унижительный и тяжкий труд по подъему с приземистого пуфа, — открыла пудреницу, скатанной из ваты пуховкой привычно обмахнула фиолетовые подглазья, черный пух над губами и гладкий, как у китайской куклы, лоб. Послонила пальцы, расправила обсыпанные пудрой широкие брови. Вытянула из пуховки несколько волокон и накрутила поверх сургучной спичечной головки. Среди россыпи помадных тюбиков, траченных полностью или до половины, отыскался заветный, воскресного назначения. И, увы, почти пустой. Спичкой выскоблила его вчистую, жирные, цвета перезрелой вишни, остатки разровняла по скулам и губам. Все той же пуховкой вытерла помаду с пальцев, взбила зеленоватые от «Басмы» волосы на затылке, скрепив узел вязальной спицей. Теперь — одеваться.

Плюшевый халат богатого густо-фиолетового цвета, в проплешинах, валялся рядом на подоконнике. Тряхнула головой: привиделись черные на белом кляксы, как раз там, где во сне выстилала газетой, как скатертью, подоконник. Суемерно дунула через губу: «Куда ночь, туда и сон».

— Мадам, позвольте! — доктор, лакейски разлетаясь по полу носками туфель, подскочил к ней, перехватил из рук халат и подал сзади, как подают пальто. Хотел еще и пояс подвязать, дотянувшись через подмышки до живота, но получил шлепок.

— Кто-то тут, по-моему, торопится — или как? — она вскинула глаза и застала его врасплох: наигранная улыбка, гусарская галантность пропали. Смотрел серьезно, тем особенным врачебным все примечающим взглядом — цианоз, отечность, вены на шее вздуты, хрипы, — к которому она давно привыкла. И который ненавидела.

Как дворовый хулиган отчаянно, без надежды на успех ангажирует барышню на дневной сеанс, он предложил:

— Может, давление померим?

Барышня подняла бровь, заиграли на солнце смешливые чертики, и хулиган отступил. У двери обернулся:

— Поговорите все-таки с Сеней. Диспетчеры с подстанции его голос узнают, ругаются. Случись что, да не в мою смену, могут в ваш адрес и не поехать. Понимаете?

Ответом она его не удостоила, нащупала в кармане папиросы и пошла к балкону. Внизу, у машины, облокотясь на дверцу, стоял шофер в кепке, держал в ладонях щенка. Его окружили ребятишки, наперебой наглаживающие скулящего зверя в бинтах. С другой стороны кабины, свесив ноги над колесом, сидела пожилая медсестра, обмахивалась свежей сиреневой веткой. Увидела, как идет от подъезда врач, пересела и захлопнула дверь. Доктор шел угрюмо, споро, без всякого свертка. «Не взял потрохов, побрезговал», — отметила старуха на балконе и выпустила колечко дыма. Щен заскулил, оказавшись за пазухой у врача, но угрелся и затих. Скорая уехала. Ребятня потопталась на пригорке, глядя вслед машине, потом поплелась к скамейке

под тополем, где Сеня разложил шахматы. Рядом потел над доской Венька, слесарь из ЖЭКа, вытирал шею платком, проговаривал про себя комбинации и на следующий ход не решался. Сеня же тем временем успевал курить, отогоняя пятерней дым в сторону, качать коляску со спящим маленьким Борькой, пока его мать — «Сень, я пулей, одна нога там, другая тут!» — в магазин слетает, приглядывать за четверкой карапузов постарше, что сгрудились в песочнице, переругиваться с соседом, чтоб или убирал за своим пуделем, или выгуливал его в другом дворе. Кричал парочке пацанов, крадущихся к подъезду с трофейной пачкой «Беломора», что все видит и, как только обыграет Веньку, поймает их и уши оборвет. А вечером отцы ремнями добавляют.

— Блаженный и есть. Как на него сердиться? Горе луковое, — вздохнула на балконе старуха и сделала затяжку. От левой ладони, будто и впрямь разъеденной краской, побежали вверх, через локоть к плечу нестрашные, щекотные иголки. Она хмыкнула, хотела встряхнуть рукой, но та онемела и не поддавалась. Иголки попали в глаза, рассыпалась под веками боль, как песок. Старуха заморгала и дня уже не увидела. Снова была луна, перечеркнутая веткой, пахло луком и свежепросольным омулем. Ангел взял ее за руку, улыбнулся одними глазами, хотел обнять, но она засуетилась, вскинулась, не решаясь спросить. Он понял, кивнул, и старуха зашептала ему в ухо, торопясь, взаллеб:

— Только поминки без водки, чтоб обязательно без водки, всухую! Нельзя Сене, ни капли нельзя! Без водки, ладно?

* * *

Перед похоронами Сеня обходил двор с целлофановым пакетом, собирал деньги. Ему не отказывали. Он помнил, что благодарить нельзя, кивал, пытаясь сурово супиться, но ему так была непривычна чужая серьезность и уважительность, что не выдерживал и улыбался:

— Тае, приходите послезавтра, ух, отметим! Тае, посидим!

Водки на поминках не было, но не уследили, ближе к ночи кто-то Сеню подпоил. Говорят, из другого двора брательник какого-то отлупленного за курево пацана отомстил. Поил вроде пивом, а может, и чем покрепче, судя по тому, как тот потом хрипел, бешено лупил кровавые глаза, разбрасывал с губ желтую пену, выгибался дугой, раскидав троих мужиков, а потом, лежа на боку в собственной луже, тоненько скулил в стену. Скорую вызывали с опаской, диспетчер, услышав адрес, и впрямь было заартачилась, но вызов приняла. Соседки потом шептались: «Наш доктор дежурил, повезло...»



Дмитрий РУМЯНЦЕВ

«ЗВЁЗДОЧКА» ЗА ПРИЛЕЖАНИЕ

* * *

Для местной шпаны я всегда был чужим, фраерком,
и даже когда я смотрел исподлобья быком,
то не обманул никого из преступной породы.
Ни прыскать сквозь зубы, ни фикса казать, ни свистеть
я не научился и не пожелал захотеть,
ни красть, ни козырную масть доставать из колоды.
Я в тех закоулках прошёл по касательной, хорде
к бандитскому миру. К тому, что считалось «крутым»,
ко всем этим шустрым и тёртым, прожжёно-блатным,
потрёпанным жизнью и жаждой разгула и шика.
К моим корешам — корешкам перечитанных книг
вернувшись в угрюмой ночи, я лелеял язык
Языкова, Фета. И жил относительно тихо,
мечтая о лаврах поэта.

Так годы прошли,
я был напечатан и кем-то замечен в Сети,
и понял о сути поэзии что-то. И понял,
что Пушкин ещё не чурался интриг и борьбы
за литературный престиж. И законы игры
здесь те, что в любой подворотне. И так, как на зоне
не стать петухом, здесь пристало не взять петуха.
Не верить, не ссать, не просить. Но, чураясь греха
публичности, я никого никогда не «зарезал»
в печати. Не дрался, не знался, и, зная, поделом,
что слава прошла, по-шалавы вильнула бедром
и сплюнула под ноги мне, обдавая презреньем.

Но муза диктует судьбу, и негромким призреньем
её я живу...

СЫНУ

Помню: мама носила тебя и лежала в больнице
номер 8 (как знак «бесконечность», что встал на попа).
Я тогда приезжал каждый день в те глухие места
с передачками к ней: ты до срока пытался явиться
в этот мир. Той зимой на карнизе снегирь да синица
находили тепло. И палата звенела, пуста.



А потом, возвращаясь домой, ожидая трамвай,
я увидел, как сына родители тянут за ворот
от путей. Он противился папе: раздавленный голубь
захватил его мысли. Отец говорил: «Не зевай.
Этот голубь уснул». Я вселенский почувствовал холод:
как тебе я в свой срок объясню зло и смерть? И права

на рождение жизни всем тем, кто, увы, не нашёл
смысл её?.. Разгорались светила Сочельника. Гулко
лязгнул, кренясь, трамвай — гильотиной загробного звука,
и химеры отчаянья впились в висок: хорошо
между вечностей *прежде* и *после* промучиться миг,
здесь, где бесится Ирод. А рая иного не будет.
Потому и кричат при рождении новые люди.
Но китайскую грамоту счастья на русский язык
переводят порой. Пусть тебя в детских прописях водит
та же «звёздочка» за прилежанье в желании жить,
что учитель мне ставил когда-то...

* * *

На закате судьбы за бетонной больничной оградой
у белёной стены, как на выцветшем снимке Бретона,
надо лишь, чтобы ветер тебя по макушке погладил,
и уже ты — ребёнок. А мама любимая — дома

и на кухне хлопочет: вот-вот позовёт пообедать.
По затылку потреплет, сметаной заправит оладьи.
Каплет дождь затяжной. Этой музыки лучше не ведать:
этих плакальщиц-капельниц слушать не надо.

Вот идёт коридором сестричка. И следом, и следом,
как за мамину юбку, цепляются взгляды...

ИРТЫШ. НАБЕРЕЖНАЯ

Быть может, здесь Раскольников сидел
на камне, обхватив башку руками,
пока друзья-колодники толкали
тугую баржу в выцветшей воде
под крик конвойных. Никогда нигде
судьба тебя на жизнь не обрекает.

Но надо жить, чтоб до конца испытать
раскаянье, чтоб Божьим наказаньем
испытывать себя, как тайным знаньем,
когда терпенье требует любить
страданье.

Наконец-то здесь, в конце
пути пора найти в себе *другого* —
смирненного библейского Иова,
как родовую память об Отце
Небесном. И у врат небытия
увидеть стадо облачное, словно
жизнь, точно в Книге, повторится снова,
богатство и везение дая.

Как будто, расплатившись за грехи,
по воле Достоевской — в изумленье
проснёшься юным в новом поколеньи
в толпе друзей у медленной реки.
... Ну а пока на набережной, здесь,
бегут машины. И по кромке узкой
на парапете пляшет трясогузка,
как вестница того, что счастье есть.

ОТПУСК

В Киммерию (а может быть, в Кемер)
из Кемерова ночью он приехал,
и наблюдал за ласточкой под стрехой,
принёсшей для птенцов своих химер

вечерних; в полнолуние смотрел
на чёрное лоснящееся море.
И в духоте душевных акваторий
он разглядел свой будущий удел:

что жизнь прошла, как мимолётный бриз,
и буря смерти окоём обстала.
Была печаль, но вот её не стало.
И, отряхнув ступни, он вышел из

судьбы, взойдя к восторгу и тоске
небес от сказки южного пейзажа,
где в пене волн, лизавших камни пляжа,
лишь тень его металась на песке.

БАБЬЕ ЛЕТО

Свинцовыми жуками пышет сад.
Но к октябрю листва сгорит от зноя.
На ветке вспыхнет солнце наливное,
где паутинки слюнками висят.

У осени отменный аппетит.
Весь этот пир — на золоте, на бронзе —
доходчиво описан в малой прозе,
рассыпан в пышный траурный петит:

проснутся метастазы холодов,
как вечные метафоры упадка,
как червячок в земле идёт украдкой
в метаморфозах потайных ходов...

Так я иду, пока кривится рот
осенний, в превращении буддийском,
и в это утро промышленьем высшим
никто из смертных больше не умрёт.
Тяжёлая планета, накренившись,
замрёт.

Наталья ВОЛНИСТАЯ

О ЛЕГКОСТИ БЫТИЯ

Р а с с к а з ы

Я точно знаю, как мог бы выглядеть мой родовой герб: вздыбленные грабли на червленом поле.

О первоначально зимнем

Декабрь, идет дождь, летит время. Вот-вот запахнет мандаринами.

Вчера насупленный дяденька нес мокрую елку. Тощую, с виду болезненную. Наверно, подобрал ее, как подбирают бездомного котенка.

Принесет домой, отмоев, высушит феном, вызовет хвойного доктора, и после прививок, витаминов, правильного питания, любви и заботы она забудет о невеселом прошлом и как раз к Новому году отрастит зеленые пушистые лапы.

А может, дядьке нужны дрова.

Две девицы в троллейбусе обсуждают предстоящий корпоратив.

— А Кухарчик кто будет? Принцесса?! Это Кухарчик-то принцесса?! Прикинь, платье себе шьет, с кринолином! Типа кринолин ей поможет!

И хихикают.

Пусть бы неизвестная мне Кухарчик сшила себе такое платье, чтоб вошла, и все — ах! И даже если она весит центнер с гаком, пусть бы она в этом платье была — ах!

А ежели Кухарчик стерва и интриганка, все равно — ах! Но чтоб потом расчувствовалась всеобщим восхищением и устыдилась своей стервозности.

У моей знакомой А. в прошлом году тоже был маскарад. Тянули жребий, кто кем будет, и держали язык за зубами, чтоб сюрприз.

А. повезло — вытащила Лисичку.

Собрались — кто Лисичка, кто Альберт Эйнштейн, кто Электрическая Лампочка. Ждут генерального, гадают, кто он — пират, монах, а то, может, отечественный изобретатель электрической лампочки Павел Николаевич Яблочков. Организаторы таинственно улыбаются, от разговора уходят.

Тут звонит генеральный, говорит, через пять минут прибудет.

Высыпали покурить на крыльцо. Подъезжает директорская ауди, выскакивает водитель, открывает дверцу. Из машины вылезает чудище поганое, в валенках, леопардовой шкуре из искусственного меха, кудлатом черном парике, в одной руке дубина, в другой свиной окорок, вроде бы копченый, и, сверкая голыми коленками, невозмутимо, с достоинством, мимо онемевших подчиненных, под стук падающих челюстей входит в ресторан.



Интеллигентнейший человек, между прочим, два высших образования, три языка в совершенстве, но кому-то надо и питекантропом быть.

Скоро нашего соседа-алкоголика выпустят из ЛТП. Он выйдет из узилища на свободу с чистой совестью и жгучим желанием как можно быстрее и эффективнее наверстать упущенное за год.

В связи с ожидаемым — хочу обратиться к Деду Морозу.

Я давным-давно ничего у него не просила. С тех пор как брат открыл мне глаза на суровую реальность, в которой нет места говорящим зверюшкам.

Уважаемый Дед Мороз! Нельзя ли нашего соседа поменять? На кого угодно, хоть на питекантропа. Этим ты осчастливишь кучу народа. Одним махом — семерых убивахом.

Мы не будем через день вызывать милицию, отвлекая ее от поимки ужасных злодеев. На нашу лестничную площадку можно будет подняться без противогаза и без жестокого насморка.

И еще.

Один мальчик года в четыре ужасно расстроился, узнав, что на земле не осталось живых питекантропов. Ни одного. Нигде. Вообще нет. Мальчик считал, что эволюция поступила нечестно — взяла и вычеркнула. Сейчас этот мальчик почти взрослый, но детские мечты хоть и с опозданием, но должны сбываться.

С наилучшими пожеланиями, мама того самого мальчика, который всегда оставял тебе под елкой конфеты.

О спасении диких домашних животных

Иду себе утром, птички поют, солнышко светит, пожилая дама стоит под деревом и рыдает так, будто только что своими глазами узрела геенну огненную. Спрашиваю, что стряслось, — она, вся во всхлипах, только тычет пальцем куда-то вверх. Задираю голову и вижу на тонкой ветке, в метрах трех от земли, серого кота, индифферентно озирающего окрестности.

— Третий час не слезает. Я и рыбку красную приносила, и зову-зову: «Джерри, сыночек, иди к мамочке!»

Кот без интереса глянул вниз и разве что не сплюнул.

— Давайте, — говорю, — я пожарным позвоню.

Звоню: так, мол, и так, кот боится с дерева слезть... может, снимете?

— И давно сидит? — интересуются в телефоне.

— Третий час.

— Жрать захочет — слезет.

— Да не слезает. Уже и рыбку красную приносили — не хочет.

— Ну так киньте в него чем-нибудь.

— Чем кинуть-то? Кирпичом? Чтоб уж наверняка.

— Вы мне тут не хулиганьте, — строго осадил меня телефонный голос. — До вечера сам слезет. Делать нам больше нечего, только котов зажавшихся снимать.

Дама зарыдала еще громче.

Смотрю, идет молодой человек лет двадцати, головой в такт плееру кивает. Вот что бы вы сделали, если бы к вам на улице подлетела незнакомая тетка с вопросом: «Молодой человек, вы по деревьям лазить умеете?» Реакция может быть: минимум — покрутить пальцем у виска, максимум — вызвать скорую.

Но, как выяснилось, наша молодежь куда толерантнее.

— Куда лезть надо? — спросил он.

В общем, кот был спихнут с ветки, с дикими воплями попытался дать деру, но был схвачен, иммобилизован и вручен даме.

Может, она его красной рыбой перекормила?



О мужьях и их продолжительности

У одной женщины в прихожей жил шкаф-купе, из которого внезапно, без объявления войны выпала дверь; хорошо — не на голову.

Женщина попыталась решить проблему своими руками. Почти получилось, но в этот раз вероломная дверь действовала прицельнее: на лбу шишка, голова гудит, полка с коллекцией вазочек снесена, дверь самодовольно разлеглась поперек коридора, и очень хочется повеситься.

Но женщина не искала легких путей, а потому нашла в Интернете *Мужа на час* и позвонила ему, поведав о коварстве предметов домашнего обихода. Муж на час попел в трубку и поинтересовался, чем он может быть полезен.

— Как чем?! — удивилась женщина. — Ремонт! Пишите адрес.

Муж на час тяжело вздохнул, но адрес записал.

В полшестого на пороге появился небритый амбал и хмуро спросил:

— Что чинить?

Хозяйка обрадовалась:

— Вы только по сантехнике? По всему? Замечательно! Бачок в туалете течет, кран на кухне плюется как бешеный, розетка искрит, и лампочка перегорела: я пробовала выкрутить — не выкручивается! У вас и дрель есть? А можно еще зеркало повесить? Можно, да? Ой, как мне с вами повезло!

Амбал взглядом дал понять, что предпочел бы обойтись без этого везения. Но все же укротил бачок с краном, поменял лампочку, починил розетку, повесил зеркало, заодно передвинул комод и потом спросил:

— А дверь где?

— Уже уходите? Спасибо, огромное вам спасибо! — сказала хозяйка. — Наконец-то наш ЖЭС работать начал. Сколько я вам должна?

— При чем тут ЖЭС? Где дверь, что из шкафа-купе выпала? Сами ж просили.

— Я просила? У меня вообще нет такого шкафа. Ой, вы точно из ЖЭСа? Не подходите! Я кричать буду! Вы что, маньяк?!

— А кто ж еще? Мы, маньяки, любим маньячить, когда вокруг ничего не искрит, иначе никакого удовольствия. Девушка, не устраивайте цирк. Звонит неизвестно кто, требует непонятно чего; я, как дурак последний, думаю, женщина одинокая, помочь некому, ладно, тут рядом, через дом, чего уж там... а вы мне про маньяков! Я инженер, а не маньяк по вызову! Делай после этого добро!

— Ой, — сказала рыжая хозяйка и смешно сморщила веснушчатый носик. — Честное слово, я никуда не звонила, клянусь! Может, адрес перепутали? Так у вас тут дом номер 68 записан, а не мой, 168! Извините, так неудобно получилось! А давайте я вас ужином накормлю! Надо же мне как-то реабилитироваться. Или вы и в шестьдесят восьмой пойдете?

Амбал помолчал, еще раз глянул на хозяйку, принял и сказал:

— Не будем превращать благотворительность в рутину. А на ужин та самая курица, что догорает в кухне?

А женщина из шестидесят восьмого дома, устав перепрыгивать через дверь, снова позвонила Мужу на час. С насущным вопросом: «Где ваша совесть?»

— Я вас первый раз слышу, откуда мне знать, куда звонили, я-то нормальный — и со слухом нормально, и с головой! Будете дальше орать или записать вас? На субботу, на следующую. Вот что, заведи себе мужа и указывай ему, что и когда делать, скандалистка! — и бросил трубку, негодяй.

Женщина в сердцах пнула дверь и расплакалась.

И плакала долго.

А поздним вечером позвонила бывшему мужу, который предполагался на всю жизнь, а сложилось так, что по сравнению с жизнью — всего на час. Сквозь всхлипы несвязно рассказала про дверь. И про то, что он ей сто лет не нужен, жила без него и дальше проживет. И о том, что ей одной совсем плохо. И дверь тут ни при чем. Абсолютно ни при чем.



Через год, в августе, выходя из загса, женщина шепнула бывшему мужу:

— Видишь вон ту пару? Мужик здоровый и девица рыженькая, видишь? Это наш директор. Завтра девчонкам расскажу: все, поздно, женился, прохлопали парня!

О прикладной офтальмологии

Я заказала себе новые очки. Для старых у меня слишком короткие руки. Или монитор надо отодвинуть на полметра, что невозможно — стол кончается раньше, через двадцать сантиметров. Посему с утра я сижу в очках, с лукавым ленинским прищуром. Потом худо-бедно распогоживается, но с утра печально.

В одной витрине были оправы дешевенькие, но такие... как бы это сказать... своеобразные. Вот одна девушка как-то интересовалась: что делать, чтобы не приставляли на улице с неприличными предложениями. Девушка, я вам подробно напишу, как добраться до этой оптики.

В другой витрине дела обстояли получше. И тоже недорого. Сначала недорого, поскольку я не сразу заметила, что цифр на ценнике на одну больше.

Интересен вопрос ценообразования для двух кусочков пластмассы и пары проволочек. Почему столько цифр? Просто хочется выяснить, почему столько цифр. Just to know, как пишет мой заокеанский коллега, just to know, пишет он, желая знать, почему я не сделала вчера то, о чем он мне сообщит завтра. Даже самым закоренелым буржуйам не чужда жажда познания.

— Немецкая оправка — это бюджетно! — с заученным энтузиазмом отозвалась оптическая девица.

Похоже, бюджетные оправы делаются вручную трудолюбивыми шварцвальдскими гномами из собственноручно добытой и выплавленной руды, штучная работа, ограниченный тираж, бюджет небольшого африканского государства.

Девица не угомонилась, отгеснила меня к третьей витрине и вытащила оттуда такое фаберже. Чем-то усыпанное. Я решила сохранить душевное спокойствие и не смотреть на ценник.

— Вот, — сказала девица с придыханием, — это Сваровски! У нас такие скидки, а я вам еще сброшу — почти даром, почти как бриллианты!

И озвучила численно.

Временами торговля рассматривает мою платежеспособность в сильное увеличительное стекло.

Девица нацепила на меня очки и замерла в немом восхищении.

— Девушка, — сказала я, — вы читали Ремарка?

— Зачем? — удивилась девица, недовольная отступлением от основной темы.

— Если не ошибаюсь, у Ремарка говорилось, что бриллианты хороши на старухах. Кости, морщины, седина и бриллианты — стильно. Но мне рановато.

По взгляду девицы я поняла, что ошибалась, ничего не рановато — самое то. Но я устояла. И смогла отбиться от каких-то невероятных линз — судя по цене, они давали возможность отчетливо видеть не только этот, но и потусторонний мир.

Короче говоря, мне удалось уйти оттуда с очками, стоимость которых не требовала отдать квартиру в залог. И я в этих очках приблизительно красавица.

Р. S. Нынче утром я в новых очках подошла показаться нашему сому Гадюкину.

Гадюкин рассмотрел и, шаркнувшись в сторону, как испуганная водоплавающая лошадь, почти выплыл за пределы аквариума.

У нас с ним разное понимание красоты.

О полковнике Н.

Когда я работала в Очень Секретном Институте, случилось мне побывать на нескольких совещаниях, проводимых полковником Н. По рангу своему я там никак находиться не могла, но мое начальство справедливо решило, что громы и молнии лучше пережить в безопасном месте, посему благополучно пребывало в нетях.



Вперед пустили женщин и детей, и только за ними, пригнувшись и стараясь не шуметь, осторожно пробиралась пехота.

Это я к чему. Нашла старый блокнот, в котором записывала перлы полковника. Колорит в чистом виде.

— Я знаю, где зарыта собака, кто ее туда зарыл и на кого мы ее повесим...

— Вы, девушка, напрасно зеваете. Приглядитесь к этим суровым мужчинам — где еще вы найдете столько бездельников...

— Не ешьте меня глазами. Я мужчина крупный — вы подавитесь...

— Срок когда — конец мая? Отлично, с первого мая буду являться вам в ночных кошмарах. Да что мелочиться — я вам и дневные кошмары гарантирую...

— А что вы краснеете? От злости? Напрасно, от злости положено краснеть мне. Вам по чину и по вашим деяниям уместно только от стыда краснеть...

— Ваши увертки и ужимки уместны на собрании прогоревшей артели лудильщиков...

— Встаньте и честно скажите: «Да, я забыл об обороноспособности страны». Девушка, заткните уши, я сейчас объясню, о чем на самом деле думал майор В., делая вид, что думает об обороноспособности...

— Не смотрите на меня жалостно, как сирая убогая вдовица. Вам на пропитание ни на одной паперти не подадут...

— В отношении вас презумпция невиновности должна быть отменена законодательно...

— А сейчас я хотел бы послушать конструктора вот этой... этой... не могу найти приличного слова. А сами-то вы как это устройство называете?..

— Вот сидит тут милая девушка, глядит на вас с ужасом и думает: «Нет, никогда замуж не пойду!» Вы понимаете, что своим конструированием можете ей жизнь поломать? Она перестанет верить в мужчин как в господствующую часть человечества...

— Ваш прибор — как моряк: красивый сам собою. А надо, чтоб он еще и работал...

— Вы притягиваете неприятности. Эпицентр ядерного взрыва будет гоняться за вами...

— Как красиво вы изображаете скорбь. По премии скорбите?..

— И заметьте, это я еще слова выбирал, а вы уже зашевелились. А сейчас мы девушку отпустим и поговорим по душам...

— А ведь я мог быть как моя мама — филологом. А с вами остатки филологии теряю.

О службах быстрого реагирования

Три девушки — Красавица, Симпатичная и Таксебе — собрались вместе встретить новый, 2007 год. Наготовить калорийного и холестеринавого, сказать «прощай, талия!» — и встретить.

Накануне Красавицу бросил эффективный менеджер. Думал, она секретарша на кафедре. И предстоящая защита диссертации «Некоторые следствия из теоремы Рисса об общем виде линейного ограниченного функционала в гильбертовом пространстве» повергла его в недоумение и ужас. Отреагировал он так:

— Ты че? Совсем дура?!

И растворился в бизнес-пространстве, в котором ему было привычнее, чем в гильбертовом.

А мама Витеньки сказала сыночку:

— Эта Янина твоя возится с отстающими, ты же умный мальчик, подумай, какие у нее будут дети — уроды и дебилы, дебилы и уроды!

И умный Витенька удалился искать объект, достойный Витенькиных первосортных генов.



Что касается Таксебе, то ее и бросать было некому. На улице с ней не знакомилась, дома — выкройки, заказчицы, примерки. Разве что перейти на пошив мужских костюмов.

— Зато мою статью знаете, кто заметил!.. — сказала Красавица, разделявая карпа. — Это как если бы тебя, Любаша, похвалил какой-нибудь дольчегабана, а Янку выбрали в макаренки.

— Зато у меня Илюша с Сонечкой заговорили! — сказала Симпатичная, запихивая гуся в духовку.

— Зато я Галине Марковне, соседке, такой костюм сшила, сказка, а не костюм, ее голландский старичок прям обомлел, предложение сделал, — сказала Таксебе, взбивая белки для торта.

— Пенсионерки — и то устраиваются, — желчно заметила Красавица, а Симпатичная и Таксебе дружно вздохнули, согласившись, что на свете счастья нет, да и с покоем не складывается.

В 23:05 сели за стол.

В 23:20 приехала бригада скорой помощи. Красавица, Симпатичная и Таксебе клялись, что не вызывали, доктор грозил штрафом за ложный вызов, а сам все косился на Симпатичную и салатки.

В 23:45 снова настойчиво позвонили. Три милиционера с автоматами. Снова клялись. Капитан орал на тему «у людей праздник, там уже грабят, а вы тут развлекаетесь». Потом глянул на Красавицу, на румяного гуся, снова на Красавицу... и строго сказал:

— Больше так не делайте! Нехорошо!

— Кто еще не охвачен — газовщики и пожарники? — задумчиво спросила Красавица. — Ничего себе праздник получился. Руки бы шутнику поотрывать!

В 00:15 Симпатичная выглянула в окно, побледнела и медленно обернулась к Таксебе и Красавице:

— Девочки, вы будете смеяться, к нам опять гости! Гасите свет, никому не открываем!

Дверь вышибли в 00:19. Главный пожарник гаркнул:

— Мы звонили! Кто хозяин?!

Таксебе сказала:

— Я хозяйка. Мы никого не вызывали, честное слово! Может, вы тортка хотите? Или гуся? Карп еще есть... — и заплакала. И стояла растрепанная, перепуганная, с мокрыми блестящими глазами, в дивном платье, сшитом из неземной красоты шелка, что привезла ей в знак благодарности Галина Марковна, соседка. Такая хорошенькая, милая и растерянная, что главный пожарник замолчал, а потом буркнул:

— Слесаря завтра вызовите.

Дверь кое-как прислонили, для надежности подперли комодом.

— Девочки, — всхлипнула Таксебе, — представляете, какой у нас год будет, раз мы его так встретили?

Красавица и Симпатичная зарыдали в унисон. И плакали до половины пятого утра. С перерывами на заливание горя. Гусь с карпом и тортком остались нетронутыми.

В начале второго Симпатичная с трудом оторвала неподъемную голову от подушки и прислушалась. В прихожей явно кто-то был. Она растолкала Таксебе и Красавицу и страшным шепотом сообщила:

— Там воры! Квартиру обносят! Черт, и милицию не вызовешь, не поверят! Не робей, отобьемся!

Симпатичная схватила портновские ножницы, Красавица вазу, а Таксебе — тяжелую настольную лампу.

— Ну, на раз-два-три... Раз-два-три!

И с диким визгом они выскочили в прихожую, насмерть перепугав пожарника, доктора и капитана. Капитан аж молоток выронил на ногу доктора.

Отдышавшись, доктор сказал:



— Девушки, вы кого угодно в гроб вгоните! Какой слесарь первого января, они все в лежку. С дежурства ехал, — дай, думаю, помогу. Зашел, вы спите, ну я и начал потихоньку. А тут и мужики подтянулись, — говорят, знакомые ваши. Минут десять, все готово будет. Кстати, а что там с гусями и карпами?

И до сих пор Красавица, Симпатичная и Хорошенькая не знают, что счастьем своим обязаны хулигану Егору из сорок шестой квартиры. Хулиганские папа с мамой поехали поздравить дедушек с бабушками, строго-настрого наказав сидеть дома и на улицу носа не высовывать. Он практически и не высовывал. Разве что сбегал три раза на улицу, к телефону-автомату. Не со своего ж мобильного звонить, чтоб отомстить этой мымре с пятого этажа, которая наябедничала родителям про подоженный почтовый ящик.

О зубном-айболитном

Звонила приятельница, советовалась, как избавиться от мужа.

Лет двадцать назад у него уже болел зуб. Но прошел. И сейчас обязан, сволочь такая, пройти.

За неделю непрохождения у приятельницы зародилась мысль о разводе, которая вот-вот вытеснится мыслью об убийстве, как единственным и к тому же гуманном решении проблемы.

Любопытствовала, что делать с мужчиной отважной профессии, с одним ножевым и двумя пулевыми ранениями в анамнезе, в центнер весом и под два метра ростом, бурно страдающим сутки напролет, вызывающим всем своим видом к непрерывному сочувствию, но с гневом это сочувствие отвергающим, доведшим семью до нервного тика и напроочь отказывающимся идти к зубному. Потому как он знает, на что способны злые садисты, ему порассказали: мало кто из порассказавших вырвался из цепких лап без потерь.

Посоветовала ей обездвигить твердым тупым предметом по голове, быстро связать и вызвать грузчиков, дабы доставить сто кэгэ экзистенциального ужаса по назначению.

Приятельница сказала, еще день — она именно так и поступит. Если раньше сама не обездвигнется через повешение.

Мы в полной мере испробовали инквизиторскую стоматологию времен застоя, и ввевшийся в нас страх телепатически передается в окружающее пространство. По-другому объяснить поведение человека, который ни разу в жизни не слышал воя бормашины, невозможно.

Давным-давно мне светила командировка в Москву, подписать техзадание. За день до отъезда до меня дотянулся проклятый кариес, проявился крохотной дырочкой, вернее, намеком на дырочку. И я, идиотка, решила отбыть в столицу в отремонтированном виде: встать в пять утра, прискакать в поликлинику к шести, выстоять полтора часа в нервной очереди и таки ухватить заветный талончик.

Пышная докторша, вся в удушающем «пуазоне» (были такие ядреные французские духи, с ноткой мертвечины), оказалась чемпионкой мира по скоростному пломбированию. От посадки в кресло и до вставания из него прошло минуты четыре, не больше. Если б я не успела открыть рот, она бы сверлила сквозь щеку. Пломба, не будь дура, тоже устремилась к рекордам — выпала на выходе из поликлиники. Вернуться с рекламацией возможности не представлялось — перед кабинетом толклись озверевшие страдальцы, готовые тут же, на месте линчевать любого, кто «я только спросить».

Пришлось ехать с развороченным зубом. У которого к вечеру испортилось настроение — и он начал подергивать. А затем дергать. Со всей дури.

Ночь я провела, метаясь по вагону и дымя в тамбуре как паровоз. Не отвлекло.

В Москве первым делом рванула в аптеку закупаться анальгином. Две таблетки превращали раскаленный гвоздь в нижней челюсти в просто гвоздь. Минут на сорок.



Есть не могла, только остороженько пить.

Командировку выписали на три дня, но я понимала — не доживу. Потому тайфуном пронеслась по министерству и представительству заказчика. Отказать девице, в глазах которой горел угрюмый, тусклый огонь желаний кого-нибудь убить, было невозможно.

По-стахановски выполнила трехдневную норму за день и рванула на вокзал. Билетов на ближайший поезд не было, так что поймала какого-то полковника и отконвоировала в военную кассу, там у них всегда имелась полковничья и выше бронь.

Получив билет на руки, отбилась от полковника, твердившего «какое у вас одухотворенное лицо» и про то, что нынче подобное одухотворение в дефиците. И поехала домой.

Рацион прошедших суток состоял из неспанья, нескольких пачек сигарет, упаковки анальгина и литра воды.

Попутчики — двое дядек, кстати, тоже полковников, и пожилая дама, наверняка полковничиха, — пытались накормить меня курицей, котлетами, еще чем-то — весь столлик в снеди.

Сослалась на полыхающий зуб, тогда дядька постарше заявил:

— Я тебе водки налью, ты сразу не глотай, поддержи, это чистая анестезия!

И налил.

И подержала.

И за Можайском надолго свалилась в обморок.

Наши люди отзывчивы. Когда пришла в себя, надо мной кудахтали полковники, полковничиха, проводницы, начальник поезда и штук пять набежавших врачей. По крайней мере, они себя обозначили врачами.

Начальник спросил у врачей:

— Уверены, что живой доедет? Или вызвать скорую к переезду?

Врачи как-то нехорошо переглянулись. Я и сама уверенности не чувствовала, но быть выкинутой на полустанке не хотелось.

Остаток ночи провела, окруженная заботой. Полковники бегали за сладким чаем. Полковничиха размешивала сахар в стакане и норовила поить с ложечки. Самый симпатичный врач веселил случаями из практики. В основном, с летальным исходом. Заглядывал начальник поезда. Убедиться, что я еще с этой стороны туннеля. Им, наверно, не рекомендовалось перевозить трупы.

Больше всего хотелось броситься под поезд.

Прямо с вокзала я рванула в ближайшую поликлинику. Лицо оставалось настолько одухотворенным, что тетя-регистраторша за руку отвела меня в кабинет. Минуя очередь. А добрый доктор отвел на рентген. И потом к другой докторше. А добрая докторша глянула на снимок и вздохнула:

— Боже мой, ну и корни, кривые, как моя жизнь!

И долго лечила, приговаривая:

— Что ж ты, милая моя, так запустила? Как только что, сразу же к врачу надо, сразу же, безотлагательно!

О воспитанности

Моя знакомая, у которой в семействе умный муж Дима и умный пес Аркан, недавно постриглась и перекрасилась. И то и другое на редкость неудачно. Пришла домой в слезах, в надежде на утешение. Умный муж Дима открыл дверь, содрогнулся, но смог произнести:

— А и ничего! Тебе даже это идет. Тебе все идет!

— И я почти поверила! Практически поверила. И тут из кухни выходит Арканчик, глянул, сел так растерянно и завыл, представляешь?! Завыл! Все-таки у Димочки куда больше такта!



О маленьком городе

По воскресеньям к бабушке приходили подруги. Прямая как столб Фаина Павловна и одышливая старуха Окунь с нарисованными бровями.

Фаина Павловна приносила хворост, старуха Окунь — печенье с корицей. От бабушки — варенье и кусковой сахар, который полагалось колоть щипчиками.

По летнему времени чаевничали в саду, у кустов сирени.

За забором, на своем огороде незамедлительно обнаруживалась соседка Кравчиха, вся — одно большое любопытное ухо. Кравчиху за стол не звали, а без свежих новостей — что за жизнь.

— Иду мимо этих, что на углу, носом потянула, чую — она в котлеты чесноку насовала; у мужа печень, желудок, почки насквозь больные, насквозь, а она — чеснок в котлеты! Видит бог, со свету сжить хочет... Дуняша, еще чашку, — говорит старуха Окунь.

— Райка-продавщица замуж собралась, за инженера. Как думаете, инженер знает, что у нее половины зубов нету? Вишневого не надо, не люблю, крыжовникового положи, — говорит Фаина Павловна.

— У Симановичей простыни покрали. Ума не приложу, кто на их рванье позарился, — сообщает старуха Окунь.

— До ночи уснуть не могла, — жалуется Фаина Павловна. — Чертковы гуляли. С песнями. За свет два месяца не плочено, а на гулянку завсегда найдется.

— Стеша! Тебе все слышно? — окликает бабушка Кравчиху.

— Кто вас, балабол, слушает, я тут поля, заросло все, нужны вы мне, пусто-мели! — пыхает благородным негодованием Кравчиха.

— Ну да, полет, прополет, выполоть не может, — ехидничает старуха Окунь.

— Гряды в сурепке, глянуть стыдно, а она битый час траву под забором дергает. Несерьезная женщина! — припечатывает Фаина Павловна.

— Вся семья такая, пустячная, — резюмирует старуха Окунь.

В маленьком городе каждый взвешен и оценен, грехи предков тяжким грузом висят на потомках до седьмого колена. Кравчихе нет-нет да и припомнят двоюродного деда, укравшего козу у тех Жихов, что в синем доме за рынком, и после разоблачения бежавшего от неминуемого позора аж в Америку. Кравчиха привычно отбрехивается, выдвигая шаткую версию о добровольном уходе козы.

У маленького города с тремя тысячами населения агенты по всему миру.

Проходит лет сто, ты в Ташкенте на Алайском базаре выбираешь дыню, и прямо над ухом:

— У этого не бери, вчера взяла — тьфу, а не дыня! А это с тобой кто? Делает вид, что сюда не смотрит. А родители знают?!

Доведись мне полететь на Марс, не сомневаюсь — сразу же после посадки явится мне ниоткуда аптекарша Роза Сулеймановна или повариха Хотимская, или возчик Иван по фамилии Коник, отряхнет со скафандра красноватую пыль, глянет пытливым и спросит:

— А ты что тут делаешь? А это кто в сторону смотрит? А мама знает?

В августе небо над маленьким городом выгорает до блекло-голубого. За прудом, за Кравчихиным сараем, за магазином с конфетами, еще дальше — за парком — стоят облака. Как горы на картинках в тетушкиной книжке.

В четыре года я решила, что на самом деле горы. С ущельями, крутыми тропинками, скачущими по скалам всякими там архарами и муффонами, гнездами орлов, со всем, чему положено быть в настоящих горах. И, в общем-то, недалеко, рукой подать. И отправилась туда, к орлам, козлам и вершинам. По улице, мимо магазина, через парк.

Дед поймал меня уже за речкой. Отругали, в угол поставили, до сих пор помню белое лицо деда, бегущую навстречу растрепанную бабушку и то, что в углу стоять скучно. И сожаление с обидой вперемежку: оставалось-то всего ничего, я бы дошла.

Я снов не помню, а тут приснилось и запомнилось. Не видеоряд, а чувство — обида. Та, давняя — что ж так рано остановили, еще б чуть-чуть. Я бы дошла.



О домашних питомцах и нелюбимцах

Давеча приятельница Ю. со слезой в голосе спросила, люблю ли я животных.

Я поспешно открестилась от любви. Ю. обвинила меня в черствости и поинтересовалась, не затесались ли по неосторожности в мой круг общения приличные люди, тоскующие по забавным пушистым зверюшкам. Она сама доставит им весь комплект (очаровательная морская свинка, клетка, запас корма, бонусом бутылка сухого мартина). Прямо к порогу, в любое время дня и ночи.

Вопросы оказались следствием новогоднего визита свекрови Ирины Генриховны.

Нежно любимая свекровь заявила, что детки не должны развиваться в отрыве от живой природы: там, где отрыв, из деток вырастают футболисты сборной и чикатилы, родителям на улицу выйти стыдно; странно, что непутевая деткина мать этого не понимает, хотя чему удивляться. И вручила подарок, добавив, что выбрала самую симпатичную девочку. Настоятельно советовала докупить мальчика, чтоб девочка не скучала. У скучной морской свинки тяжело на сердце, у нее тускнеет мех и крошатся зубы.

Тут замечу, что одна детка заканчивает военное училище, вторая школу, а в доме проживают человекообразная по духу собака Монстра, три кога и один попугай.

Ю. говорит:

— Все бы ничего, но как гляну — вылитая Ирина Генриховна, одно лицо! Когда ест, вот так же носом — дерг, дерг! Непосильные для моего возраста психологические нагрузки, на сердце камень, мех потускнел, зубы на очереди.

Ладно — свинка...

* * *

Один молодой человек, Дмитрий, в детстве был осознанным хулиганом, проклятием школы и окрестностей. Когда ему вручали аттестат, математичка Любовь Петровна всплакнула от счастья расставания.

Потом Дмитрий вырос, отслужил, стал дальнобойщиком, накачал кучу мускулов по всему телу и занялся суицидно-направленными видами спорта — парашют, сплав по горным рекам, непроходимое восточное единоборство, правилами которого разрешено все, кроме откусывания голов.

Друзья долго думали, что бы такого экстремального подарить ему на день рождения. И пришли с террариумом и гондурасской молочной змеей Глафирой.

Дмитрий малость опешил, но красная, с поперечными черными полосочками, Глафира так трогательно выглядывала из-под коряги, что сердце его растаяло.

За полгода Глафира превратила личную жизнь Дмитрия в руины. Девушка Лика напугала Глафиру и соседей своим визгом и, отвизжав положенное, крикнула:

— Или я, или она!

Девушка Инга визжать не стала, пригляделась к Глафире и сказала:

— Вау, какая кожа! Супер! Как думаешь, одной змеюки на портмоне хватит?

Девушка Оля пыталась накормить Глафиру сыром дор блю.

В июле Глафира заскучала. Доктор-герпетолог не утешил.

— Ей лет двенадцать, солидный возраст, что ж делать, все там будем.

Через неделю Дмитрий отыскал на антресолях бабушкину деревянную шкатулку, уложил в нее скончавшуюся Глафиру и повез хоронить за город. В электричке напротив него села какая-то очкастая дылда. Дмитрий узнал в дылде отличницу Митрофанову, ябеду и задаваку. Дылда с содроганием признала в амбале со шкатулкой Дмитрия, придурка и приставалу.

Но годы, подходящие для дергания за косички, подножек и прицельных ударов портфелем по голове, канули безвозвратно. Пришлось разговаривать. И разговорились. И Дмитрий не называл Митрофанову заучкой и глистой сушеной, а делился

своим горем. И Митрофанова не сверкала презрительно очками, а заглянула в шка- тулку и сказала:

— Бедная! Не люблю змей, боюсь их, но эта такая беззащитная. Я на дачу еду; хочешь, за малиной похороним, там хорошее место, за малиной.

— Слышь, Митрофанова. Ты прости, что я такой дурак был.

— И ты извини, что я такой душой была.

И они вышли на станции Койданово вместе.

* * *

А у одной женщины в квартире жил одомашненный муж по фамилии Волков. Сколько она его не кормила, все равно в сторону посматривал.

И однажды, сентябрьским вечером Волков глянул в окно, за которым висела круглая холодная луна, потом на жену, взвыл и ушел к лесоводу Анне Т.

Об одних людях

Один мужчина страстно любил рыбачить. А также был не прочь жениться. Но страсть плохо монтировалась с желаниями. Ибо у женщин странные убеждения. Они знают, что по выходным муж должен сидеть дома, а не торчать под плакучими ивами, мысленно уговаривая рыбу подплыть поближе. Опять-таки, редкие женщины способны принять тот факт, что хорошая удочка стоит дороже хороших сапог и что без сапог обойтись можно, а без хорошей удочки — хоть в петлю.

Однажды мужчина отправился на рыбалку, прибыл еще затемно и с неудовольствием отметил, что в метрах десяти от его законного места угнезвился конкурент.

Подошел разобраться с нарушителем конвенции, но вместо небритого мужика обнаружил симпатичную рыжую дамочку средних лет. Обсудили блеснение шуки, ловлю плотвы на мормышку, прикормку для карася и обнаружили полное совпадение взглядов по всем вопросам.

И тут рассвело, и по бледному небу поплыли кудрявые облака, и что-то весело застрекотало в траве, и, казалось, сама природа приветствовала рождение Светлого Чувства.

Но зря старалась. Потому что у мужчины не клевало, а эта рыжая зараза как начала окуньков тягать, одного за другим, одного за другим!..

* * *

В детстве одна девочка была настолько застенчивой и стеснительной, что в шестом классе получила двойку по географии, потому как не смогла произнести неприлично звучащее слово Миссисипи. А потом выросла, закончила институт — и теперь, после десяти лет работы, считается лучшим специалистом в городе. Люди в очереди стоят, чтоб попасть на прием. А то, что проктолог Алла Алексеевна ужасная сквернословка, так это ничего, зато руки у нее золотые.

* * *

Один старичок, Петр Филипыч Б., всю жизнь проработал бухгалтером. Звезд с неба не хватал, но работником был исполнительным и надежным.

Вышел на пенсию, оглянулся на прожитое — и понял: скучно жил, без задора и огонька. И потихоньку придумал себе другую жизнь, в которой сначала лейтенант, а потом и майор Петр Филипыч Б. ловил крупнокалиберных мошенников, грабителей и душегубов, а криминалитет трепетал и пугал своих детей его именем.

Придумать-то придумал, а поделиться не с кем. Жена умерла, дети далеко. А потом повезло, летом в парке разговорился с молодым человеком, Александром. Тот слушал с открытым ртом, восхищался героическим прошлым нового знакомого. И вот уже два года раз в месяц приходит в гости с тортом и коньяком.



За два года Александр издал семь романов об отважном сыщике Артеме Анчарове, грозе уголовного мира. Но Петр Филипыч Б. об этом и не догадывается, поскольку по причине слабого зрения и маленькой пенсии книжек не покупает.

Об утреннем

Утро, 6:50.

— Здрасьте! Такой-то из Ярославля! Это отдел снабжения автозавода?

— Вы ошиблись номером.

6:52.

— Здрасьте! Такой-то из Ярославля! Это отдел снабжения автозавода?

— Вы снова ошиблись, это совсем другая организация.

6:54.

— Здрасьте! Такой-то из Ярославля! Это отдел снабжения автозавода?

— Проверьте, какой номер вы набираете. Это не автозавод.

6:56.

— Здрасьте! Такой-то из Ярославля! Это отдел снабжения автозавода?

— Послушайте, вы либо ошибаетесь при наборе, либо номер неверный.

— Так это не отдел снабжения? Девушка, лапочка, кисонька моя, сбегай за кем-нибудь из отдела снабжения!

— Не побегу, далековато, до них километров десять. Вы звоните по неправильному номеру.

7:02.

— Здрасьте!

— Здрасьте, господин такой-то из Ярославля!

— Наконец-то я вам дозвонился! Это отдел снабжения автозавода?

— Нет!!!

— Как нет?!

— Так нет!

— Хамка!!!

8:10.

Пока тихо. Но жду, жду.

О вежливости на дорогах и обочинах

Почти весна, снег тает; давеча на березе голосила неопознанная птица в перьях цвета загара, явно с юга.

Утром мимо остановки, впритирку к бордюру на страшной скорости промчался полоумный шумахер.

Все натаявшее взлетело вверх и вбок красивым веерным фонтаном. Основной удар пришелся на пожилую даму. Мне тоже малость досталось, но у меня пальто из разряда «никто не заплачет», а дама в дорогой светлой дубленке, в мгновение ока ставшей похожей на леопардовое манто.

Некий замызганный дядечка, на свое счастье стоявший за дамой, запричитал про уродов, а потом с благодарностью заявил:

— Женщина! Вы меня собою прикрыли!

Дама попыталась стряхнуть грязь с полы, безуспешно, потом глянула на дядечку и с царственным спокойствием произнесла:

— Семь утра, а я уже Александр Матросов.

О вежливости на дорогах и обочинах-2

Расскажу про Алю, бухгалтера ЖЭС, спокойную, воспитанную девушку с отсутствовавшей личной жизнью.

Все при ней, а не складывалось. Как если бы в большой набор «Лего» забыли вложить инструкцию по сборке.



И вот, позапрошлой весной, солнечным мартовским днем Аля отправляется на работу. В замшевых сапожках, новом белом пальто, на шее платочек Hermes, купленный за невозможные, несовместимые с бюджетом деньги, при макияже, прическе, с ощущением счастья, в предчувствии аханья коллег и завистливого хмыканья стервозной диспетчерши Кухарчук.

Аля останавливается у перехода, мимо пролетает какой-то мерзавец, и вся лужа — вся! — взлетает и приземляется на новое белое пальто, замшевые сапожки, платочек Hermes, макияж и прическу, махом смывая и ощущение, и предчувствие. Мгновенный скачок из плюса в минус. Усугубленный тем, что лужа была не только грязно-водяной, но и мазутной, фифти-фифти.

Аля осознала — зло должно быть наказуемо.

Теперь взгляд с другой стороны.

Михаил К., кандидат серьезных наук, докторская на подходе, молодой, подающий надежды и, что куда важнее, эти надежды оправдывающий, едет себе на работу, слушает Queen и размышляет о статье для Nature Physics, проскакивает светофор и буквально через метров двадцать упирается в пробку. Но, несмотря на пробку, все в жизни Михаила К. прекрасно, и весна, и солнце светит, и статья не абы куда, а в Nature Physics.

Тут происходит смена полярности, в Богемскую рапсодию врываются несвойственные ей визги и вопли, а перед ветровым стеклом беснуется донельзя замурзанное существо предположительно женского пола с горящими безумными глазами и колотит сумкой и кулаками по капоту.

Михаил К. сразу понял: выписали, недолечив, или сбежала. И без промедления позвонил в скорую и милицию.

Разобрались, конечно.

Санитары ржали, пожилой гаишник сказал:

— Можно и через суд, но давайте сами договоритесь. Ты, красавица, телефончик мой возьми: если теоретик химчистку не оплатит, звони, пойдем другим путем. Сколько, говоришь, платочек стоил? Сколько?! Совсем девки с ума посходили!

... При первом знакомстве будущая свекровь спросила:

— А как вы, Алиночка, с Мишей познакомились?

— Ой, Агата Вацлавовна, совершенно случайно! Он меня в психушку сдать хотел.

Агата Вацлавовна невестку любит. Но поглядывает.

На всякий случай.

О морях-океанах

Мне было года четыре, и тетушка взяла меня с собой на море, предварительно проведя большую воспитательную работу: пошла одна девочка купаться без разрешения, ну и где она теперь, эта девочка, в каких морских глубинах. Или вот один дяденька заплыл далеко, а тут на него напала судорога, и все — приплыли. Ну и так далее.

Мне начало казаться, что в море не протолкнуться от утопленников. И еще я поняла, что судорога — это чудище морское, подкарауливающее непослушных девочек и легкомысленных дяденек и утаскивающее их в пучину детишкам на прокорм, себе на забаву.

И больше никаких впечатлений. Как будто этого моря и не было.

* * *

Через много лет мы два дня плыли под проливным дождем, но наконец-то выплыли к морю. Пока вытаскивали байдарки, пока разбивали лагерь, пока искали относительно сухие ветки для костра — стемнело.

До моря было метров сто, не больше. Один товарищ сказал, мол, я тут такую дюну приметил, с нее, должно быть, классный вид, а давайте сходим. Те, кто поумнее — те остались. А мы пошли. В кромешной тьме смотреть на море. Под дождем.



Не знаю, как можно заблудиться на ста метрах, но у нас это получилось. Я мечтала, чтоб нас поймали пограничники и отконвоировали в кутузку, — или где они там держат диверсантов до выяснения. Туда, где сухо и светло. Потому как бог с ним, с морем — хотя бы лагерь найти.

В конце концов, после долгих блужданий, вымокшие до нитки, мы к морю вышли. Там был шторм. Светлая полоса песчаного берега и темная стена ревущей воды. Казалось, вода выше линии горизонта, и вот-вот хлынет на берег, смывая и унося с собой все, до чего дотянется.

И я вдруг узнала свой детский кошмар, страшный сон, обязательно прилагающийся к температуре, к тревоге, к ожиданию проблем и неприятностей. В темноте над горизонтом поднимается гигантская волна. И нет спасенья.

* * *

И еще лет десять прошло.

В первые дни штормило. Так. Слегка. Но мальчик смотрел с опаской. Мальчик был маленьким, а моря было слишком много. И горизонта много. Море недовольно порывивало, огрызалось, отмахивалось. Вело себя неласково, в стиле «только вас тут и не хватало».

А во вторник мы моря не узнали. Мальчик осторожно протянул руку и коснулся его. Море вздохнуло лениво и тихонько муркнуло. Как сытая кошка. И подставило спину, чтобы мой сын его погладил.

О мрачном

Я вижу земной рай так: слева в соседях тихая интеллигентная семья, справа незлобивая старушка. Сверху и снизу — аналогично. Тремя этажами выше молчаливая воспитанная собака средних размеров.

Изредка (подчеркиваю — изредка) доносится скрипичный ре-мажорный концерт Брамса. Справа вообще ничего не доносится, так, прошаркал кто-то тапками в коридоре. И только скрипка всплакнула нежно. Вдалеке.

И чтоб не просыпаться в первом часу ночи и на рассвете, когда наш трудолюбивый сосед-алкоголик возвращается с добычей. Иногда ползком. Но независимо от способа его передвижения пустые бутылки бодро и громко звякают, наводя на чело-веконенавистнические мысли.

— Он отчего пьет? Оттого что у него жизнь не задалась. Жалко человека, — вздыхает сердобольная тетка из четвертого подъезда.

Даже мне, бездушному мизантропу, знакомо чувство жалости. Я проникаюсь сочувствием и уже готова отдать соседу свою печень, но тут появляется запах, а следом сам сосед. Хочется предложить тетке поменяться квартирами, ей будет ближе жалеть.

Нет, нету рая на земле. Зато я знаю, кто выживет при запуске черновского коллайдера.

Слишком поздно прибывшие представители развитой инопланетной цивилизации с ужасом обнаружат черную дыру да парочку простейших бактерий, у которых хватило ума вовремя закапсулироваться и сбежать за горизонт событий.

Слезы покатятся по чешуйчатым щекам пришельцев, горестно взмахнут они одиннадцатью правыми щупальцами, прощаясь с погибшим разумом, но тут же возрадуются, ибо из-за этой самой черной дыры выплывет по синусоиде наш сосед, весело позвякивая спасенной пустой тарой.

Вот по нему и будет судить о нас Галактика.

Об обескураживающем

Десять лет не видишь человека, никаких известий; потом встречаешь — ах ты господи, совсем другой, не тот, не прежний, оболочку оставили, начинку поменяли, плюс на минус, минус на плюс, черное, белое, левое, правое — все не так, все иначе.



Приходится перерисовывать карты: там, где раньше холмы и речка между ними, теперь незнакомая недружелюбная земля, и впору, подражая средневековым картографам, закрасить ее неприятным желтым цветом и написать «hinc sunt leones», что означает «здесь львы, и лучше не соваться».

О Ковале, повелителе хомяков, властелине тигров

Коваль повел любовь всей своей двадцатилетней жизни Сычеву в зоопарк.

Недовольной Сычевой хотелось не в зоопарк, а туда, где море огней, где можно шуршать ресницами, мерцать глазами и смеяться чарующим смехом в присутствии ценителей вышеперечисленного, но из ковалевской финансовой ямы подходящие для мерцания и шуршания места не просматривались.

Объявление над кассой предлагало оплатить содержание любого животного, от хомяка до тигра, на срок от трех месяцев, имя мецената красивой вязью напишут на клетке.

— Когда-нибудь я возьму на содержание тигра, — сказал Коваль.

На этих его словах пар перегрелся, клапан вышибло, и Сычева визгом объяснила Ковало, что потратила на него, лоха, полсеместра, что выше хомяков ему ни в жисть не подняться, выхватила билеты, разодрала их на молекулы и выскочила на дорогу. Агрессивное голосование на мерседесе с хондами не подействовало: остановился реликтовый запорожец с древним дедом за рулем. Униженная запорожцем, Сычева обгавкала доброхота и поскакала на остановку.

Коваль постоял у кассы с раскрытым ртом, дурак дураком, наскреб мелочи еще на один билет и с горя пошел смотреть на хомяков и тигра. Хомяки красивым ковриком дрыхли в углу клетки, а нелюдимый тигр Раджеш скрывался в пещере.

Жизнь без Сычевой не имела смысла. Хотелось утопиться в пруду с лебедями. Или просочиться в вольер к тигру, пусть жрет. Или отпереть клетки, рассовать по карманам хомяков, положить руку на теплый тигриный загривок и уйти на край земли, и там, на краю, печалиться о невозможном.

Стемнело, в марте рано темнеет; зоопарк опустел, из пещеры осторожно вышел Раджеш, долго смотрел на Ковалья янтарными, медовыми глазами и лег по ту сторону решетки. И Коваль вдруг начал ему рассказывать. Про все.

И про то, что Сычева — не Моника Белуччи и не Лида Лунь из пятой группы, но любовь же.

И что как амеба выпускает псевдоподию и движется к пище, так и Сычева хочет двигаться туда, где теплее и удобнее. Но любовь.

И он, Коваль, знает, что потом будет и тепло, и удобно, а Сычевой надо сейчас. Но любовь.

Тигр вроде бы дремал, но как только Коваль останавливался, открывал глаза и подрыкивал, требовал продолжения. В девять вечера Ковалья обнаружил служитель, постоял, послушал:

— Надо же, ты первый, к кому этот ненавистник рода человеческого вышел. Слово заветное знаешь?

Когда Раджеша нужно осмотреть или сфотографировать, или телевидение приезжает, то звонят профессору Ковало, просят поспособствовать. Он и так пару раз в неделю приходит, ближе к вечеру, когда посетителей меньше.

Коваль возмужал и получил, даже уши торчат не столь вызывающе, а Раджеш постарел, но все равно красавец.

Профессорская зарплата побольше стипендии, однако на тигра не тянет. Но Коваль всегда приносит Раджешу вкусное и полезное, смотрители разрешают.

Коваль говорит, Раджеш слушает. Или Раджеш мурчит Ковало о своем, о тигрином. Или молчат оба. В хорошей компании помолчать приятно.

Жена Лида над мужниной дружбой посмеивается, но когда Раджеш заболел, через немецкую подругу, босса подруги, индийских партнеров босса — и бог весть, скольких еще людей в цепочке — достала правильные тигриные лекарства.



На темном небе висит лимонный ломтик Луны. Воздух чист и прозрачен. К ночи непременно подморозит.

Вот они идут неспешно — Коваль с хомяком Прожорой в кармане куртки, Лида, Мишенька и Раджеш.

Может, сон. Может, нет.

Об аддикции

Утром у мусорного бака сидел кот. Как-то расплывчато сидел.

Попытался дотянуться лапой до прогуливающегося в метрах пяти голубя, потерял равновесие, рухнул, с трудом собрал себя в кучку и заорал ругательное.

Левой передней лапой алкоголик придерживал пузырек от валерьянки. Хотела отобрать, но кто я такая, чтоб лишать его счастья. Да и не отдал бы.

Однажды к моей знакомой пришел жить кот Сальвадор. Наглая, прожорливая, неблагодарная скотина серой масти. В подъезде пять этажей, на каждом по три квартиры, но негодяй устроился перед дверью знакомой и вопил как недорезанный.

Его выкидывали во двор, через полчаса он таинственным образом просачивался обратно. Соседи сказали: Полина, вы интеллигентная женщина, от вас не ожидали — взять животное, потом выгнать. Не хотите его держать, пристройте, потому как мы котов очень любим, но уже не так сильно, как прежде; еще одна бессонная ночь — своими руками порешим.

Знакомая доказывала, что паразита она впервые увидела два дня назад и что с таким же успехом он мог орать и под соседской дверью.

Но орет-то он под вашей, резонно заметили соседи.

Знакомая с юности не могла уснуть без валерьянки. С вселением кота это стало проблемой. Он чуял кошачье экстази через две двери и три целлофановых пакета. Если бы валерьянку возили контрабандой, Сальвадор мог бы сделать карьеру на таможне.

Утром в доме чистота и порядок, вечером возвращаешься — штора в клочья, ваза в осколки, на диване содержимое мусорного ведра и пьяный в зюсю Сальвадор.

В прошлом марте он сиганул из окна на куст сирени под окном и не вернулся. Искала повсюду, объявления расклеила. В отчаянии крыльцо валерьянкой побрызгала — без толку. Выбрал свободу и волю. А может, одумался, лечится от валерьянозависимости.

О неотвратимости фатума

Алика всей семьей готовили в ростроповичи. Не без оснований. Способностей у Алика было хоть отбавляй, а усердие и трудолюбие насаждались бабушкой, мамой и незамужней тетей Валентиной.

Алик вырос и одним махом разбил три сердца.

— Мы столько в него вложили, все прахом, Наташа, все прахом! Как сказать бабушке?! — рыдала тетя Валентина.

Давеча прислала мне фотографию — Алик в форме, каске, с брандспойтом в руках. Косая сажень в плечах, два метра невозможной красоты в высоту. Брэд Питт и Том Круз тоже ничего, но рядом с Аликом им не светит.

Уверена, женщины стараются что-нибудь поджечь, чтоб на заполосный вопль «Горим! Помогите!» примчался Алик и вынес слегка растрепанную, трогательную в своем испуге пострадавшую на своих мужественных руках. А если приезжает другой пожарный расчет, без Алика, то через день-другой поджигают снова.

Тетя Валентина написала, что прошлым летом Алик женился на консерваторке с кафедры специального фортепиано. И добавила:

— Все-таки наше воспитание дало свои плоды!

О памяти

Когда-то меня попросили присмотреть за одной бабушкой. Недели две.

Продукты принести, забежать глянуть, все ли в порядке: человеку под девяносто, мало ли что.

Каждый визит проходил одинаково. Бабушка минут десять допытывалась из-за двери, не душегубы ли пожаловали. В конце концов впускала:

— Проходите, Таточка, рада вас видеть, садитесь, рассказывайте, как у вас на личном фронте!

И тут же переключалась на творог, который я ей принесла. Не тот.

— Нет-нет, вы напутали. Записано? Вы неверно записали. Неудивительно, у вас, молодых, голова другим занята. А я, слава господу, на память не жалею — и адрес помню, и год рождения. Кстати, Таточка, давно хотела вас спросить... расскажите, как у вас на личном фронте!

Вот сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что бабушке и правда грех было на память жаловаться.

Да и мне грех. И адрес свой помню, и как зовут. И год рождения.

Хотя вот его с удовольствием бы забыла.

О радостях продвинутого домоводства

В магазине бытовых приборов на меня напала продавец-консультант Кристина. Выскочила из-за холодильников и вцепилась мертвой хваткой. Внушала, что уважающая себя женщина не может обходиться без яйцеварки, маринвалки и какой-то хрени неведомого назначения.

Я пыталась отбиться, сказала, что не настолько себя уважаю, чтоб покупать яйцеварку. За эти слова продавец-консультант Кристина мысленно огрела меня неведомой хренью по голове. Но не отступила, угрожающим голосом сообщила о небывалых скидках на йогуртницы. Не найдя отклика, хищно сверкнула глазами и пропела энкомиию в честь говорящей стиральной машины. Думаю, в прошлой жизни Кристина была волкодавом.

Мне повезло, в магазин зашла состоятельного вида пара, и продавец-консультант почуяла более упитанный кошелек. Иначе фиг бы я вырвалась, ушла бы с яйцезрезкой или яйцеваркой. Сопровождаемая злорадным хихиканьем стиральной машины.

Есть женщины, коллекционирующие побрякушки. Или тряпки. Косметику. Мужчин, в конце концов. Любана теряет разум, завидя что-нибудь матово-блестящее, с кнопками. В ее большой-пребольшой кухне стоит большой-пребольшой шкаф, а в нем все, о чем грезит рекламная домохозяйка. На верхней полке гаджеты, инструкции к которым утеряны либо написаны нечеловеческим языком. Их смысл и предназначение туманны и непознаваемы.

— Беленькое такое, открывается, внутри выемочки — как думаешь, для чего? — спрашивает Любана. — А вот еще, на чайник похоже, но не чайник, точно не чайник!

Страсть Любани безответна. Приборы, попав в ее дом, ведут себя как саботажники и диверсанты. Над тостером надо стоять. Вернее, не над ним, это опасно, а сбоку, дабы успеть поймать. Тостер мечтает запустить ломтик хлеба на околоземную орбиту. Установив купленную за сумасшедшие деньги вытяжку, Любана узнала, что готовят соседи. Говорящая стиральная машина изъясняется тревожными лесными звуками. Оно бы и ничего, но кот сильно пугается, вплоть до неприятностей физиологического свойства.

Последнюю неделю Любана воюет со своим мужем. Она хочет купить видеодомфон. Муж упирается, жизненный опыт подсказывает ему, что любой проданный Любана девайс будет работать в обратную сторону. Что бы они там ни понаписали в инструкциях.



Мои знакомые искали помощницу по хозяйству. Позвонила дама, первым делом велела перечислить, что у них есть из бытовой техники. У них как у многих — стандартный набор с некоторыми вариациями. Дама выслушала и ядовито заметила:

— Вы бы еще утюгом предложили гладить!

И отсоединилась.

Знакомые в недоумении. А я догадываюсь. Эта дама наверняка родственница продавца-консультанта Кристины. Она не так низко себя ценит, чтобы идти работать в семью, где нет яйцеварки.

О птицах

По пути из пункта А. в пункт В. видела: двух лебедей, много-много аистов и одного орла. Лебеди плавали в маленькой заводи. Аисты стояли в гнездах. Если смотреть снизу и сбоку — как будто в облаках. Орел прогуливался по откосу у дороги, вид имел надменный, генерал-губернаторский, на проезжающие машины посматривал неодобрительно.

Лебеди украшали собою воду, аисты — деревья. Орел взлетел; стало понятно, зачем нужно небо.

Когда один мальчик был маленьким, мы с ним часто ходили в ботанический сад. Через дырку в ограде. Чтоб попасть туда законопослушно, нужно было проехать три остановки вперед и одну в сторону, а тут рукой подать.

Время от времени администрация запечатывала дыру непущательной тетей, но тете приходилось контролировать еще один лаз, в ста метрах, а телепортироваться она не умела.

В саду по озеру дефилировала лебедиха со своим пушистым выводком на спине. Среди потомства обязательно находился любопытный, с шилом в попе, не умеющий сидеть спокойно. Он по головам братьев-сестер пробирался поближе к маминой шее, хотел быть впередсмотрящим.

Мальчик переживал, не свалится ли в воду этот, отважный. И что делать, ежели плюхнется, — вдруг он плохо плавает.

А утки там были нахальные, как прикормленные нищие на паперти богатого храма. И прозорливые: сколько ни бросай им хлеба, все мало. Самые отпетые выбирались на берег и только что по карманам и сумкам не шарили. Одной понравились шнурки на моих кроссовках. Клювом распутала узел и пыталась утащить шнурок. Вместе со мной. Сообразив, что номер не удастся, гневно обкрякала нас и оскорбленно поковыляла прочь.

Мальчик топал за уткой и объяснял ей, что приставать к чужим шнуркам неприлично, но ежели бы у нас были лишние, мы бы непременно поделились. Мальчику хотелось гармонии. Чтобы рядом волк и ягненок, львы и зебры, утка и шнурки. И никаких посягательств на чужую жизнь и собственность.

Мальчик вырос, разговаривает басом. Осознает недостижимость гармонии. Делает вид, что не очень-то и хотелось. Вчера уснул за историей античной литературы. Где-то между Эпихармом и Аристофаном. Никак не привыкну к его почти-взрослости.

О старичках и старушках

Глеб Игнатъич — франт, педант и пижон. В нагрудном кармане пиджака платочек, ботинки начищены до блеска, складкой на брюках можно порезаться.

Но зрение не то и руки не те: случается, что складка идет вбок, платочек синий при зеленом галстуке и ботинки из разных пар, почти одинаковые, но из разных.

В хорошую погоду Глеб Игнатъич после завтрака выходит на прогулку. На каждый день недели свой маршрут. По пятницам так: прямо до гостиницы, через сквер, мимо школы, налево к спортивному клубу, снова налево до магазинчика «Гладиолус», а оттуда потихоньку домой.



В «Гладиолусе» низкие широкие подоконники, можно присесть передохнуть. Продавщицы — невзрачная Элина и пышная красавица Виктория — не прогоняют. Утром покупателей нет, пусть себе, никому не мешает. Привыкли уже.

Глеб Игнатич никогда не приходит с пустыми руками: карамелька, или печенье, аккуратно завернутые в салфетку; летом букетик — два одуванчика, ромашка; на праздники по открыточке. Дрожащим почерком. «Дорогая Эля, поздравляю с днем 8 Марта». «Дорогая Вика, поздравляю с Днем Победы. Желаю крепкого здоровья и счастья в личной жизни. Уважающий Вас». И подпись с завитушками.

— Какое счастье, где его искать?! — говорит Элина, глядя на открытку с розами.

— Как это какое? — удивляется Глеб Игнатич. — Семья. Почему вы замуж не выходите, Элечка?

— Не за кого! Вы на меня посмотрите, кому я нужна? — сердится Элина.

— Да что вы такое говорите, Элечка! У вас редкой красоты голос, за таким голосом на край света отправишься! А вы, Вика? Вас на руках носить должны, пылинки с вас сдувать, судьбу благодарить за то, что вы рядом!

— Ага — и носят, и сдувают. Дня два. А потом моя очередь, — вздыхает Виктория.

Весь июнь ливни и грозы, только к концу просветлело. В первую погожую пятницу Глеб Игнатич не появляется. И в следующую тоже.

В конце июля в магазинчик заходит старушка, Виктория вспоминает, что как-то Глеб Игнатич с этой бабкой здоровался, разговаривал. Сухонький такой, седой, с палочкой, не знаете?..

— Игнатич, что ли? Так insult у него, забрали в больницу, неделю промучился, да и отошел, земля ему пухом. Племянников набежало, квартиру делят, поделить не могут.

Вечером Элина садится в маршрутку, свободное место только рядом с водителем. На конечной собирается выходить, но водитель ее останавливает. У вас глаза красные, тушь вот тут, в уголке, потекла, случилось что? Нет? А скажите еще что-нибудь, голос у вас, ну как в книжках пишут — бархатный, век бы слушал, честно.

Тем же вечером Виктория полтора часа ждет обещавшего захватить за ней Славика. Славик лихо тормозит и кричит: давай уже, шевели клешнями, ну не позвонил, ну постояла, да скажи спасибо, что я вообще приехал, принцесса, ты ж понимаешь, чего уставилась, давай садись.

Виктория смотрит на Славика, говорит: да пошел ты, придурок, что я время свое на всяких идиотов трачу! Хлопает дверцей и уходит.

Потом помирились, конечно.

О витафилии

Сирень практически распустилась. Куст оккупировали ошалевшие от весны воробьи. Рядом с кустом пожилая дама и черный ротвейлер-переросток. На тонюсеньком поводке и без намордника.

Дама говорит:

— Он не кусается, идите, не бойтесь! Правда, Лапусик, ты не кусаешься? Он любит все живое!

Лапусик мрачным гастрономическим взглядом смотрит на воробьев. Потом гавкает так, что уши закладывает. Воробьи с лямантом порскают во все стороны, двое сталкиваются в воздухе, Лапусик с места взлетает на метр вверх и клацает челюстями в одном сантиметре от воробья и в двадцати от меня. Свежеинфарктный воробей улетает зигзагами в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Я бы тоже зигзагами, да ноги подкосились.

Дама говорит:

— Лапусик, зачем он тебе? Там же есть нечего!



О Демонаде

Я путешествовала с застарело нетрезвыми дембелями. Полвагона с пьяной слезой рассказывало мне про «не дождалась, зараза». Ощущение, что это была одна и та же зараза.

Я ехала с цыганским табором, под звон монист, плач детей и шуршанье юбок. Неделю потом непроизвольно трясла плечами, не к месту вскрикивая: «Ай-на-нэ, ромалы!»

Я шесть часов просидела рядом со старушкой, делившей яркими воспоминаниями о перенесенных операциях.

— Места на мне живого нету! Все порезано, все! — с гордостью восклицала старушка и под стук колес норовила заголиться для демонстрации порезов.

Наивная, я думала, мне уже ничего не страшно.

Но однажды в купе скорого поезда № 4, где разместились пожилой полковник, молодой аспирант и я, вошла женщина Ада.

Дальше рассказываю с опаской. Я не верю в материализацию духов, но мало ли.

Первым делом Ада согнала меня с нижней полки, разве что не пинком, долго играла в багажный тетрис, пытаясь запихнуть два своих чемодана и сумку в багажный ящик, не преуспела, поставила чемодан поперек купе и рывкнула аспиранту, сунувшемуся было ей помочь:

— Ты что меня лапаешь?! Руки убери! Девок своих лапать будешь!

Аспиранта перекошило. Стало очевидно, что его эротическим сном суждено перейти в разряд эротических кошмаров.

Полковнику, собравшемуся перекусить бутербродами, Ада заявила, что только деревня ест там, где собирается спать, а ее воспитывали по-другому, она этого не потерпит.

Затем выгнала всех в коридор, потому как ей надо переодеться. Через минут сорок полковник не выдержал, постучал и приоткрыл дверь. Был обозван старым извращенцем. В конце концов впустили.

Ада, в атласном халате, зеленом с желтыми розами, глядела на нас с омерзением. Как если бы мы были коллективным Васисуалием Лоханкиным, пришедшим к ней навеки поселиться.

А на столике стоял баллончик. Судя по надписи, с газом нервно-паралитического действия. Тогда подобную гадость можно было купить в любом киоске.

— Уважаемая, — осторожно заметил полковник, — это зачем?

— В поездах всякое бывает, ездили, знаем! — отрезала Ада. Сунула баллончик под подушку и добавила: — Кто-нибудь храпит? Не люблю, когда храпят. Все, спать. И свет выключите, мешает!

Полковник с аспирантом тревожно переглянулись.

Улеглись, но как-то не засыпалось. Мешали раздумья о последствиях распыления нервно-паралитического газа в замкнутом помещении. Похоже, что полковника с аспирантом посетили те же беспокойные мысли.

— Сколько можно шевелиться?! — гаркнула Ада. — Вы тут не одни!

Когда шевелиться нельзя, то не шевелиться невозможно.

Я поняла, что это не жизнь. Тихонько сползла с верхней полки и с грохотом свалила теткин чемодан.

— Когда ж ты угомонишься, шалава?! — возопила Ада.

Но баллончиком не пшикнула, спасибо ей.

Через минут пять по той же схеме (грохот, крик) в коридор вылетел аспирант. В полночь (грохот, сдержанный мат, визг) к нам присоединился полковник.

За окном летела ночь, хотелось дожить до рассвета и до Москвы.

Полковник сказал:

— Это не женщина, это демон. Вот что, сынок. У меня там, в головах, дипломат стоит, принеси.



— Может, вы сами? — робко предложил аспирант.

— Сынок, мне пощады не будет, а ты молодой, резвый, у тебя есть шанс.

Грохот, вопль, еще раз грохот, снова вопль, и из купе выскочил красный как полковое знамя аспирант с дипломатом.

— Она решила, что я к ней пристаю, представляете? Я к ней пристаю!

В конце коридора до трех утра под разговоры мы пили полковничий коньяк, закусывая конфетами «Коровка». В три коньяк с «Коровкой» закончились, и мы решили рискнуть. Бесшумными чингачгуками прокрались к своему купе.

Сначала чемодан свалила я. Нечаянно. Потом полковник. Нарочно. Продолжил традицию аспирант. Клялся, что не хотел.

Истерический смех отличается от обычного, неистерического, невозможностью остановиться. Наше счастье, что из соседних купе пришли ругаться. Думаю, именно это остановило Аду от нервной парализации вагона, — сообщила, всех не перепарализуешь.

По прибытии в Москву Ада попыталась всучить один свой чемодан полковнику, второй аспиранту, сумку — мне.

Невыветрившийся коньяк придал нам безрассудного мужества. И мы отважно вышли из купе. Сухо попрощавшись.

В спину нам кинжалом воткнулось:

— Хоть бы где один нормальный человек был! Все сволочи! Все!

О Лизе-Марте Гиацинтовой-Горжецкой

Позвонила сердитая Ю., с претензиями. Зачем, зачем я обозначаю ее непрезентабельной буквой.

— Нельзя было приличным именем? Лизой, например, или Мартой какой-нибудь, или фамилией красивой. Так нет же — Ю.! Это что, намек на Тот Случай?!..

Исправляюсь.

Однажды аспирантке Лизе вернули застарелый, покрывшийся плесенью от безнадежности долг. Такой вот, как говорит мой заокеанский коллега, windfall.

На внезапные деньги Лиза решила навестить лучшую подругу, проживающую у черта на куличках и по мере сил скрашивающую своему мужу суровые гарнизонные будни. Ночь до Москвы, день на восток, потом полдня на север, там рукой подать.

Путешествуя, мы познаем мир, и в данном случае было много чего познано. Выяснилось, что плацкарт до Москвы и плацкарт на восток — это разные плацкарты.

Удивленная Лиза спросила у проводницы, не кажется ли той, что на постельном белье уже спали, ели, и хочется верить, что только спали и ели, хотя зрение активно препятствует вере. Проводница глянула на Лизу как на неприятное насекомое, сказала: ах боже ж ты мой, ты откуда такая вылупилась, — фыркнула и удалилась, покачиваясь.

Полдня на север Лиза простояла в тамбуре, потому как в вагоне ехало много-премного мужиков с ногами, и вагонный воздух стоило отправить в парижскую палату мер и весов. Платино-иридиевый топор весом в 1 кг завис бы в одном метре от пола, тюлетка в тюлетку 1 мегавонь. А в тамбуре было свежо, за разбитым стеклом со скоростью пешехода проползала природа.

К вечеру Лиза прибыла туда, откуда рукой подать. Автобус на кулички ожидался только утром. На вопрос о гостинице отловленный абorigine отреагировал в стиле давешней проводницы, но посоветовал: выйди, девка, на дорогу, проголосуй, все так ездят.

Остановился грузовик; шофер, мелкий такой дядечка, кивнул, мол, залезай. Поехали, и через минут пять Лиза поняла, что дядечка вусмерть пьян. Но ехал ровненько. Однако непосильные для организма нагрузки взяли свое, и на полпути дядечка затормозил, сказал, все, девка, глаза не видят, руки не держат, тут всего ничего, по прямой, не сворачивая, — обнял руль и захрапел. Темень, с обеих сторон дороги



неприветливый лес, вдалеке подвывает. Может, ветер, а может, и не ветер. Лиза сначала пыталась дядечку разбудить, потом хотела его убить, но воспитание не позволило, да и нечем было. И тогда, вспомнив, что человек — царь природы, Лиза перетащила паразита на пассажирское сиденье и села за руль. Когда-то, в далеком детстве, папа показывал ей, как переключаются скорости. И поехала. По относительно прямой. Не сворачивая. И что интересно, доехала до куличков, вернее, въехала прямо в них, снеся ворота. Лизино счастье, что на посту стояли разгильдяи, не открывшие сразу же огонь на поражение, как следовало бы по уставу. Но вот этот час, пока матерились, орали, разбирались, пока не прибежала подруга с мужем, врезался в память навечно. Думала, что в лучшем случае закатают лет на двадцать за диверсионную деятельность, в худшем — расстреляют на месте, тут же, у поверженных ворот, под ними и закопают.

Однажды кандидату наук Марте вздумалось сдать на права. Муж Ваня протестовал, говорил, опомнись, у нас двое детей, хочешь оставить их сиротами?! Но спасовал перед доводом — в гости поедем, ты рюмку сможешь выпить, обратно я повезу. Подумал и сказал: ладно, но имей в виду, одной рюмкой инстинкт самосохранения не отключишь.

Инструктор попался неважный. От двора автошколы они отъезжали на километр (по прямой, не сворачивая), Марта оставалась в машине, а инструктор поднялся к себе домой обедать.

Марта как-то иначе представляла себе процесс обучения.

И вот, чтоб время не терять, курсантка решила отрабатывать диагональную парковку, благо место во дворе позволяло. Это была диагональ из нетрадиционной геометрии. Экстремально криволинейной.

Через полчаса взопревшая от непомерных усилий Марта обнаружила, что ее экзерсисы привлекли довольно много наблюдателей. Стояли в отдалении, близко не подходили. Но в конце концов, когда она-таки припарковалась, практически диагонально, и вылезла из машины перекурить этот кошмар, поинтересовались:

— Девушка, это вы от злости так, да?..

Однажды в наш город на конференцию приехал профессор Н., научный руководитель доцента Гиацинтовой-Горжецкой, ее наставник, гуру и вообще светило мировой величины.

После заседания Гиацинтова-Горжецкая провожала профессора до гостиницы. Шли по проспекту, беседа о судьбах и перспективах русской словесности. У подъезда гостиницы, прощаясь, профессор Н., человек старорежимный, интеллигент бог весть в каком поколении, поцеловал доценту руку.

На ту беду лиса близехонько бежала.

И вечером дома Гиацинтову-Горжецкую ожидал локальный апокалипсис в лице загостившейся свекрови Ирины Генриховны, которая, как оказалось, прогуливалась по тому же проспекту в тот же час.

— Ванечка, сын ты мой единственный, ты день-ночь на службе, все в дом, все в дом, а жена твоя погуливает, ухажеры руки ей целуют, дома окна не мыты, а ей руки целуют; я тебя, Ванечка, предупреждала, я тебе, сыночек, говорила!

— Ирина Генриховна, какие ухажеры, это профессор Н.!

— Мама, ну что ты такое говоришь, ему лет под девяносто!

— Ванечка, сыночек, видишь, она уже на старичков перекинулась!

От дома Ю. до моего дома минут сорок на машине. Но в состоянии аффекта Ю. преодолет это расстояние вмиг, на метле. Поэтому я никогда, ни за что, ни за какие коврижки, даже под пыткой не расскажу про Тот Случай!

О средствах передвижения

Один мужчина мечтал о Bugatti Veyron, шестнадцать цилиндров, разгон до ста за две с половиной секунды.

Чтоб промчатся вихрем.



Чтоб несведущие переглядывались ошеломленно и спрашивали друг у друга: что это вот сейчас просвистело мимо, невыразимо прекрасное?

Чтоб понимающие с печалью и завистью смотрели вслед, раздумывая, куда, в какие немислимо роскошные дали унеслась тысяча обузданных лошадиных сил, потом оборачивались к своему «порше» и в раздражении пинали ногой дешевку.

Мужчина начал было копить деньги. Однако несложные математические расчеты показали, что столько не живут. Даже если снизить планку до эконом-варианта, без бриллиантов на руле и гальванизации платиной.

Пришлось купить «форд» издания двухтысячного года, по лживым заверениям продавца — «в отл. сост.».

Расстроился, конечно, — тяжело хоронить мечту. Но уже через день убедился в правильности решения. Потому как неважно, на чем ты едешь, хоть на Bugatti Veyron, хоть на «запорожце», все равно остановишься на светофоре, а следом за тобой попытается затормозить барышня с телефоном в оттюнингованной трехсантиметровыми ногтями руке. Но у нее не получится.

О посевном и посадочном

Нынче утром, в автобусе, одна добрая женщина посмотрела на меня, вздохнула и сообщила, что в понедельник, четвертого июня пора сажать репу. Что-то в моем облике подтолкнуло ее на этот рассказ.

Я спросила, почему именно четвертого.

— По лунному календарю. Так нам говорят Луна и звезды! — убежденно сказала женщина.

В который раз восхитилась устройством Вселенной — до чего же в ней все взаимоувязано.

О якорях

Однажды в молодости мне выпала черная метка.

Проспала, вскочила с температурой, являя собой практическое пособие для начинающего отоларинголога, порвала новые колготки, куда-то сунула проездной и не смогла предъявить — настыдили; опоздала на работу, а у нас с этим было строго, коллективная ответственность, премию снижали всему отделу; обидела ни за что хорошего человека, и меня обидел ни за что другой хороший человек; вдрызг разругалась с начальством и коллегами; потеряла кошелек; по пути домой опять нарвалась на контролеров, на тех же, утренних, стыдили в три глотки, штраф платить нечем, пришлось идти пешком, сломала каблук и подвернула ногу, последнюю остановку ковьяляла как Паниковский, замерзла до невозможности, дотацилась до квартиры и не нашла ключи, ждала до ночи соседку, у которой хранились запасные; наконец попала к себе с единственной мыслью в гудящей голове — влезть в горячую ванну.

И обнаружила, что отключили воду. Всю...

Тогда был день. Теперь что-то подзатынулось. Никаких хлестких ударов судьбы. Так, по мелочам. Но без пауз.

Чувствую себя верблюдом, думаю о соломинках. В таком состоянии надо за что-то цепляться. Чтоб не унесло.

В три года мальчик начал разговаривать сложноподчиненными предложениями. Неосторожно прислушавшиеся прохожие пугались.

Как-то спросил:

— Мама, ты догадываешься, что я тебя совсем люблю?

Я сказала, что давно догадалась, и поправила — очень люблю.

Мальчик не согласился, сказал, что очень любит лошадку на колесиках и плюшевого львенка, а меня любит совсем.

Совсем.

Со всем.



То есть, действительно со всем — с хорошим настроением, с плохим, с дурной привычкой сначала рывкнуть, потом разбираться, с тем, что мне некогда, с неумением рисовать кошку, получающуюся похожей на глазастую сосиску, с умением заставить есть кашу, с немногими моими плюсами и несметными минусами.

Со всем.

И сейчас я крепко держусь за тех двоих, которых я люблю совсем. За большого и маленького, который на голову выше большого.

Пройдет время, оно вообще очень быстро проходит. Очень — не страшно, лишь бы не совсем.

И если я не помру молодой, лет в семьдесят, и доживу до знакомства с Алоисом Альцгеймером, то оставь мне, Господи, хотя бы один якорь. Чтобы во взрослом дядьке с усами, а то и с бородой, как у папы, я смогла увидеть маленького мальчика, которого учила когда-то считать до десяти, и он досчитал, и я спросила, а дальше, что там дальше, за десятью; и мальчик, которому хотелось не заниматься бессмысленным с его точки зрения делом, а играть с лошадкой и львенком, посмотрел неодобрительно и сухо заметил:

— Я не уверен, что дальше есть числа.

Чтоб я смогла сказать, сыночек, я тебя совсем люблю.

Со всем.

О Евро-2012

Утром в троллейбусе две дамы, нависая над сидящим мужиком, пылко спорили на тему «был ли офсайд». Мужик поглядывал на дам затравленно. Как человек, у которого вот-вот отберут последнее.

Вчера опять играли. Я болела за синеньких.

Когда синенькие скопом рванули в сторону беленьких, комментатор аж зашелся и в экстазе выкрикивал:

— Диаманти! Абате! Балотелли!!!

Повеяло Ренессансом.

Одно время меня пытались приобщить к футбольному счастью. Водили на стадион и объясняли про офсайд. Неоднозначные впечатления.

Помнится, справа сидел красавец из моих девичьих грёз. То бишь рост, седина, манеры. Когда там, внизу, случился офсайд или еще какая неприятность, все забежали как ужаленные и, наконец, запихали мяч в сетку, красавец заорал раненым медведем, вскочил на ноги и бросился меня обнимать-целовать.

Это было обидно.

Я понимала, ему неважно, кто тут рядом — симпатичный старший инженер Наталья В., старуха Ямщикова с двумя оставшимися в наличии зубами или маньяк Чикатило. А был бы сбоку фонарный столб, красавец и его бы обнял.

* * *

Одна знакомая семья пережила кризис отношений и договорилась жить интересами друг друга. Получилось несколько однобоко, с перекосом. Муж не увлекся бисероплетением. Но вот жена начала ходить на футбол, вместе с мужем.

Она ничего не понимала про офсайды, не могла проникнуться радостью единения, тосковала и думала, стоит ли семейная жизнь подобных жертв, но однажды посмотрела и влюбилась в тренера команды БАТЭ Виктора Гончаренко. Теперь тайно по нему сохнет, и недалек тот день, когда заведет альбом и начнет вклеивать в него газетные вырезки и фотографии предмета своей сокровенной страсти.

О постоянстве

Найда Векшину месяц недолго любила, год не любила и тридцать лет ненавидела. С того самого момента, когда начальник КБ привел новую чертежницу.



За месяц Векшина осмотрелась. За год тихой сапой охмурила Котовского, инженера по стандартизации.

Найдин двухлетний роман треснул, накренился и рассыпался в прах. Поняла это не сразу: Котовский действовал как опытный двойной агент.

В декабре 1982-го Векшина впорхнула в отдел свежеекольцованной, с тортиком и шампанским.

Найда сколько могла терпела воркования на публике, держания за ручку, сочувственные взгляды сослуживцев, но каждый раз как по живому. Как-то проснулась и поняла — все, хватит. И принесла заявление по собственному.

Устроилась в первую же попавшуюся контору, в поганое застойное болото, населенное климактерическими тетками с исковерканной личной жизнью. Ближе к вечеру тетки закрывались на ключ и распивали бутылочку-другую под аккомпанемент жалоб на мужиков, детей и свекровей. Это те, у кого были мужики, дети и свекрови. Остальные подпевали платонически.

Сначала закрывались раз в неделю, потом чаще. Через год Найда обнаружила, что ждет вечера. Еще через пару лет — что ждет с нетерпением.

В перестройку контора не выжила.

Через Найдину жизнь пронеслась череда невразумительных работ и невнятных мужей, завершившаяся должностью дворника и в меру выпивающим аптекарем Юрой, женатым на одной змее подколенной пожизненно, без права на досрочное освобождение.

Неизменным оставалось одно — перед сном подумать про Векшину и сказать:

— Сдохни, тварь!

Издредка Найде звонила бывшая сослуживица, с удовольствием повествовала о том, что у Векшиной все замечательно — и дом полная чаша, и Котовский на нее не надышится; детей только нет, оно и к лучшему, сейчас такие дети — с ними сам в гроб запробишься, добровольно.

А в позапрошлом феврале сообщила, что Котовский умер, что на девять дней Векшина заказала кафе и что из кафе ее увезли с инсультом, 53 года, рановато, ну не все ж по заграницам раскатывать, и вот что теперь, родственников никого.

Найда два дня яростно мела двор, рывкая на вовремя не увернувшихся жильцов, а в пятницу поехала в больницу.

Векшина лежала страшная, бледно-зеленая, с перекошенным лицом, но Найду узнала, пыталась что-то сказать, но только просипела — оиа, оиа. Найда поняла — Олечка, Олечка.

Ездил по несколько раз на дно, переодевала, кормила, — все молча.

Доктор спросил, кто Найда такая — родственница, подруга. Больную надо выписывать, сможете обеспечить уход?

— Да, — сказала Найда.

В апреле Векшина научилась сидеть сама, без поддержки. В мае встала и прошла несколько шагов, в ходунках, но сама. К осени и в магазин выбиралась, и в парк, даже в парикмахерскую.

Правда, речь не восстановилась полностью. Но Найда понимала.

Оиа иа. Олечка пришла.

Аио оиа. Спасибо, Олечка.

Найда сходила в собес, написала заявление, чтоб выделили соцработника.

Первую тетку сразу же забраквала, больно проницательна с виду, а ко второй, Терезе Вацлавовне, присмотрелась пару дней, — хорошая, душевная женщина, надежная.

Оставила ключи на полочке для телефона и ушла. По дороге купила бутылку водки, дома хлопнула полстакана, за девять месяцев вкус не изменился, такая же гадость, но внутри теплеет, подошла к окну и, глядя в сырое ноябрьское небо, сказала:

— Сдохни, тварь!



О текущем

В автобусе ехала пышная тетья с собачьим недоразумением. Недоразумение размером с некрупный тапок было украшено как новогодняя елка в разбогатевшей цыганской семье: заколочки, ошейничек, шлейка — все в камнях и золотых нашлепках. Еще курточка и штанишки.

За четыре остановки тетю раз десять пробивало на пароксизм любви, и она осыпала насекомое поцелуями, приговаривая:

— Арчинька, мальчик мой сладенький!

Несчастливая собачка вырывалась изо всех своих микроскопических сил и к удовольствию бессердечных пассажиров тянула тетю за палец.

— Арчинька, ты сделал мамочке бо-бо!

Ей-богу, если б своими глазами не наблюдала, не поверила бы, что так бывает.

На собачкиной мордочке читалось страстное желание вырасти в собаку Баскервилей и отплатить за все — за камни эти, за курточку в плюс двадцать семь по Цельсию, за сладенького мальчика, за тисканье, за поцелуи, за все.

Мысленно пожелала песику удачи.

* * *

Теперь о том, что волнует многих женщин. О похудении.

Начну издалека.

В субботу наткнулась в телевизоре на некий песенно-плясовой шабаш. Не поняла, кто именно там отпел-отплясал, но ведущая срывающимся от волнения голосом пролепетала, что у нее от восторга встречи с прекрасным «заострились все рецепторы».

Я до вечера думала об анатомии. А вечером попила кефира, почти ледяного, по жаре и духоте самое то. К утру в моем горле заострились не только рецепторы, но и кондукторы с эффекторами.

Третий день на практике познаю, что такое «кусочек в горло не лезет». Никаких моральных терзаний на тему «есть или не есть». Одни физические.

Но есть способ надежнее.

Одна знакомая, будучи в командировке в Москве, последний день забегалась так, что поесть не успела. И хватанула что-то с лотка, — говорит, была так голодна, что проглотила не разжевав, толком не глянув на проглатываемое. Как бы это объяснить ситуацию поделикатнее... Скажем так: в том рейсе в одном из вагонов скорого поезда № 3 прочим пассажирам был доступен только один туалет.

Через пару дней позвонила мне и прошелестела в трубку:

— Чуть не померла. Но ты только подумай — минус четыре килограмма! Минус четыре! Я так счастлива!

А у нас все по-прежнему. Тучи ходят по периметру города. Несколько раз в день прорываются. Жалости не знают: за десять метров от одного навеса до другого, бегом — до нитки.

Временами на березу за окном прилетает грустный вяхирь, топчется взад-вперед по ветке. Хочется его подбодрить. И себя тоже. Не знаю как.

О теологическом

Восьмилетняя дочка знакомых захотела ходить в воскресную школу. Папа с мамой, рассудив, что вряд ли там научат плохому и что скоро надоеет, согласились. Бабушка, истово верующая в то, что бога нет, пришла в ужас и попыталась вырвать внучку из цепких лап католицизма. Вела душеспасительные беседы, взывала к разуму и здравомыслию, объясняла, что никакого ада и рая быть не может, потому что не может быть. Задала коварный вопрос:

— Если ты считаешь, что рай существует, то какой он?

Внучка подумала и ответила:

— Это такое место, где каждый может завести себе собаку!



О домашних питомцах

По дому неспешно, величаво, с достоинством летает упитанная моль. Поплеывавая на эти глупые прыжки вниз, на хлопки, на вопли «я что, и за молью должна сама гоняться?!».

У мужа футбол, у сына английский. Если хлопаю и ору слишком громко, укоризненным взглядом спрашивают, зачем я разрушаю гармонию.

Моль думает, я аплодирую ее красоте.

Однажды мой папа увидел, в чем я хожу зимой, ужаснулся и пришел к выводу, что мне нужна дубленка.

В то время дубленки не продавались, они доставались. Достать было негде.

Папа к решению вопроса подошел творчески: где-то купил шесть самопально выделанных, негнущихся, гремящих овечьих шкур и торжественно вручил их, заставив поклясться, что отнесу в меховое ателье и наконец-то сошью себе Достойную Вещь (ДВ).

Ателье сопротивлялось, но я ж поклялась.

Сшили. В смысле, распилили и сколотили.

Приволокла многокилограммовый кошмар домой и запихнула в шкаф, чтоб глаза не видели.

Потом наступила зима, и я подумала — зато тепло. В конце концов, может, у меня такой стиль. Подражание колхозному сторожу Федотычу. Хотя для полного соответствия хорошо бы добавить аксессуары — берданку и треух.

Я вытащила ДВ, из нее посыпался мех. При внимательном рассмотрении ДВ оказалась землей обетованной, счастливой Аркадией для моли.

Старики, дети и взрослые смотрели на меня как на агрессора, с ненавистью. Пытались утащить родину в шкаф, на ее законное место.

Пару недель ДВ провисела на балконе, вымораживалась. Моль закопалась в остатки меха и выжила. Я решила ее выбить. Как пыль из ковра. По двору летели клочья меха, слышались стоны погибающих, соседи поглядывали с опаской.

В сильно польсевшей ДВ я таки проходила зиму.

Однако оказалось, что кое-кто выжил. И к следующему сезону в одной отдельно взятой ДВ случился демографический взрыв. Моль пихалась локтями и, предчувствуя истощение ресурсов, жрала в три горла.

Я поставила ДВ у мусорных баков. Неделю она стояла там, одинокая. Потом пропала. Наверно, моль набралась сил и улетела с ней туда, где уважают жизнь в любых ее проявлениях.

Тулупа у меня нет до сих пор. И вот что интересно: на чем, ну скажите, на чем наша нынешняя пакость смогла наесть себе такую наглую толстую рожу?!

О текущем

Я работаю на втором этаже.

Второй месяц прямо под нами с девяти до пяти сносят первый этаж. Кувалдами. Оптимисты верят, что мы плавно просядем.

Дома тоже сверлят и ломают. Сверху справа, снизу слева и непонятно где. Мой внутренний голос синхронизировался с соседской дрелью. При каждом взвизге поднимает голову и долдонит свое, накопившее. Про очередной отложенный ремонт, про то, что соседи по второму кругу пошли, про мифического коня, которого ни за какие коврижки не уговоришь у нас повалиться.

С внутренним голосом я разговариваю грубо. На время помогает.

Под моим окном растут вишни, ягоды начинают краснеть, по утрам с ревизией прилетают скворцы, скачут по веткам, поклевывая то, что покраснее. То ли проверяют на спелость, то ли на всякий случай надкусывают.

Нынче утром скворцов спугнула объемная тетя. Пыталась допрыгнуть до нижней ветки. Земля нервно вздрагивала.

Я спросила, к чему эти эксерзисы.



— Так все равно ж пропадут! — жизнерадостно сказала тетя.

Физподготовка у тети хромает, в прыжке ей не дотянуться. Скорее, выкорчует.

Летом бабушка носила шляпку из соломки, сбоку три вишенки и два зеленых листочка. Пришиты намертво, но и я не лыком шита.

К вечеру злоумышленник был вычислен и поставлен в угол, и все же полдня вишенки были моими, оно того стоило.

В конце июля из кладовки приносили сияющий медный таз. Косточки из вишен доставали такой специальной штуковиной, бабушка называла ее пстрикалкой. Занятие нудное, но неотвратимое. Вокруг летней кухни вились пчелы, бабушка полотенцем отгоняла их, заодно и меня.

Нас с дедом отправляли в пекарню, за белым хлебом. Поздно вечером накрывали стол, ставили самовар, хлеб нарежали толстыми ломтями. Вишневое на белом, ягодка к яголке.

Бабушка говорила:

— Ну все, вишню сварили, лето к концу.

Потом вот так невыразимо вкусно никогда не бывало. Чтобы вкусно, нужно, чтоб тебе было пять лет, чтоб в открытые окна смотрели звезды, чтоб теплый ветер шевелил белые занавески, вышитые гладью по нижнему краю — вишенка, листочек, вишенка, листочек.

О старичках и старушках-2

Один буржуй купил две квартиры в доме № 17, первый подъезд — себе с женой и собакой Карлой трехкомнатную, на пятом этаже, а дочке двухкомнатную, на четвертом, прямо под собой.

Район тихий, дом старый, жильцы en masse пожилые, шансы проснуться посреди ночи от задорной песни «я крутой прикольный перец, у меня обритый череп» невелики.

Чистый мед без добавления дегтя в природе встречается, но редко. В том же подъезде проживала трехголовая гидра осуждения социальной несправедливости в лице трех старух — Лях, Ласун и Каблуковой.

Пару месяцев в буржуйских квартирах шел ремонт. После семи вечера не сверлили, мусор за собой убирали.

— Видали? Новую плиту понесли! — сказала Лях.

— Панство какое, со старой плиты есть не могут, тьфу! — сказала Ласун.

— А чего ж плиты не покупать, наворовано, тать — не хочу, — сказала Каблукова.

В сентябре буржуи въехали. В семь утра буржуй уезжал на черной машине, в восемь буржуева жена отчаливала на зеленой, в половине девятого вылетала буржуйская дочка и уносилась на белой.

Возвращались в обратном порядке.

Здоровались, улыбались.

— Видали? Устроили из двора автопарк! — сказала Лях.

— Панство какое, в автобусе им не с руки, тьфу! — сказала Ласун.

— А чего не развезжать, нахапали, на самолет хватит и еще останется, — сказала Каблукова.

По утрам воспитанную собаку Карлу выгуливала буржуева жена, по вечерам дочка.

— Видали? Это ж сколько страшилище это жрет, это ж семью прокормить можно! — сказала Лях.

— Панство какое, выделываются, с совочком, с пакетиками, тьфу! — сказала Ласун.

— А чего ж и псарню не завести, денег немерено, — сказала Каблукова.

В начале лета одна дворничиха ушла в декрет, двое уволились, а ветеран ЖЭС Алексеич выпал во внеплановый запой.



Оказалось, чисто там, где убирают.

Лях, Ласун и Каблукова проели плешь и перегрызли последние нервы жэсовской начальнице.

И тут как-то резко стало чище. Это в рань несусветную буржуй в спортивном костюме живо махал метлой, а вечером в субботу буржуйская дочка вымыла подъезд.

Замолчали надолго, но не навсегда.

— Видали? В депутаты метит, очки зарабатывает! — сказала Лях.

— Панство какое, потерпеть не могут, тьфу! — сказала Ласун.

— А чего ж не мести, ряшку вон какую наел, — сказала Каблукова.

В августе собака Карла сильно поранила лапу, скакала на трех, смотрела жалобно.

В сильный ветер на дочкину машину свалился фонарь со столба, лобовое стекло, капот, еще и левое крыло задело.

В тот же день буржуева жена оставила окна открытыми, в результате один стеклопакет вывернуло с корнем.

— Что вы намордник на нее нацепили, собачке и поскулить нельзя, иди сюда, Карлочка, собаченька, иди, пожалею хорошую девочку! — сказала Лях.

— Ой, и дождем залило, воду собрать быстро надо, полы вздуются, счас подымусь, помогу, — сказала Ласун.

— Свояк мой машины чинит, телефон запишу, говори, от меня, от бабы Раи, — сказала Каблукова.

А у буржуя случился форс-мажор, молодой краснодеревщик почти безвозвратно запорол бюро из карельской березы; понятно, что не хотел, но не терять же лицо перед немецким клиентом, и буржуй вместе с двумя мастерами почти двое суток исправляли и корректировали, все сделали, отправили в срок, решили отметить, но три рюмки коньяку в компании с голодным желудком и бессонницей привели к тому, что буржуй привезли и с трудом доставили на пятый этаж, сам иди он, может, и хотел, но не мог.

— Смотри куда несешь! Осторожней! Это ж вам не мебель, человек! — сказала Лях переносчикам.

— Пойду рассолу отнесу, а то панство это — пилюлями похмелье лечить будет: похмелье — пилюлями, тьфу! — сказала Ласун.

— Где ж ты выдержишь, день и ночь работает, все в семью. Вон у свояка моего соседи, врагу не пожелаешь, а нам, женщины, повезло, грех жаловаться, повезло, — сказала Каблукова.

Стеклопакет вставили, машину отдали в ремонт, буржуй являлся домой трезвый как стеклышко, у Карлы зажила лапа, Алексеич вышел из запоя.

— Видали? Дочку хахаль привозит, патлы до плеч, наркоман, как есть наркоман! — сказала Лях.

— Панство какое, как собаку ихнюю страхолюдную гулять, так время есть, а как подъезд помыть, так хрен вам, тьфу! — сказала Ласун.

— А чего ж не гулять, вчера буржуиха сумку несла, две бутылки шампанского торчат, знать, дома пьют, не до подъездов им! — сказала Ласун.

Об эллинистическом

Влететь в Грецию на белом коне не удалось, потому что враг рода человеческого придумал самолетные откидные столики. Сидевшая впереди нервная тетя затрепетала пышным телом, и мой кофе со сливками устремился ко мне, на белые штаны и майку. Весь.

По прилету с горя закурила под плакатом «Минимальный штраф за курение в аэропорту 500 евро». Не оштрафовали: то ли греки плевать хотели на людоедские регламентации бездушного Брюсселя, то ли рука не поднялась наказывать того, кто обличьем бомж.



* * *

Дама в игривом купальнике кричит в телефон:

— Люся, ты меня слышишь?! Звоню тебе с подножия Олимпа!

Через день та же дама:

— Котик, прикинь, они дали мне номер с видом на Олимп! Заставила поменять, чтоб на море. Что я на том Олимпе не видела?!

* * *

По вечерам в баре мы с мужем пили местное бренди, мальчик читал Борхеса. Такое вот гармоничное сочетание возвышенного и земного.

* * *

В бунгало приходили лягушки, мелкие, цвета упомянутого кофе со сливками, настойчиво щемились в ванную. Я всем сердцем люблю живую природу, но мне не нравится, когда она жизнерадостно скачет по моим вьетнамкам. Опять-таки в моем возрасте неприлично мыться на глазах у коллектива, пусть даже земноводного. Лягушек ловили в бумажный кулек и относили в пруд.

Над дверью жили птицы. Папа, мама и четыре ластовенка. Когда мимо гнезда проносилась посторонняя ласточка, недоросли дружно распахивали клювы, на всякий случай. Самый смелый, он же самый бестолковый, сидел исключительно на краю гнезда, иногда засыпал, зацепившись одной лапой и свешиваясь вниз головой. Естественно, выпал. Ковылял в траве растерянно, пищал раздраженно, не понимая, почему изменился мир. Водворили по месту прописки. Чувствовала себя гринписом.

* * *

В море заходит квадратный, скорее даже кубический дядя, неглубоко, по шейку, замирает надолго. Затем поворачивается и медленно, со скоростью восходящего солнца начинает восставать из воды.

На берегу его ждет жена с двумя полотенцами. Пока жена суетится вокруг него, дядя величественно смотрит за горизонт. Обсушенный, с достоинством несет себя к лежаку. Жена забегает вперед, стелет на лежак простыню, расправляет на ней складочки, подает дяде панамку и мчит в бар за пивом.

Я старалась отвлекать мужа, чтоб он даже не смотрел в ту сторону. Не дай бог, эта модель семейно-брачных отношений заразна.

* * *

В море столкнулась с мужиком в гидрокостюме. Мужик целеустремленно плыл вдоль берега. За ним на тросике волочился его скарб, упакованный в оранжевый мешок. На мешке был пришпандорен красный флажок.

— Round Greece! — замученно выдохнул мужик и махнул рукой в непонятном направлении.

— Good luck! — сказала я, выпучив глаза и стараясь сделать вид, что, мол, и не то видала.

— Top of thanks! — сказал мужик, хлебнул воды, отплевался и посмотрел на меня с неприязнью.

* * *

На закате из-за гор выплывало облако с золотыми краями. Располагалось поудобнее, зацепившись за вершины, и наблюдало, что там внизу. Лучи пробивались сквозь него: те, что шли вниз — светлыми расширяющимися колоннами, те, что вверх — темными.

Если б я была древним греком, я бы взглянула вверх и непременно придумала бога. И не одного.



О старичках и старушках-3

Тим поступил в экономический университет, чем сильно разочаровал деда. Дед надеялся, что внук выучится и станет хирургом, или профессором, или полковником... мало ли приличных профессий. Но уж никак не счетоводом в синих сатиновых нарукавниках, уныло сводящим дебет с кредитом. Именно так, в блекло-синих сатиновых тонах, дед представлял себе будущее выпускников-экономистов. Реалии новой жизни, всякие там экономики-компьютеры-интернеты и прочее, дед не принимал. Единственно на старости лет уверовал в полезность витаминов, но исключительно из собственного сада-огорода. В других местах витамины тоже растут, но так себе, квелье, бесполезные для усиления умственно-образовательной активности.

Посему в июне начинался жаркий закаточный сезон, бабушка Зоя работала с производительностью небольшого консервного заводика, а к концу лета дед грузил соленья-варенья-компоты в свою «копейку» 1972 года выпуска, штурманом сажал бабушку и ехал в город. Под тяжестью витаминов бедная «копейка» проседала и чиркала брюхом по асфальту.

В городе деду не нравилось. Машин, людей, идиотов — не протолкнуться. Плюс придуманные кем-то шибко умным несуразности, типа «водитель должен пропускать пешеходов». В дедовом поселке пешеходы твердо знали свое место и на устои не посягали.

Тим окончил универ с красным дипломом, с блеском прошел собеседование в солидном банке и весьма успешно двинулся вверх по карьерной лестнице. Дед презрительно хмыкал. К конторщикам он относился со снисходительной жалостью.

Через год, после Рождества, бабушка резко ослабела, узнавала не всех и не все-гда, деда звала Тимом, Тима принимала за деда. Перед Пасхой похоронили.

Дед крепился, поддерживал сложившийся уклад. Вплоть до того, что по бабушкиным тетрадкам с рецептами варил, солил, закатывал. Звонил дочери, рывкал в трубку: несколько смородиновых листьев — это сколько?! А соли по вкусу?! Нельзя было нормальным человеческим языком написать?!..

Дочь просила-умоляла: ничего не делай, все можно купить в магазине.

От подобной ереси дед терял дар речи. Ненадолго, секунд на пять, потом клапан вышибало. Во-первых, богатые стали, да?! Во-вторых, ты хоть знаешь, где это магазинное росло, чем его поливали?! В-третьих, нет бы спасибо сказать, что отец тут корячится!

В общем, все, как при бабушке. Только бритве забросил и с отпущенной сивой бородой стал сердитой копией Льва Толстого времен ухода из Ясной Поляны.

Как-то в октябре Тим вернулся с работы и обнаружил, что прихожая заставлена банками и мешками, а на кухне сидит раздраженный до невозможности дед, с ходу вопросивший, где всех черти до ночи носят и как включается эта чертова плита, с обеда сижу, чаю выпить не могу.

Тим спросил, кто все это добро привез. Дед взъярился: он, слава богу, не инвалид и не маразматик, сам доехал, полжизни за рулем, еще и других поучить может, как нужно водить. Насчет поучить — это точно. Дед становился в крайний левый ряд, двигался со скоростью 50 км/ч, и пусть весь мир подождет — кому невтерпеж, тот объедет.

Тим выглянул в окно — «копейка» перекрыла подъезд к мусорным контейнерам — и сказал:

— Дед, давай машину переставлю, утром мусоровоз перебудит весь дом. Не бойся, не поцарапаю, я на права сдал.

Дед, естественно, вышел проконтролировать и чуть не довел Тима до нервного припадка ценными, но крайне противоречивыми указаниями.

Поздно вечером Тим с мамой шепотом переругивались на тему «что делать». Предложение отвезти его дед с негодованием отменил.

— Мам, может, в ГАИ позвонить, попросить, чтоб права отобрали? Ну восемьдесят четыре года, сам убьется и других покалечит!..



Сначала взорвались огурцы, следом компоты, помидоры продержались дольше, но не избежали общей участи. Выкинуть еще не рванувшее ни у Тима, ни у мамы рука не поднималась.

Дед живо интересовался по телефону, что съедено, сколько съедено и когда съедено. Был доволен, что им удачные банки достались, а то остальные как-то не очень. Надо очки новые заказывать, Зоя рецепты свои мельче записать не могла!

В начале декабря дед сообщил, что в субботу приедет по важному делу, чтоб все были дома и ждали.

К визиту готовились. Купили венгерские маринованные огурчики и переложили их в трехлитровую банку — тары меньшего объема дед не признавал. Аналогично с вишневым компотом.

Дед прибыл какой-то уж очень торжественный; мама шепнула Тиму: может, поддался наконец-то на уговоры, решил к ним переехать, хотя бы на зиму.

Пообедали.

— Ишь, огурцы как удались, — удивился дед. — Только мелкие какие-то. Не проследил, надо было им дать подрасти.

Мама почувствовала себя профессором Плейшнером, позабывшим проверить наличие цветочного горшка на окне. Но пронесло.

— Значит, так, Тимофей. Права есть, ездить не на чем. Дарю тебе мою кобылку. Бегаёт как молоденькая. Будешь хорошо ухаживать, еще двадцать лет прослужит.

Тим хотел было сказать, что через неделю забирает из салона заказанную «хонду». Но не сказал. Потому что в дедовой вселенной заработать за три года на новую машину — неисполнимо. Потому что дед был горд собой до невозможности. Потому что дороже внука, дочки и серенькой «копейки» у деда ничего не было.

— Дед, ну ты даешь! Спасибо! Обещаю — буду холить и лелеять!

Холение и лелеяние раритета обходится недешево. В автоцентрах мастера кричатся: ты бы еще телегу сюда прикатил. В мастерских попроще механики советуют: купи ты себе иномарку подержанную, по этому ведру свалка плачет, его чинить себе дороже.

Так-то Тим ездит на «хонде», но к деду — только на «копейке».

Дед придирчиво осматривает кобылку и остается доволен, говорит:

— Видишь? Как новенькая! Что значит итальянская сборка!

О влиянии котов на омоложение организма

Вчера телевизор сказал, что возрастные котовладелицы выглядят лучше, чем дамы, лишённые четырехлапого счастья. У котовладелиц здоровый цвет лица, молодой блеск в глазах, и альцгеймер приходит к ним позже.

Ну... не знаю.

Давным-давно А. скоростно развелась с первым мужем. Туром по Европе решила отвлечься от гнетущих мыслей на тему «где были мои глаза?!». Возникла проблема — куда деть кота.

Экс-муж заявил, что не намерен ухаживать за котами посторонних женщин.

Лето, все в разезде, посему кота всучили мне, неосторожно отгулявшей отпуск в июне.

Кот стоил пять моих тогдашних зарплат. Отсюда следует, что в то время породистые коты шли за бесценок. Официально его звали Базиль Стефано — и дальше как-то заковыристо, с приставкой то ли «цу», то ли «фон»; для близких — Василь Степаных.

А. привезла Базиля Стефано и кучу кошачьего скарба, включая корзинку для спанья и домик, чтоб коту было куда удалиться, ежели взгрустнется и захочется побыть в одиночестве. Заверила меня в его необыкновенном уме и выдающемся воспитании и отбыла припадать к истокам европейской цивилизации.

Базиль Стефано обнюхал новое жилье и презрительно скривился. Голубая кровь с моей квартирой не монтировалась. Если бы герцога, чьи предки густо рассыпаны по Готскому альмануху, переселили из саксонского замка в дешевую ночлежку в



берлинском районе Кройцберг, то на герцогском лице появилось бы примерно такое же выражение.

Затем аристократ развалился на единственном спальном месте, диване, и в ответ на попытки восстановить законность и порядок шипел змеюкой и отмахивался лапами. Я догадалась, кому суждено ночевать в корзинке.

Вечером его удалось спихнуть, но стоило мне задремать, как мерзавец вспрыгнул на диван и начал вытаптывать во мне ямку для ночлега. И так до утра. Куда попадал в прыжке, там и топтался.

Вот так мы и жили. Кот считал меня устройством для своевременной подачи еды и уборки лотка. И не оставлял надежды переночевать на моей голове, предварительно ее утопав. Короче говоря, ни любви, ни ласки.

А потом я приоткрыла дверь на лоджию. И не успела глазом моргнуть, как Базиль Стефано юркнул в нее и сиганул навстречу неведомому. Квартира у меня на первом этаже, на лоджии решетки, но то, что является относительной преградой для домовника, не остановит свободолюбивую неблагодарную скотину.

У подъезда на лавке курило подрастающее хулиганье, и когда я выскочила с воплем «Кот сбежал!», оно, в виду отсутствия других развлечений, погарцевало следом.

За домом у нас небольшой парк, туда паразит и метнулся. Август, вечерело, темно, а мы с хулиганьем носились меж деревьев, взывая: «Базиль! Стефано! Василь Степаньч!»

Шедшая через парк добрая женщина глянула сочувственно и сказала:

— Что, милая, день аванса, мужа ищешь? Вон там, в кустах отдыхает, — не твой?

Кота нашли в дальнем углу. Он наматывал круги вокруг пня, а на пне умывалась кошка вида самого что ни на есть непотребного.

— Во, трехрублевую блядь нашел... ой, ну, падшую женщину, — сказала хулиганье, тем самым обозначив свое знакомство не только с темными сторонами жизни, но и с классической литературой.

Кошка на столько и выглядела. Не хватало лишь чулок в сеточку, мини-юбки из кожзама и замазанного тональником синяка под глазом. Тем не менее кокетничала, набивала себе цену. До рублей пяти.

Хулиганье радостно комментировало очевидное развитие событий.

— Дети, — сказала я, — во-первых, я не все слова понимаю, но догадываюсь, что вам их произносить рано, а во-вторых, коту надо эвакуировать.

— Точно, — сказала хулиганье, — спасать надо, может, заразная какая, еще подцепит чего. Счас, мы его в рубашку замотаем; Витька, скидывай джинсовку, ты самый толстый, твоей на него хватит.

Пленный и уносимый от плотских радостей Базиль Стефано орал так, будто ему по живому, без анестезии выдернули хвост. И не только хвост.

Будучи дома распеленутым, пробежал по стенам, потолку и завис на гардине. Пока мы с хулиганьем замазывали шрамы зеленкой, успокоился, отцепился, двинулся на кухню и мяукнул. Хотелось думать, сказал «спасибо» за то, что убергли от неподобающего его статусу мезальянса. Но это вряд ли, — скорее, тихо проклял.

Конец лета выдался жарким и душным, спать приходилось в наглухо запечатанной квартире, ибо поганец был застукан за тем, что пытался прощеститься в форточку. И по-прежнему предпочитал спать если не на моей голове, то хотя бы рядом, на подушке. Выставить из комнаты не помогало. Садился с той стороны, яростно царапал дверь и вопил без перерыва. Я выдерживала минуты три. В результате пару раз уснула на работе, дав повод коллегам домыслить мой образ жизни и позавидовать ему.

К возвращению А. из европ я окончательно разлюбила некоторых млекопитающих.

А. обцеловала свое сокровище и заметила:

— Бледная ты какая-то, глаза красные, под глазами круги, спать надо больше, восемь, а лучше десять часов сна при открытых окнах — вот что для внешности главное! Ты, вижу, совсем на себя рукой махнула, так нельзя, Наташа, так нельзя!



В этом году А. пристраивала дней на десять двух правнуков Базиля Стефано. Меня предупредили. Я малодушно сбросила звонок.

О моих встречах с дикой природой

Вчера вечером в телевизоре отважный натуралист рассказывал, как в Индии он нос к носу столкнулся с бенгальским тигром; как на севере Канады то ли он гонялся за медведем-гризли, то ли медведь его гонял — я не уловила; как в амазонских дождевых лесах его страстно обвивала молодая горячая анаконда.

Навевало воспоминания.

Нынешней молодежи неведом такой срез жизни, как выезд на картошку в колхоз. Поле от горизонта до горизонта, по которому вечером трактор протащил картофелекопалку, а на нем, под бледным печальным осенним небом, человек тридцать инженеров с ведрами и корзинами и грузовик с похмельным шофером.

Цивилизация и цивилизованность не смогли убить в человеке инстинкты, заложенные дикой природой. И когда у кого-то из-под рук порскнул заяц, то все эти самые инженеры плюс похмельный шофер не застыли от неожиданности каменными истуканами, а сорвались с места, мгновенно набрав приличную скорость, и, под отчаянные крики «Заходи слева! От леса отсекай! Поднажми! Уйдет, зараза!», бросились за несчастным зайцем, очумевшим от своей популярности.

Я и спорт — вещи плохо совместимые. У нас не сложилось. Я низко и близко прыгала, мешком висела на перекладине, а касательно бега как на короткие, так и на длинные дистанции вообще умолчу. Я не могу объяснить, как так получилось, но именно я зайца догнала и в отчаянном прыжке хватанула его прямо в воздухе.

Встал вопрос: что с ним делать. Похмельный шофер намекал на жаркое, а также упоминал вертел и вызывался съездить в соседнюю деревню, где уже был открыт магазин, потому как «заяц на сухую глотку не пойдет». Бедный заяц, прочувствовав возможный поворот своей судьбы, ошалел окончательно, отказался слезать с моих рук и неприязненно косился на шофера.

Зайца решили отпустить. Охотничий азарт был удовлетворен, а что такое один некрупный заяц на тридцать человек — смехота. Да и позавтракали не так давно. В общем, заяц неспешным скоком удалился в сторону леса, всем своим видом и толстым задом выражая недовольство и презрение. Похоже, он счел наше поведение неспортивным.

Через два-три года мои знакомые уговорили меня поехать в лес за грибами. Понятия не имею, зачем им это было надо — в собирании грибов я аутсайдер. Я их не вижу. И когда я в очередной раз споткнулась о какой-то большой и, видимо, съедобный гриб, знакомые что-то прошипели про себя, а потом, с усилием вернув на лица хорошее воспитание, оставили меня на поляне, наказав куда ни шагу, а они пойдут окучивать окрестности.

В лесу было прозрачно и тихо. И на другой край поляны выскочил здоровый заяц, застыл на месте, узрев посторонний предмет, а потом сел и уставился на меня. Я курила, заяц смотрел, как мне показалось, с осуждением, но с интересом. Я не знаю, сколько живут зайцы. Но мне было приятно думать, что это тот самый, пойманный и отпущенный. А может, и не он. Но ему рассказали.

Мы сидели с зайцем метрах в десяти друг от друга и молчали. И нам было хорошо и спокойно. А рядом тихо стояла осень. Так что всего нас было трое.

Об одних женщинах

Одна женщина решительно отказалась стареть. И завела роман с одним морально шустрым начальником паспортного стола.

В угаре темной страсти начальник выписал ей новый паспорт с подкорректированным годом рождения. Минус девять от возраста. Женщина полгода чувствовала себя молодой и легкокрылой. Пока случайно не подслушала разговор кадровички с унылой теткой из канцелярии.



— Как по-разному выглядят люди, — сказала кадровичка. — Знаешь Тимкину, — ну Тимкина, отдел продаж, в очках ходит?.. Ей сорок два, а вот никогда столько не дашь. А эта, бухгалтерша новая, фифа с декольте до пула, по паспорту тридцать четыре, а с виду — все сорок!

— Генетика такая, с генетикой не всем везет, — согласилась тетка.

* * *

У второй женщины муж гений. Современники вот-вот дорастут.

В ожидании неминуемых лавров муж набирался творческих впечатлений и черпал вдохновение в походах налево, направо, конем и по диагонали.

Женщина организовывала быт и обеспечивала условия. Свекровь Юлия Ниловна не уставала объяснять ей, в чем состоит долг гениевой жены перед грядущими поколениями. Женщина очень старалась.

Юлия Ниловна даже хвалила ее. Скупое и редко, чтоб не баловать, но случилось.

Прошло двадцать лет, муж облысел, свекровь умерла, дети выросли.

Женщина наконец присела, перебрала папку с мужниным творчеством — три журнальных вырезки, одиннадцать газетных, перечитала, подумала до вечера и поняла, что все равно его не бросит, потому что кому он нужен, дурак такой, пропадет же, как пить дать пропадет.

* * *

Третья женщина просыпается рано, часов в шесть. Старается растянуть время, но в начале девятого не выдерживает, звонит дочке.

— Ты встала? Позавтракала? Что ты ела? Опять один кофе? Настюша, надо завтракать, до гастрита себя доведешь. Возьми с собой бутерброд, яблоко; яблоко вымой. Уже выезжаешь? Как приедешь, позвони мне, я волнуюсь, на дорогах бог весть что творится, обязательно позвони, сразу же.

В трубке слышно бурчанье недовольного зятя. А когда он был доволен.

Женщина садит в кресле с мобильником в руке и ждет.

8:50.

8:57.

8:59.

9:01.

Звонка нет.

9:02.

Дальше невозможно.

— Настенька, почему ты не звонишь? Только зашла? Я не пристаю, я просто хочу знать, что с тобой все в порядке. Хорошо-хорошо, не буду.

В десять женщина идет в магазин. В одиннадцать возвращается. Готовит обед. На двоих. А вдруг.

12:00.

13:00.

— Доченька, это я. Совещание? А обедать когда? Так нельзя, Настя, так нельзя. Все-все, отключаюсь. Позвони, когда закончится.

14:00.

16:00.

Сколько можно совещаться, они там что, с ума посходили?!

— Настенька, ну как ты? Занята? Для мамы можно было бы минуту найти. Я не плачу. Нет, не плачу. Я вообще ничего от тебя не хочу!

17:00.

18:00.

— Настюша, это мама. Ты еще на работе? Уже уходишь? В гости? Саше твоему лишь бы по гостям. Куда? Настя, это далеко, это через весь город. Знаю, что не



маленькая. Не начинаю. Ничего я не начинаю. Когда вернетесь? Поздно? Настя, я буду ждать твоего звонка.

21:00.

Сдалось им это отдельное жилье. Все зять, его идеи, задурил голову, влезли в долги, купили конуру у черта на куличках; спрашивается, зачем, если есть трехкомнатная квартира, район чистый, спокойный, живи и радуйся, нет же...

22:00. Телефон отключен.

22:30. Телефон отключен.

— ГАИ? Синий «ситроен», сейчас, сейчас найду номер... Не было? А у вас вся информация?

22:40. Телефон отключен.

— Приемный покой. Не поступали? Вы хорошо посмотрели? Проверьте еще раз! Нету?..

22:50. Телефон отключен.

Женщина надевает пальто, прямо на халат, нужно бежать, нужно бежать, боже мой, куда, где искать...

22:52.

Настя, что случилось? Почему ты не берешь трубку?! Ты меня до инфаркта доведешь! Уже дома? Ну хорошо, я знаю, что ты дома, — и мне спокойно. Сейчас спокойно. Утром позвони, слышишь? Обязательно позвони! Я буду ждать!

* * *

А четвертая женщина вышла замуж по ошибке. Из-за собственной деликатности.

В домарьяжный период поклонник обмолвился о наличии состоятельного родственника, а женщина постеснялась уточнить.

И вот в ЗАГСе без-пяти-минут-муж Абрамович представил невесте своего двоюродного дядю Абрамовича из Костромы, у дяди на вещевом рынке «Солнечный» аж целых два отсека (женское белье и купальники). А ресторан уже заказан и оплачен, а платье стоило немереных денег, а что люди скажут.

Но ничего, живут.

* * *

Подруги говорят пятой женщине: сколько можно, оглянись, посмотри, вокруг полно достойных, ну сколько можно, сколько можно быть одной.

Пятая женщина улыбается и отвечает: он же обещал.

Да мало ли что он там обещал, говорят подруги, ладно бы месяц, пусть год, но сколько ж можно, он уже и думать забыл.

Пятая женщина улыбается и отвечает: я же обещала.

Подруги уходят, вечером она перебирает то, что осталось от трех недель счастья — программка из оперного, маленький флакончик духов, шелковое кашне, четыре билета в кино, плюшевая собачка шоколадного цвета, наверно, эрдель.

Таковыми вечерами в пятистах километрах к северу один мужчина чувствует некое беспокойство, говорит жене: что-то мне не по себе, не простыл ли, на ночь выпью чаю с малиной, у нас еще осталось малиновое варенье?..

О дамах и джентльменах

Одна дама с гордостью носила бюст невыразимой пышности и красоты. А у другой дамы с бюстом было так себе. Бедненько. И тем не менее у нее был муж — непьющий, негулящий, зарабатывающий, да еще и с хорошим характером, за что это ей такое счастье, заразе, ни кожи ни рожи, без слез не глянешь, тьфу.

Дама с бюстом расценивала компенсационную политику, проводимую господом богом, как крайнюю несправедливую и страдающую явно выраженными перекосами не в ту сторону.



* * *

Один молодой человек волею судеб на целую неделю был отрезан от цивилизации — ни тебе сети, ни телевизора, ни вообще электричества. Мобильник не ловит, и сортир за сараем среди лопухов и крапивы.

В багажнике нашёлся непонятно как очутившийся там дамский роман из жизни английского высшего света. Роман, прочитанный от нечего делать, упал на необремененную литературой психику и произвел в ней переворот. Образ лорда Уэстхилла, сдержанно страдающего в просторных залах родового замка, где со стен сурово смотрят давно вымершие предки, стоял перед глазами как живой.

В итоге молодой человек решил стать джентльменом. Выдержанным не хуже двадцатипятилетнего виски Хайленд Парк. Пробираясь в сиреневых, пахнущих мятой сумерках к сортиру и споткнувшись о приبلудную кошку, он даже не огласил тихие окрестности смачной характеристикой кошачьих родителей, а только сказал:

— Что ж ты под ноги лезешь, глупая!

Быть джентльменом у него получилось еще полтора дня, до возвращения в город, где на первом же перекрестке его подрезала какая-то идиотка, кто только дурам права выдает, курица слепая, ты хоть по сторонам-то смотришь, мозги про-три, шалава.

Полегчало.

* * *

Один вдовствующий старичок решил жениться на молоденькой. Не на молодой, а на молоденькой.

Однако молоденькие носились по улицам табунами, сверкали загорелыми коленками, забывали поправить сползшую с точеного плеча тоненькую лябочку и за старичка замуж не спешили. А некоторые даже говорили обидные до слез слова.

Тогда старичок подумал и написал в правительство письмо на семи листах, в котором перечислил свои трудовые заслуги, посоветовал на катастрофическое падение нравов современной молодежи и предложил проект закона, направленного на исправление оных нравов. Закон гласил следующее: ежели какая молоденькая вышла замуж, потом развелась, не прожив в браке и трех лет, а затем снова засобирилась замуж и опять за молодого, то такое дело надобно пресекать на корню. А если ей так уж замуж невтерпеж, то пожалуйста — есть много людей достойного возраста, способных привить данной профурсетке правильные взгляды на моральные ценности.

Теперь старичок с нетерпением ждет ответа из правительства, время от времени отвлекаясь на разоблачение соседей, купивших себе новую машину, а на какие шиши, спрашивается.

О случайностях и предопределенностях

Сплетая судьбы, Тот-Кто-Наверху особо не заморачивается.

Например.

Новый дом, она на четвертом этаже, он на пятом. Он курит у себя на балконе, окурки вниз не бросает, но пепел стряхивает. А у них там такая роза ветров, что пепел аккуратно сносится на ее балкон, где борются за выживание лобелия, петунья, пеларгония, традесканция и что-то без названия, цветет сиреневеньким. И весь этот, казалось бы, неприхотливый растительный мир начинает незамедлительно хиреть.

Она идет к соседу, объясняет, просит, тот обещает, но потом выходит на балкон, задумывается, и на тебе — то, что с сиреневенькими цветочками, одним корнем уже в могиле.

В ярости она взлетает этажом выше, сосед открывает, глаза слезятся, нос заложен, хрипучим голосом недоповешенного удавленника сипит, нет ли у нее чего-нибудь от температуры, до аптеки ему не дойти.

Все, сплелось.



Позже выяснилось, что она свою флору не так поливала и не тем подкармливала.

Бывает занятнее.

В генеральную уборку она находит старую фотографию, средняя группа детсада, Дед Мороз, Снегурочка, на левом фланге помятая и зареванная лисичка, на правом одноухий зайчик, тоже нерадостный.

Следствие рассказанного зайчиком стишка: сторастетнаелкысыскидаиголкылаз-ноцветныесалынееластутнаелкы.

Передразнила. Подрались прямо по ходу утренника; в пассиве у нее хвост, у него — ухо.

И вот, сама не зная почему, она узнает в справочной зайчиков телефон и звонит ему.

Надо же, он отлично ее помнит. Решили встретиться. Кривляка-лисичка и картаво-шепелявый зайчик. Очень, очень симпатичная аспирантка биофака и байкер, разговаривающий бархатным и слегка грассирующим баритоном.

Теперь она с лету отличает Kawasaki Ninja от Kawasaki Monster Energy, он знает ареалы обитания жужелицы шагреновой и плавунца широчайшего.

У них и другие темы имеются.

Временами Тот-Кто-Наверху готовит «рагу по-ирландски»: бросает в котел все, до чего руки дотягиваются, и с интересом наблюдает, что получится в итоге.

Зубной техник Корнелюк влюбился в девушку Алесю. Алесе нравились мужчины героические, зубному технику не светило. Тогда Корнелюк выдал шрам на лбу, полученный в далеком детстве при падении с качелей, за след осколочного ранения.

Так, вскользь обмолвился, в детали не вдавался, не пришло еще время об этом рассказывать.

А дабы развеять сомнения недоверчивой Алеси, хитрый Корнелюк попросил школьного друга, экскаваторщика Леню, залжесвидетельствовать правдивость корнелюковской боевой биографии.

План такой: Корнелюк с Алесей в кафе, тут появляется Леня, мужчина внешне брутальный, осматривается и раскрывает объятья товарищу по оружию, Алеся, естественно, спрашивает, кто и откуда, Леня скупно роняет, мол, были в одной заварушке, спасибо Славке, на руках из-под огня вынес, но не время, нет, не время еще раскрывать государственные тайны.

Ну, ужинают, Лени нету, Корнелюк нервничает. Наконец в дверь робко протискивается Леня, мнетя у порога; Корнелюк отчаянно семафорит ему бровями, Леня в ступоре, тогда Корнелюк берет инициативу в свои руки и с воплем: «Ленька! Друг мой боевой! Сколько зим, сколько лет! Ну, здравствуй!» — бросается к другу своему боевому, на что окончательно увядший, красный и потный боевой друг отвечает неизвестно откуда взявшимся фальцетом: «Ты че? Здоровались уже», — и сбегает.

Стало очевидно: лицедейство — не Ленина стезя, вряд ли бы он прошел кастинг даже в сериал «Ефросинья».

Алеся хмыкает, вечер испорчен, и когда на остановке гопота отпускает шуточку насчет Алесиных ножек, расстроенный Корнелюк теряет инстинкт самосохранения и отважно устремляется к гопоте, поскальзывается на подмерзшей луже и падает. Не ожидавшая подобного напора гопота растерянно спрашивает у Алеси, чего это он у тебя нервный какой-то, дерганый, но переносит стонущего Корнелюка на лавку и вместе с Алесей дожидается приезда скорой.

Сложный перелом обеих берцовых костей, больница, операция. Из чувства долга Алеся приносит апельсины и внезапно и взаимно влюбляется в корнелюковского лечащего врача, хирурга С., — хирург вполне героическая профессия.

А соседа по палате навещает дочка Ирина, учительница, милая девушка; сначала они с Корнелюком переглядывались, потом как разговорились, остановиться не могут, хотя год уже после больницы прошел. А Леня тоже приезжал, со своей мамой, у нее коллега в кардиологии лежала. Леня до Корнелюка не дошел, его медсес-



тра Таня выгнала — без бахил вперся, он потом эту Таню дождался, с цветами, откуда только смелость и красноречие взялись.

А мама Лени наварила клюквенного морса и для коллеги, и для Корнелюка. Заодно корнелюковского соседа угостила, когда чашку протягивала, глянула на него повнимательнее — и узнала в небритом сердитом дядьке Юрку с факультета машиностроения, не очень-то он и изменился, развоспоминались, до сих пор вспоминают.

Тот-Кто-Наверху смеется. Затягивает узелки.

Сколько они будут держаться, — не от него зависит.

Об одной вселенной

Из детства Михалик вынес три воспоминания.

Как в третьем классе их повели в кино; там главный герой плавал среди коралловых рифов и разноцветных нездешних рыб.

Как в классе седьмом его позвала в гости Аня Швец: пили чай на кухне, Анина мама все подкладывала ему сливовое варенье в такое крохотное блюдце, называется розетка, слопал полбанки, не меньше, — за всю свою тринадцатилетнюю жизнь Михалик ничего вкуснее, чем это варенье с чаем в маленькой теплой кухне, не ел.

И как в десятом классе увидел по телевизору вручение Нобелевской премии по физике.

Остальное предпочел забыть.

Михалик окончил университет и устроился на работу в академический институт. Довольно скоро выяснилось, что институт не собирается бросать все наличные людские и материальные ресурсы на проверку и подтверждение идей, генерируемых Михаликом со скоростью пулемета Гатлинга. Директор так прямо и сказал: людям диссертации надо защищать, а не глупостями заниматься.

Михалик заскучал и ушел учить оболтусов физике. Оболтусы стонали и стенали, но знали — что-то, а физику они сдадут в любой вуз.

Директриса, глядя на отвратительно заполненные журналы, на отчеты, написанные в стиле «на, подавись!», возводила очи горе с немым вопросом «за что?», но вспоминала о конкурсе в старшие классы, возникшем после первого же михаликовского выпуска, о компьютерном классе, подаренном школе папой Бортника, о ремонте спортзала, бесплатно сделанном фирмой мамы Елисеева, вздыхала и собственноручно фальсифицировала необходимую информацию.

— Как ты с ним живешь?! Он бестолковый! — возмущаются подружки михаликовской жены Анюты. Она не спорит. Как еще назвать человека, отправленного покупать себе зимние ботинки и купившего вместо них поддельные швейцарские часы по цене настоящих. Противоударные, пылевлаговодонепроницаемые. Еще погружение до сорока пяти метров. Это при том, что в воде Михалик конкурирует с топором.

Михалик учителствует, репетиторствует и обдумывает устройство мироздания. Он мне как-то объяснял. Поняла союзы, предлоги и вводные предложения. Совершенно очевидно, что. Отсюда следует, что. Что и требуется доказать. И скоро будет доказано.

В этом году Михалик на репетиторствовал круглую сумму. Плюс гонорары за две статьи. Собирался купить машину, но бестолковый же — купил билеты на Мальдивы и улетел с женой на целый месяц. Взяв с собой противотуманные швейцарские часы, дабы протестировать их в полевых условиях.

Научился плавать неповторимым стилем и погружаться. Не на сорок пять метров, конечно, — так, поближе.

На трех метрах от поверхности часы дали течь и встали как вкопанные.

Поздними вечерами Михалик дискутирует с профессором N. из Калифорнийского университета. Анюта знает: если Михалик барабанит по клавиатуре и немзыкально бубнит себе под нос «когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки как овечки», — это значит, что прав профессор N.; а ежели поет про «клеши порваны»,



тельняшки сорваны, и грудь могучую омыла кровь», — то профессор Н. мало того что не прав, но и признал свою неправоту. Хотя и неохотно.

В кресле под старомодным торшером Анюта вяжет Михалику пуловер из шерсти осеннего цвета. Думает о том, что на рукава надо сразу же нашить кожаные заплатки, — Михалик протирает локти вмиг. Еще о том, что если сто лет назад одному скромному служащему патентного бюро удалось перевернуть мир, то почему это не должно получиться у одного скромного школьного учителя. А и не получится — не страшно, ее Михалик и без премий любимый. Бестолковый, правда.

Михалик выключает компьютер, фальшиво допевает «и тихой гавани им не видать», потягивается и идет на кухню ставить чай, по пути поцеловав Анюту в теплую макушку и взглянув на полку, где лежат почти швейцарские часы, показывающие точное время его встречи с рыбой-клоуном, рыбой-ангелом и улыбнувшейся дайверу Михалику рыбой-попугаем.

Об октябрьском

В воскресенье небо походило на рисунок из учебника географии: слева стояли облака кучевые, над дорогой плыли слоистые, на правом фланге высоко и невесомо парили перистые. Небо большое, места хватило всем.

Под облаками стая ворон целеустремленно летела на юго-запад. Я решила — переметнулись в перелетные и направляются в теплые страны. В Испанию, например. Знакомая давеча вернулась, рассказывала, в парке Гауди полно наших отечественных скворцов. Отчего бы и воронам не взрастить в себе чувство прекрасного.

Увы, через несколько километров выяснилось — никакой романтики с эстетикой, всего-то праздник обжорства: рядом с дорогой трактор распахивал бесконечное поле, за трактором было черным-черно от ворон, самая сообразительная нашла попутку, ехала на крыше кабины, лапы, чай, не казенные.

Мы притормозили, ворона глянула недовольно, дала понять — червяков на всех не хватит, нечего тут паялиться, проезжай и не задерживайся.

Утром понедельника грустный мужчина говорил в телефон: ты меня не узнаешь, Света, ты меня ни за что не узнаешь, я сам себя не узнаю.

Клены под окнами лысеют с макушки, береза просвечивает насквозь, липа пожелтела полностью, но держится. Дворничиха лениво машет метлой, порыв ветра — и труды ее напрасны. Дворничиха оглядывается, вздыхает и сообщает проходящему мимо раннему собачнику: все равно осень люблю. Собачник отстегивает поводок, маленький фокстерьер срывается с места и проносится сквозь высокую кучу листьев, не снижая скорости. Хозяин кричит:

— Томми, куда намылился, назад, — забыл, как вчера врзался? Томми! кому говорю!

Томми на полном ходу поворачивает, аж юзом идет, снова прошивает кучу и в прыжке пытается лизнуть хозяина в нос.

— Дурак ты, Томми, — говорит собачник, подхватывая песика на руки, — дурак ты мой глупенький, дурачок ты мой бестолковый.

Дома холодно, отопление когда-нибудь включают, но с каждым днем верится все меньше. Муж читает про экспедиции к полюсам и прочее белое безмолвие, не иначе как готовится. Сын погружен в итальянский неореализм, и ему не до учебы.

А я подхожу к зеркалу и тихо говорю неизвестно кому: «Ты меня ни за что не узнаешь».

Себе, наверно.

О черных глазах дракона

Дом у Тани полная чаша в смысле живности. Кошка, пес, две канарейки. От соседей-алкоголиков в поисках тепла и уюта захаживает мышь. Плюс сын, плюс муж, плюс свекровь, живущая через дом, но через дом ей скучно. Плюс с недавних пор потенциальная не-дай-бог-невестка Вика. Плюс тараканы, вольготно чувствующие себя в голове каждого насельника.

Помойное детство кошки Мамзельки не прошло даром, застарелые психотравмы оживают, Мамзелька мстит домашним тапкам. Удивительно, сколько мести помещается в кошке скромных размеров.

Пес Мартын не в силах понять, отчего ему приходится спать на коврике, а не на чистых простынях между обожаемыми хозяевами. Если упомянутые хозяева забывают запереть спальню, то Мартыну выпадает счастье, а хозяевам экстремальное пробуждение.

У безымянных канареек сбились биологические часы — днем молчат, ночью не заткнуть.

Мышь прогуливается по кухне, за ней доброжелательно наблюдают — канарейки из клетки, Мамзелька с подоконника, Мартын из прихожей. Никаких поползновений на свободу мышинной личности.

У себя в комнате сын Никита апгрейдит мотоцикл, не в подъезде ж оставлять, сопрут. По громкости Настоящий Мотоцикл должен равняться реактивному истребителю. Пока не достигнуто, но скоро, скоро.

Мужу врачи велели дышать свежим воздухом. Вместо прогулок по парковым аллеям доктор наук Лев Андреич увлекся охотой сам и увлек парочку профессоров. По выходным уезжает пугать фауну. Возвращается надышавшись и с пустыми руками. Изредка предьявляет наштигованную дробью тощую птичку, при этом ведет себя так, будто добыл мамонта.

Свекровь четверть века переживает на тему «Левушка мог бы выбрать и получше».

Не-дай-бог-невестка Вика — ну что тут скажешь, мог бы выбрать и получше.

Таня отправилась на рынок за новым плащом, вернулась с аквариумом и двумя золотыми рыбками. Рыбки простенькие, лупатенькие. Вообще-то Тане понравились другие, с дивным именем Глаз Дракона, невозможной красоты и возмутительной цены. Но и эти ничего, плавают, ничего не требуют, не возражают, всем довольны. Хоть кто-то.

На юбилей Льву Андреичу подарили лицензию на кабана. В пятницу муж с соратниками отправился убивать несчастное животное, сказал, чтоб не волновались, с ними будет настоящий егерь, завтра вернусь с кабанятиной.

А в субботу Таню вызвали на работу — разыскивать контейнер, отправленный из порта Фучжоу провинции Фуцзянь в порт Клайпеда, но по пути растворившийся в океанских просторах.

Свекровь сказала, что, конечно же, обед приготовит, хотя и не понимает женщин, у которых семья на последнем месте. Не-дай-бог-невестка Вика пообещала почистить аквариум, а сын Никита убрать свою тарактелку куда угодно, лишь бы отсюда.

После многочасовых переговоров с разноязычными диспетчерами контейнер был найден в чилийском порту Крус-Гранде. К этому моменту Таня прокляла саму идею морских перевозок.

Вернулась поздно. По виду правого тапка поняла — у Мамзельки опять нервный срыв.

Мартын радостно влзаивал и напрыгивал на хозяйку, оставляя на светлом Танином пальто следы немых после прогулки лап.

Свекровь сказала, все приготовлено, хотя полдня ушло на отдраивание кастрюль со сковородками, разве можно так запустить хозяйство.

Тут явился с охоты муж, замурзанный до изумления, как будто его долго полоскали в грязной луже. На невинный Танин вопрос, где кабанятина, взъярился, заорал, что и дома нет ему покоя, понимания и уважения, даже ногами затопал.

Свекровь сочла нужным заметить, что до женитьбы Левушка подобного поведения себе не позволял. И еще что-то про нервы, которые не железные. Не про Танины нервы.

Взревел мотоциклетный мотор. В стену застучали соседи.



Таня, не раздеваясь, прошла в гостиную и села перед аквариумом. В нем мирно дрейфовали две рыбки. Кверху брюхом.

— Татьяна Олеговна, — дрожащим голосом сказала из-за спины не-дай-бог-невестка Вика, — я, чтоб руки не портить, кремом их смазала, а рыбкам, наверно, не понравилось, я не хотела, честное слово!

— Не наверно, а точно, — сказала Таня. И добавила, глядя на столпившихся в дверях домашних: — Как же вы мне осточертели! Все! Видеть вас не могу!

Схватила сумочку и ушла.

Бесцельно бродила по безлюдным улицам. Мимо парка, где первокурсник истфака Левка собрал ей букет из кленовых листьев. Мимо больницы, где родился Никита, самый симпатичный в палате, прочие младенцы красные, лысые, а Никита с густой шевелюрой, длинными ресницами и аккуратными, будто нарисованными бровями, как с плаката про счастливое материнство. Ходила, пока ноги не начали отказывать. Домой пришла в шесть утра, свет не включала, легла в гостиную, укрывшись покрывалом с дивана, и уснула. И проспала до обеда, как убитая.

Проснулась оттого, что кто-то засопел в ухо. Мартын сидел на полу, смотрел преданно, увидел, что Таня открыла глаза, и лизнул ее в щеку. Под боком притулилась Мамзелька. У дивана стояли тапки — красивые, из овчины, с вышивкой.

В гостиную заглянул сын, сказал:

— Ну как, подошли? Самые теплые. Мать, я с дворником договорился, байк в дворничью поставил, не сердись, ладно?

Пришел муж, сел рядом:

— Танечка, прости, с кабаном этакая несуразица. Маркевича на елку загнал, Игорь Петрович ружье бросил, чтоб бежать легче было, я в болото сиганул, спасался. А егерь этот хваленый ржал как лошадь. И сразу, и потом, когда Маркевича с елки снимали. Бог с ним, да и кабан пусть живет и жизни радуется. Вставай, мама пирожков напекла, я чайник сейчас поставлю.

Свекровь сказала:

— Танюша, характер у меня тяжелый, всегда такой был, но ты же знаешь, я за вас умру, за Никитку, за тебя с Левушкой.

В дверь позвонили, Таня открыла. На пороге стояла не-дай-бог-невестка Вика, держала целлофановый пакет, в котором плавала рыбка Глаз Дракона, бархатного черного цвета с темно-синим отливом.

— Господи, это мне? Она ж дорогая! Зачем?

— Я стипендию получила. Зачем? А затем, что я его люблю! Я вам не нравлюсь, а все равно его люблю! — сказала Вика и заплакала.

Потом пили чай. С пирожками. Разговаривали. Смеялись. Таня, Лев Андреич, Анна Петровна, Вика, Никита. Мамзелька на подоконнике. Мартын под столом. Канарейки в клетке.

Из-под мойки выглянула соседская мышь. Ей покрошили печенья и положили кусочек сыра.

О преданиях Мордора

В одной конторе был IT-отдел, а в нем семь человек — все молодые, холостые-незамужние, все окончили один и тот же факультет с разницей в год-два, все толковые, но не без ветра в голове, что в их возрасте не только допустимо, но даже необходимо для всестороннего развития личности.

Двоих из семи еще в институте обратили в толкиенисты, и они быстренько охмурили остальных. Правда, пришлось долго убеждать программистку Свету, что хоть имя Друсилия ей и не нравится, но для приличной эльфийки всяко лучше, чем Пантагроэль.

Короче, на выходные намечена ролевая игра, в пять вечера пятницы должен подъехать приятель с микроавтобусом для доставки трех эльфов, двух гномов, одного хоббита и одного человека на место назначения.



В четыре прискакали из планового отдела с переходящими в ультразвук воплями «чего вы там запрограммировали своими кривыми мозгами, что у нас все ляснулось?! нам же премию из-за вас, остолопов, срежут!». Все семеро вздохнули, вспомнили, что дурак отличается от преступника только непредсказуемостью действий, сказали об этом вслух, окончательно испортив отношения с плановым отделом, но куда ж ты денешься — надо править. А с поляны звонят: где вы застряли, приятель и микроавтобус нервничают, плановый отдел причитает над загубленной премией, как над покойником, и все сильно не любят друг друга.

К шести исправили, еще час на тестирование. Программистка Света сказала: давайте, мол, сразу переоденемся, чтоб как только доедем — сразу включиться.

В семь завершили, откачали плановый отдел и побежали, шурша развевающими плащами, бряцая мечами и позванивая кольчугами, причем в коридоре чуть не смели двух бельгийских буржуев. Господа Лемменс и Вербрюгген, вынужденные отступить от привычного здорового образа жизни по случаю подписания контракта, до сих пор уверены, что последние пять рюмочек были лишними.

Ну ладно. Загрузились, стараясь не прислушиваться к озверевшему от ожидания приятелю, и поехали. Ехали, ехали, а на полпути автобусик зачихал и стал намертво. Начали копать в автомобильных внутренностях и давать умные советы, от которых водитель потерял дар даже матерной речи. Выяснилось, что следует что-то там открутить, прочистить и прикрутить, но нечем. Надо останавливать какую-нибудь машину, дорожное братство, то-се.

А машины не останавливаются, хоть плачь, потому как смеркается, лес с двух сторон, ветер в соснах и на дороге машет руками куча странно одетых людей, причем один из них призывно размахивает мечом. Хорошо если просто сумасшедшие, но выяснять как-то не хочется.

Тогда программистка Света сказала:

— А давайте мы с Катей отойдем за поворот, тут же метров пятьдесят, и попробуем тормознуть кого-нибудь. Девушкам точно не откажут.

И была права. Не успели руку поднять, как рядом затормозил БМВ с двумя мужиками, стекло поползло вниз, из окна высунулся усатый тип:

— Девочки, вам куда? — но тут рассмотрел их получше и удивился: — А что это вы так одеты?

Света — в бледно-зеленом, расшитом серебряной нитью длинном платье с серебряным же кушаком и Катя — в легинсах и кожаной тунике, чуть ли не хором ответили:

— Это у нас ролевая игра!

На что мужик хмыкнул и сказал:

— Ага, вон оно как. Конкуренция пробуждает инициативу. Во, Игореша, принимай затейниц! Но, девочки, никакой предоплаты, только по факту. Лезьте, что стали, давай-давай, шевелись! Тебя как зовут-то?

Света дрожащим голосом проблеяла:

— Друсилия!

— Ишь ты, — восхитился мужик, — раньше все Анжелики да Кристины, а тут на тебе — Друсилия.

— Послушайте, — возмутилась Катя, — за кого вы нас принимаете!

Мужик сказал — за кого. И добавил, что, мол, давайте-ка по-хорошему, а то можно и по-плохому. И начал выбираться из машины.

Барышни заорали в унисон. А когда вопль стих, послышался топот с непонятным лязгом. Как будто несколько человек бежали, держа в руках жестяные ведра с гайками. Из-за поворота выскочили два эльфа с луками, два гнома в кольчугах и с секирами, один человек с мечом и тоже при кольчуге и шофер в клетчатых шортах и с монтировкой, миглом оценили ситуацию и ускорились, дабы надолго отбить охоту к дорожным приключениям. А то и вообще охоту.

Благо, что БМВ — резвая машина. Старт с места — прям как у гепарда.



В общем-то, все закончилось хорошо. Через десять минут остановилась фура, два веселых дальнбойщика в четыре руки что-то там наколдовали, автобусик запыхтел; доехали без эксцессов, игра прошла прекрасно. И только господин Вербрюгген осторожно поинтересовался в понедельник у референта Лидии Петровны, не заметила ли она чего-нибудь странного вечером пятницы. Лидия Петровна, которой пришлось организовывать доставку тел господ Лемменса и Вербрюнгена в отель, со злобой подумала про «пить надо меньше», ласково улыбнулась и сказала:

— Что вы, господин Вербрюгген, что странного может произойти в обычном офисе!

О химии и жизни

Одна девушка хочет замуж.

Вон за того, в сером свитере, лохматого, с вихром на макушке, сидящего на подоконнике рядом с аудиторией № 408 главного корпуса.

Она подходит к нему; погляди, говорит он, — она смотрит: на мокром асфальте желтые листья, слетевшие с лип. Отсюда, с четвертого этажа, асфальт кажется черным ситцем в веселый желтый горошек. Здорово, говорит он, — нравится? И тут к ним бросается Лина Малейко из ее группы, хватает ее за руку и тащит в сторону, чтоб взхлеб нести какую-то ахинею.

Они на разных потоках, почти не видятся, разве что в перерывах. И она хочет за него замуж.

Однажды вечером она спрашивает: мама, если б тебе кто-нибудь понравился, ну, в молодости, а он этого не понимал, ты сказала бы ему сама? Мама фыркает: ни за что, я про гордость не забывала, да ты никак влюбилась. Вот еще, смеется она, это так, для накопления знаний.

На втором курсе Малейко осознает свое предназначение: охмурить всех и каждого, — доходит дело и до него. Через неделю рассказывает: нет, девы, неперспективно, — живет в хрущевке, родители пенсионеры, сам копейки всю жизнь будет зарабатывать, родители древние, ничем не помогут, и горшки потом за старичьем выносить, нет, не для меня.

Она понимает, Малейко права, права, но хочет за него замуж. А еще — вцепиться Малейко в крашенные патлы.

Потом у нее черед романов, она красива и мила, от поклонников нет отбоя; романы длятся неделю, месяц, три, пока в вестибюле или в библиотеке или у деканата она не сталкивается с ним, и он улыбается и говорит: привет, как дела.

К выпускному покупают роскошное платье и босоножки, Италия. В зеркале невозможная красавица, перед зеркалом она же. Босоножки, Италия, ни с того ни с сего натирают ногу, до крови, она хромает к выходу, и тут ее подхватывают на руки, доносят до скамейки, где красота, там и жертвы, подожди, за углом аптека, я мигом. Возвращается с пластырем, йодом и салфетками, берет ступню в теплые ладони, осторожно протирает ранку, мажет йодом, она морщится; что, сильно щиплет, потерпи, говорит он, давай подую, в детстве помогало — и сейчас поможет.

Прибегают Малейко и Аня Бортник, — полчаса тебя ищем, давай, мы завкафедрой поздравляем, давай, ты что, забыла, ты ж ему стихи читаешь!

На крыльце она оборачивается, машет ему рукой, хочет сказать, что это ненадолго, сколько там тех стихов, пять минут. А он просто смотрит.

И она хочет за него замуж.

Завкафедрой расчувствовался до слез, развоспоминался, пять минут растянулись на час; она спускается вниз, на скамейке сидит полосатый кот, смотрит янтарными глазами, больше никого, пусто.

Через год она выходит замуж за очень хорошего человека.

Проходит еще много лет. Она живет в другом городе, другой стране, с другой стороны земного шара. У нее замечательный, любящий муж и чудесные дети. С однокурсниками не общается, нет желания.

Изредка ей пишет Малейко, порхающая из замужа в замуж, реализующая девиз «каждый новый брак должен быть повышением статуса», но пик уже пройден.

Она его почти не вспоминает. Разве что заметит на улице, в парке, в торговом центре лохматый русский затылок с торчащим на макушке вихром. И тогда вздрагивает и на долю секунды останавливается сердце.

О хорошем отношении к лошадям

В работе случаются недели перманентного дурдома. Валится все, что может и не может свалиться.

Сидишь одновременно в трех англоязычных чатах. В первом объясняешь шри-ману N, что, несмотря на глобальное потепление и мировой экономический кризис, дважды два по-прежнему четыре; во втором вместе с мсье NN инвестируешь неинвестируемое; в третьем отбиваешься от мистера NNN, который верит в самозарождение данных по телепатическому сигналу, транслируемому непосредственно из мозга самого мистера NNN. Желает адской сковородки либо всем господам, либо себе, неважно кому, лишь бы оказаться в разных мирах — и чтоб никакой связи между этими мирами.

И тут звонит В., которая между фитнесом и сауной прошла тест в каком-то журнале и выяснила, что она арабский скакун. Быстрый как ветер. То ли легкогri-вый, то ли стремительно-копытный, как-то так. Сейчас она зачитает мне все девять вопросов, и я наконец-то пойму, какая я лошадь.

Чем ты так занята, что говорить не можешь, да брось, как будто я не работала, ты просто не умеешь планировать свое время!

В. лет десять раскладывала «косынку» в некоей конторе и знает о работе все.

Зачем мне тест, я и так знаю. Не шибко удачный гибрид рысака и першерона. Вся в мыле, теряю подковы, сбиваю копыта. Скачу с громыхающей сзади груженной телегой. И не убежать.

О сложностях совместного проживания

На одну девушку, Люсю, не так посмотрел ее муж. Сложно объяснить, как именно, но не так.

Муж уехал на работу, а Люся бросилась в Интернет, как Катерина в Волгу. В отличие от Волги Интернет кишмя кишит специалистами по склеиванию треснувшего.

Через два часа вынырнула, вся в полезных советах. От «не обращай внимания, куда он денется» до «гони козла поганой метлой». Где-то посреди шкалы разместился романтический ужин в эротическом белье.

— С феромонами, — гордо сказала продавщица.

— Так не пахнет же, — удивилась Люся.

— Кому надо, учует!

На эротическое белье ухнул аванс плюс немножко в долг. Романтика с эротикой была назначена на среду.

Муж притащился в одиннадцать вечера, глянул на выскочившую в прихожую Люсю (дивный прозрачный пеньюарчик, чулки с кружевными подвязками) и сказал:

— Что, отопление включили? Нет? Ты б оделась, простудишься.

Люся убедилась, что в прихожей темно, не рассмотрел, поправила локоны, подкрасила губы и, подхватив поднос с шампанским, бокалами и красиво уложенными на тарелке канapé, отрепетированной сладострастной походкой вошла в гостиную.

Муж сидя спал на диване, в одной руке полбатона, в другой — кусок краковской колбасы.

У Люси мягкий характер. Другая бы убила. Или как была — в пеньюаре, подвязках и рыданьях — ускакала бы к маме. Предварительно убив. А Люся лишь скрипнула зубами и ринулась пытать Интернет, заливая печаль шампанским. Отзывчивый Интернет наотвечал всякого разного, с большим отрывом победило «оживить увядшие чувства ревностью».



Можно было, конечно, позвонить по некоторым оставшимся от девичества телефонам. Но это встречаться, разговаривать, реанимировать, раздуть давно угасшее, а время не ждет. И умная Люся взяла отгул, завела почтовый ящик на имя Максима Троекурова, владельца агентства недвижимости, высокого брюнета с голубыми глазами и легкой небритостью на мужественном лице, и приступила к оживлению.

— Добрый вечер, Людмила! — писал Максим Троекуров, поигрывая желваками на загорелых скулах. — С тех пор, как я увидел вас, из моей души ушел покой, я думаю о вас ежечасно, ежеминутно, спрашиваю небо, за что мне такое счастье — знать, что вы есть, и за что такое горе — осознавать недостижимость этого счастья.

— Я сижу у камина, — продолжал Максим Троекуров, — рядом мой пес, он чувствует мою боль, тычется носом в ладонь, желая приободрить, понимает, хозяйну не до него, и устраивается у моих ног. Мы оба смотрим на веселое пламя, пес засыпает, а я слушаю, как стучат ветки ореха в окно, пью крепкий виски и не пьянею. Где найти такое зелье, чтобы забыть вас, Людмила?

В этом месте Люся всхлипнула. Потом еще дописала про свою легкую походку, милую улыбку и глаза с искорками смеха в них — все это каждую ночь снится глубоко страдающему Максиму Троекурову. Закончила изящным пассажем про надежду, которая теплится в раненом сердце, и кликнула по «отправить». И оставила включенный ноутбук с открытой почтой на кухонном столе.

Муж пришел поздно, сразу рванул на кухню, загремел кастрюлями, потом крикнул:

— Люсь! Тут у тебя письмо какое-то. Можно закрыть? Хочу счет посмотреть, чувствую, продули.

— Ах, — сказала Люся, искусно смутившись, — представляешь, влюбился, письмами забрасывает, приличный человек, недвижимостью занимается, дом за городом, все такое.

— Орех ему в окно стучит! — возмутился муж. — С этими заказчиками сладу нет. Ну кто, кто сажает орех у стены? Он же корнями под фундамент пойдет! А потом претензии — не так строили, стену повело. Тьфу! А еще чего поесть найдется?

За два последующих дня Люся залила слезами пять форумов. Интернет хором сказал — ничем мерзавца не проймешь, развод.

В пятницу муж пришел вообще ночью. И нетрезв. Заглянул в спальню, спросил, — спишь?.. ну спи, спи. И улегся на диване. И захрапел наглым храпом.

В раздумьях о рухнувшей жизни Люся уснула только под утро. Когда проснулась, мужа не было.

Ну что ж.

Люся злобно удалила троєкуровское письмо, потому что все они, сволочи, одинаковы, и начала собирать вещи.

В двенадцать в дверь позвонили. Заплаканная, но решительная Люся открыла. На пороге стоял муж, груженный какими-то пакетами.

— Люсь, у тебя глаза красные, аллергия? Счас разгрузюсь, в аптеку схожу. Люсь, мы вчера проект сдали, все подписано, будет самый красивый квартал в городе! А давай съездим, покажу, где построят, давай? Только товарища одного надо устроить. Ждал, пока подрастет, совсем мелких брать нельзя. Я ему тут всего закупил, по списку, все, что надо.

Вытащил из-за пазухи маленького серого котика и поставил на пол. Котик посмотрел на Люсю голубыми троєкуровскими глазами, сказал «мяв», — и сделал лужу.

— По документам Максимилиан. Будем звать Максик.

Р. S. И все у них замечательно. Разве что с эротическим бельем пролет. В первый же день Максик забрался в приоткрытый ящик комода, где белье ждало своего звездного часа, и всласть над ним надругался. Над бельем. Комоду тоже перепало. Вероятно, это были кошачьи феромоны.

Р. P. S. Люся воспитывает Максика самостоятельно, с Интернетом не советуется.

О Лосе и прочих

После весенних каникул Лось, Бобров и Русак одновременно и ни с того ни с сего влюбились в отличницу Ирочку. Ирочка как Ирочка, ничего особенного, так, тоненькая, нос в веснушках, коса, не сравнить с Федотовой, красавицей, а вот поди ж ты.

От любви Бобров начал учиться как ненормальный, хотел за два месяца наверстать упущенное за два года. Русак учебу забросил, зато приобрел вид задумчивый и отстраненный и на родительские призывы к разуму не реагировал.

А Лось заиграл в футбол как бог. Как Марадона. Физрук ахал, хватался за сердце, орал, где ж ты, такой-сякой, раньше был, мы б не то что район, мы бы область поврвали!

На выпускном Ирочка сказала Русаку, а чуть позже Боброву, что ей не до романов, но останемся друзьями. Лось объяснить не решился.

Ирочка поступила в медицинский, Бобров в университет, на химфак, Русак, к ужасу родителей, вместо политеха пошел в ПТУ.

А Лося физрук повез в город, к институтскому приятелю, ныне помощнику главного тренера. Помощник, после долгих телефонных уговоров согласившийся глянуть на Лося, сперва стоял с недовольным видом, потом с открытым ртом, а затем бросился обнимать физрука, выкрикивая неприличное, но в положительном смысле.

Лося взяли во второй состав. Главный тренер говорил, что можно и сразу в основной, но пусть ребята присмотрятся, привыкнут.

На свой первый матч Лось пригласил Ирочку, Боброва и Русака. Ирочка думала о том, успеет ли подготовиться к завтрашней гистологии. Бобров о том, что Лось будто замедлил время для всех, кроме себя: они по полю на четвертой автомобильной скорости, а он — на первой космической. А Русак размышлял, почему он не Лось, и расстраивался.

Через неделю на тренировке Лось в невозможно красивом подкате выбивал мяч, и на ногу ему рухнул Вадик Тумаш, нападающий. Коленный сустав собирали по кусочкам, больницы, операции, тоска. Ирочка, Бобров и Русак приходили навеситить, но Лось никого не хотел видеть. Они еще пару раз попытались, с тем же результатом; не хочет так не хочет.

Перед Новым годом помощник тренера принес мандарины, шоколадку и объяснил, что у них не богадельня. В марте Лось ухромал из очередной больницы неизвестно куда.

В прошлом году красавица Федотова вспомнила про двадцатилетие школьного выпуска, нашла почти всех, сбор назначили на май. Некоторые не смогли выбраться, но из тридцати человек двадцать три приехали: крепкая троечница Купревич аж из Австралии, Манько Витя из Хабаровска, Саша Гордин из Канады...

Никто не умер, никто не спился, красавица Федотова стала еще ослепительнее, хотя, казалось бы, куда уж краше.

Когда фотографировались на крыльце школы, во двор вплыл нехарактерный для городка черный «порш», водитель выскочил, открыл дверь, и из машины, опираясь на трость, вылез Лось в таком костюме, что знающая толк в моде и ценах Федотова обомлела. На вопросы, где пропадал, чем занимаешься и про семью, Лось отвечал туманно, но, ежели судить по машине и костюму, точно не пропал. В ресторан со всеми не пошел, сослался на дела и отбыл.

От городка до города два часа езды и еще минут двадцать до поселка, где живет известный в недавнем прошлом футболист Вадик Тумаш.

— Останешься? — спросил Вадик. — Нет? Сейчас Мише скажу, он тебя отвезет. Хоть до вокзала довезет! Ну... как знаешь.

Лось переделся в свое, чуть было не забыл вернуть трость, позаимствованную у Вадикова тестя, — хорошо, опомнился у ворот, вернулся за своей палкой.



Ехал на автобусе, потом на электричке, потом ковылял пешком три километра до своей сторожки на базе отдыха, думал, что Ирочка осталась Ирочкой, что кандидат наук Бобров отрастил пузо, а у начальника цеха Русака лысина на полголовы, но все узнаваемы. Даже Вадик, отводящий при разговоре глаза. Как тогда, двадцать лет назад, когда место в основном составе было одно, а с появлением Лося кандидатов на это место стало два.

Ирочка, Ирина Викторовна, думала о том, что у Степки плохо с английским, нужен репетитор, что Лось — прям олигарх, загорелый, куда там олигархи весной летают, на Мальдивы какие-нибудь... интересно, какая у него жена или подруга, наверно, соответствует машине и костюму.

Бобров думал, что надо худеть и что сейчас его совесть спокойна, у Лося вон как все сложилось, всем на зависть.

А Русак размышлял о том, почему он не Лось, и расстраивался.

Об услышанном-подслушанном

Я люблю слушать чужие разговоры. Оно вроде бы и неприлично, но уж больно занятно. Грех не услышать.

В магазине, в колбасном отделе, малышка детсадовского возраста маме:

— Мам, ну мам, тут скучно, пойдем в конфеты, будем радоваться!

На рынке, у прилавка с крольчатинной, покупательница:

— Покажите! А с другой стороны покажите! Да у меня кот толще, чем ваш кролик! И больше!

Продавщица, меланхолично:

— И на вкус, наверно, лучше.

В книжном, молодой человек:

— У вас есть монография, какой-то стресс и язвенная болезнь в желтой обложке? Нету? Блин! А «Камасутра» есть?

Две анорексичные девицы у витрины с пирожными:

— Они специально едят меньше калорий, специально!

Две дамы на остановке:

— А что она удивляется, что увели. На нем же написано, на лбу крупно написано — уведите меня, я уводимый! И взгляд как у щеночка.

Начало седьмого утра, город пуст. Таксист:

— Хотите, покажу вам полицейский разворот?

Я:

— Нет, ни в коем случае!

Таксист:

— Жаль, вы многое теряете.

На рынке. Грузчик, прикативший тележку с куриями, смотрит на этих курей с грустью и говорит продавщице:

— Тоже думали, что жизнь вечная, а оно вон как.

Две девицы в троллейбусе, над одним конспектом.

— ... и вступил с ней в морганатический брак.

— Че, извращенец?

Две интеллигентного вида дамы.

— Ну не скажи, он цельный человек, такой монолитный, без перверсий. И на работе сволочь, и дома сволочь.



В аптеке. Пожилой дядька читает аннотацию к лекарству, морщит лоб, шевелит губами, потом в сердцах говорит провизорше:

— Понапишут ерунды! Вы мне своими словами скажите, я жить за такие деньги буду?

В подземном переходе тетка с корзинкой, в корзинке три котенка.

Убеждает потенциальную котовладелицу.

— Врать не буду — не породистый. И не нужна никому эта породистость. Был у меня муж породистый, кобель кобелем.

В магазине дородная дама спрашивает у продавщицы:

— Девушка, у вас есть обжимающее белье?

Мальчик лет семи с черным котом в шлейке и на поводке, кот жаждет завести близкое знакомство с гуляющими в траве скворцами, и мальчик говорит ему:

— Джульбарс, нельзя, это свои!

В троллейбусе, контролерша:

— У кого нету проездных документов — прокляну!

В регистратуре поликлиники мужик кричит в телефон:

— Что мне ему сказать? Что болит сказать? А что у меня болит?

Спрашиваю на рынке.

— Мандарины сочные?

Мрачная продавщица:

— Не советую, кислятина.

— А груши как?

— Каменные. Про персики не спрашивайте.

— А что ж у вас тогда есть хорошего?

— Кроме меня — ничего.

Громогласная тетка с выбивающимися из-под берета пружинными кудрями, в телефон, громко:

— Скажи ей, пусть положит на место!.. Строгим голосом скажи!.. Ну так отбери!.. Конечно, отдавать не хочет. Не бойся! Ты мужчина или кто?.. Отбери, пока не поздно!.. Ну отвлеки чем-нибудь и отбери!.. Я должна придумывать, как отвлечь твою собаку от твоих ботинок?..

Здоровенный распаренный мужик в расстегнутой куртке, хрипловатым тено-рочком:

— Уже еду. К Сашке заходил. Тещу его переехали. . . Да не в больницу! К сыну она переезжает, вещи грузили. . . Не радуется. Говорит, опять всухомятку жить будем.

Играют две девочки лет семи. Одна говорит другой:

— Давай я буду красавица, а ты просто так.

Соседка выговаривает нашему алкоголику:

— Вова, ты допился до того, что на человека не похож! Ты как растение! Ты даже сериалы не смотришь!

В соседнем подъезде снимает квартиру молодая пара. Приезжает мужчина, выходит из своей машины, ждет, через минуту на другой машине приезжает девушка, он помогает ей выйти, идут к подъезду, здороваются с бабулями на лавочке. Пожилая тетка, такое «Что? Где? Когда?» дворового масштаба, расплывается сахарным сиропом:



— И жена у вас такая модная, такая красивая, и машину водит, умница такая!
 Пара вымученно улыбается, заходит в подъезд, дверь захлопывается, тетка, не меня интонации ни на йоту, так же сладко:

— Две машины на семью, понапились народной крови, спекулянты!

Трое молодых людей:

— А она такая мне говорит, типа успокаивает, — ты не бойся, говорит, я тебя из армии дождусь. Хрен они меня теперь из армии выгонят!

Две дамы под тридцать:

— После кафе приходим к нему, он мне заявляет: ты вроде как инженер, посмотри, что у меня там с розеткой на кухне, а то электрика лень вызывать.

— И что, починила?

— Починила. Так этот козел спрашивает, а в сантехнике ты тоже разбираешься, бачок у него в туалете течет.

— А ты что?

— А что я. Дверью бабахнула, ушла. Пусть с сантехником любовь крутит!

Утром в троллейбусе солидный мужчина руководит домашними по телефону.

— В комодке смотрели?! — спрашивает раскатистым басом и ждет ответа.

Троллейбус с интересом слушает.

— А в другом ящике?!.. А в шкафчике?!.. А под выхухолью?!

Дама раздраженно говорит по телефону:

— Что ты плачешь?! Он у тебя как хронический насморк — ушел, но все равно вернется!

Девушка на остановке подружке:

— Его зовут так странно — Петр!

В супермаркете пожилой дядька у витрины с лягушачьими ляпками и прочей экзотикой продавщице:

— Нет, спасибо, ничего не надо, смотрю, кто ж такое купит. Покупают, говорите? И даже едят?!

Старушки из нашего подъезда.

— И не спорьте, Вера Дмитриевна, Саркози — очень интересный мужчина, а с женой ему не повезло, прошмандовка какая-то.

Местные дворники.

— Я этой гниде с седьмого этажа так и сказала: вот вы из себя все интеллигенцию корчите, а на ваш мусор глянешь, так сразу понятно — вам до интеллигенции, как мне до луны!

Толстый дядька в дорогом костюме, при портфеле, по мобильнику:

— Люда, вызови сантехника, я в унитазах не разбираюсь! И разбираться не собираюсь! Люда, я занят! Люда, в сантехниках я тоже не разбираюсь! Ну так к соседям сходи! Или к магазину — там платный туалет есть!

Мальчишки лет семи-восьми:

— Я буду терминатором, а бабушка говорит, что это как антихристом. Если я буду терминатором, то она от меня откажется.

— А ты на улице терминатором, а дома — кем бабушка хочет!

Старушка строго выговаривает другой старушке:

— Вы, Полина Ивановна, сначала очки оденьте, а потом уже кокетничайте.



Мужик в подпитии, громко в телефон:
— Уже еду. Не встречай меня. Ты расстроишься.

Две старушки:
— У меня в молодости такие кудрявые волосы были, такие кудрявые, все заматривались. Посмотри, Зина, на затылке еще видно.

Компания слегка подвыпивших дам предпенсионного возраста.
— Девчонки, а потом позвоним Михневичу и будем в трубку хихикать!

Совсем старенький, но бодренький дедок в троллейбусе, сам себе:
— И куда это я еду? Там уже нет ничего.

Трое мальчишек-подростков:
— Кристина — дура! Ну и что, что некрасивая?! Все равно дура!

В магазине, взъерошенная тетка с чеком в руках кассирше:
— Что вы мне тут насчитали? Вот это что? Какой творог? Я творога вообще не ем! Я его случайно в корзину сунула!

В маршрутке рядом со мной интеллигентная бабушка с внуком лет шести. Внук системы «шило в попе» — мне:
— Хотите, я вам стишок расскажу?
Бабушка, в ужасе:
— Николаша, тот стишок нельзя рассказывать!

Ухоженной даме в роскошной шубе либо сесть рядом с бомжеватого вида гражданином, либо стоять. Дама нацелилась ехать стоя, но тут вступает водитель:
— Женщина, или сели, или вышли!
Дама фыркает, но пристраивается на самый краешек сиденья, стараясь не коснуться соседа. Тот поворачивается, долго смотрит на нее и говорит:
— Какие у вас красивые глаза!
Дама смущается:
— Ну что вы, глаза как глаза.
Но садитесь поосновательнее.
— Не-е-е, редкие глаза. Эх, девушка, был бы я — не я, а другой, закружил бы вас!

Собаководитель едет и держит здорового добермана, рвущегося к мелкой шавочке:
— Грей, придунок, куда, она нам не пара!

Три студентки:
— Я билет вытянула, а он на меня смотрит, смотрит, как зверь, как будто я что-то знаю!

Мальчик лет восьми по телефону:
— Мама! Ты только не смейся, я ключи потерял!

В троллейбусе сажу напротив старичка, смотрим в окно; за окном упитанный бегун трусцой поскальзывается и смачно шлепается на пятую точку прямо в лужу. Старичок — мне, философски:
— Они думают, спорт — это здоровье.

Трое мальчишек лет шести. Один, в сползающей на глаза заячьей ушанке, с восторгом:



— Я вчера в сугроб зарылся! С головою! Мама целый час меня искала! В другом сугробе!

Две дамы, одна в хорошей шубе до пят, вторая уже и потрогала, и пощупала эту шубу, разве что не облизала.

Дама в шубе:

— Я говорю — ты меня встреть, переулочек темный, а он мне — кто на тебя польстится. Я ему — на меня, может, и не польстятся, а шубой не побрезгают! А он мне — ты сверху на шубу халат набрось! И не встретил!

Мужик в гастрономе, в тележке три бутылки водки. Заметил, что я смотрю на этот продуктовый набор:

— О! Сладенькое забыл! — и взял с полки самую маленькую шоколадку.

В обувной мастерской приемщица стоящей передо мной тетке:

— Если туфли погрызла собака — это не гарантийный случай!

— До вашего ремонта она ничего не грызла! Вы их чем-то намазали! Я пойду в общество защиты потребителей!

Две барышни старшего школьного возраста:

— Знаешь, куда он поступать будет? Там вообще никакого конкурса, там с улицы людей заманивают!

Дама по телефону, очень громко:

— Я не виновата, что ты не слышишь! Я уже так кричу, что мне скорую скоро вызовут! Да не тебе, мне вызовут! Ничего не болит! У меня ничего не болит!

В отделе электротоваров пожилая дама продавцу:

— Извините, мне кажется или у этого торшера действительно развратный вид?

В магазине, в винном отделе, у полок высшей ценовой категории бомжеватого вида дядька другому, такому же:

— Юра, глянь своими глазами, это что, оно столько стоит?! За ноль семьдесят пять столько?! Это ж как надо выпить любить!

Двое подростков, лет шестнадцати:

— Не, скукотень, как он эту старуху топором пришиб, сразу понятно стало, кто убийца, че там дальше читать, если все понятно.

Дама, по телефону:

— Посохли помидоры, посохли, говорю! И огурцов нету — смыло огурцы!

На остановке тетка надывается в телефон:

— Миша! В холодильнике! В холодильнике суп! Ты слышишь меня?! Миша! В холодильнике! Я тебе не есть говорила! Вылить! Вылить надо было!

В магазине поймали подвыпившего гражданина: за две бутылки пива он заплатил, а пачку печенья сунул в карман; гражданин активно защищается:

— В стране бардак, а вам плевать, вам печенье дороже!

Две дамы слегка за тридцать.

— Он мне говорит: ты меркантильная. Не, ну представь только, я еще и меркантильная! Пакет с мусором попросила вынести — сразу меркантильная. Можно подумать, он Бандерас.

В аптеке передо мной, шмыгающей носом, такой же шмыгающий мужик.
Аптекарьша, с негодованием:
— Что ж вы больные по аптекам ходите?!

В цветочном магазине, мужик лет пятидесяти:
— Лимон не надо. Не, пальму тоже не надо. А что вон там у вас стоит, хищное такое?

Дама с большущим псом страхолюдной наружности ругается с другой дамой, неособаченной:
— Какая вы нервная! Да! Рокки на вас посмотрел! Он тоже много чего про вас подумал!

Еще один собаковладелец, с маленькой рыжей дворнягой:
— Пойдем, Фроська, кота найдем, погоняем.

Во дворе в песочнице молодой папаша с дитенком лет полутора. Откуда-то с верхних этажей крик:
— Рома! Немедленно отдай лопатку! И ведро отдай, кому сказала!

Дама разговаривает по телефону:
— Мама, чем ты недовольна? Я все прополола, там все сверкает, там все прополото. Мама, откуда я знала, что там росло?!

На том же рынке, сельский дядька — мне:
— Ты глянь, глянь на помидоры, глянь какие! Это не помидоры, это счастье!

Тетка с лотерейными билетами другой тетке:
— Возьмите хоть один, я вам что скажу, женщина, я так вот рукой провожу над ними — и чувствую, чувствую, там что-то есть, там точно что-то есть!

На остановке бабулька преклонных лет громко говорит в телефон:
— Танечка, пока мы живы, мы будем счастливы, Танечка!

О легкости бытия

Я вот думаю, что жить, в сущности, легко.

Правила просты.

Не орать на детей. А то потом обидно будет, когда ваши собственные дети заорут на ваших внуков.

Не шпынять мужа.

Не рычать на жену.

Не выяснять, кто кого осчастливил.

Помочь бабульке, даже если на бабульке этой крупно написано: мерзкая старушонка. Она хоть и мерзкая старушонка, но сумка-то у нее тяжелая.

А ежели произошло кораблекрушение, и повезло вскарабкаться на спасательный плотик, то постараться вытащить того, кто поближе, а не устраивать аукцион среди тонущих — кто больше даст за свободное место.

Это все я вот к чему.

Хочется пожелать всем легкой жизни. И в этом году, и в следующем, и далее. Чтобы вы любили, чтобы вас любили — и чтоб это совпадало.

Ну а что еще для счастья нужно — каждый сам себе додумает.

Наталья АХПАШЕВА

О ВСЕЛЕНСКИХ И ЛИЧНЫХ НЕВЗГОДАХ

* * *

Судьба на зов откликается.
Через лета и зимы
сказанное сбывается.
Пока же неизъяснимы —
самые верные знания
о том, что будет с нами,
бродят в котле подсознания
радужными пузырями.
... Выйдешь из ада — цел.
Выдохнешь. Вслед сурово
смотрит через прицел
воплощённое слово...

* * *

Мякоть сердца изъела печаль
о вселенских и личных невзгодах.
Как прозрачна высокая даль
холодеющего небосвода!
Хорошо бы подальше послать
ненавидные эти заботы,
памятуя небесную рать,
набираясь до чёрной икоты,
до явлений из небытия
неких сил как бы потусторонних...
Ах, судьба растакая моя,
я теперь для тебя посторонний!
И наутро, похмельной душой
осознав окончание странствий,
распрощаюсь с постылой тоской,
растворяясь в родимом пространстве.

* * *

Всё-таки повзрослела моя
героиня лирическая —
вышла замуж, двоих родила
разнополюх детей, развелась,
счастья очередного ждала,
параллельно окончила вуз.
Было ж время, что не задалась
доля филологическая.
Хоть на рынок иди торговать
разноцветным китайским добром!
Не принцесса — и выучилась
как в чужом измерении жить,
наизусть дебет-кредит сводить,
на себе в поезда загрузать
клятый мятый свой импортный груз.
Эка невидаль — мало ли их,
через силу упрямых и злых,
кочевало по тем поездам.
Завертело судьбу колесом
год за годом на прибыль годам.
Мне ж её всё трудней узнавать —
тётка тёткой в шелках и мехах,
легковерная как росгосстрах,
чтобы грезить о чём-то таком...
Тешит внуков да бизнес ведёт,
перемен в плане личном не ждёт —
ровни Господи не дал, и тот,
что сейчас обживает диван,
сорокапятiletний пацан,
если честно, не очень-то в счёт.

* * *

Свёкор со свекровкой захворали
и слегли в неметчине родной.
На работе мужу отпуск дали
за свой счёт — увидеться с роднёй
иностранной. Я осталась дома
внуков бдить и грядки поливать,
отвечая номерам знакомым,
радостных вестей не ожидать.
Может быть, и вправду виновата,
у отца, у матери сынка
уведя когда-то без возврата —
со двора телка-годовика.
Не было мне дел до славы прусской,
а июль шалел день ото дня.
Оттого с фамилией нерусской
народились дети у меня.
Тут ушла на постсоветский откуп
геополитическая ширь.



Родственники мужнины в Европу
 подались, а мой — за мной в Сибирь.
 Старшим, видно, срок уже... Разлука
 студит сердце, застилает взгляд.
 ...Я ещё наплачусь, если внуков
 как-нибудь поманит фатерлянд.

НОСТАЛЬГИЯ

Из семидесятых годов пацаны —
 фабричных ударниц шальные сыны,
 кошмар нецентральных районов.
 Ещё далеко до судьбы и вины,
 до эксперимента с обвалом страны,
 до первых дурных миллионов.

За школой раскинулся морем бурьян.
 Звенит приглушённо по кругу стакан.
 Отрава же та бормотуха...
 Ещё не ушёл по этапу Колян,
 ещё не призвали Серёгу в Афган,
 ещё малолетка сеструха.

Плыл полдень
 сквозь плеск первомайских знамён.
 Качало от Славы-труду! небосклон.
 С трибун дружно рукоплескали.
 Иных мы и не ожидали времён,
 и добрый катушечный магнитофон
 на полную громкость врубали.

С утра заводились часы: тик-так, тик...
 Стучал деревяшкой сосед-фронтовик,
 и Брежнев как будто не помер.
 Крутой на правёж и упёртый мужик
 сосед всю ватагу в бурьяне застиг —
 вот это был, помнится, номер!

И пообещали не пить, не курить,
 не-с-улицы-нашей-мальчишек не бить
 и матерно не выражаться...
 Вслед веку пришлось старикам уходить,
 и некому ныне стыдить и журить
 и горько по нам сокрушаться.

Эпоху сорвало с нарезки долой.
 Прошёл в олигархи не каждый герой.
 О ком-то ни слуха, ни духа.
 Всё ж каждый в ответе, который живой.
 Не часто, но так накрывает порой...
 Отрава же та бормотуха!

СОН-ТРАВА

Дождалась, как должника — расплата.
На горяч-бел-камень-алатырь
от восхода в сторону заката
наезжает добрый богатырь.
Как наехал, так остановился,
вороного в поле отпустил —
никуда-куда не торопился,
сон его полуденный сморил.
И с тех пор лежит и как не дышит.
День идёт за днём, за годом год.
Ветер кудри русые колышет,
песни колыбельные поёт.
Не тревожат хлопоты-печали.
И лишь видит в непробудных снах,
как мы с ним, счастливые, гуляли
в золотых родительских садах.
В том его не стала упрекать я,
что была погода хороша...
Встаньте крепче крепкого, заклатья!
Пропадай, крещёная душа!

*— Не за то, что очи отвёл,
что другое счастье обрёл,
не за то, что забыл,
а за то, что ласковым был —
я перину мягкую взбила
и постель тебе постелила.
Веки вечные
с постели той не встать!
И отныне моё слово — печать!
Будешь ты ни мёртв и ни жив.
Спящий — спи и мёртвый — лежи!*

И поворотилась ось земная.
Замело все прошлые следы.
Где теперь разлучница лихая?
Где теперь отцовские сады?
Но покуда он во чистом поле
в зачарованном томится сне,
не избавиться от этой боли
и не обрести покоя мне.

*— В ночь глухую — с крыльца.
Не вернуть с бирюзой кольца.
Злое сердце, остынь.
Аминь.*

* * *

Погибая, промерзая до костей,
дверь плечом:

— Открывайся, сезам!

Как бы не до скончания дней
аномальным простоять холодам.
Всю последнюю декаду февраля
врёт бесстыдно календарь.

Может быть,

заартачилась планета Земля
круг за кругом

солнца около плыть.

Шестерёнка ли какая-нибудь
заедает в механизме мировом —
вот и падает в термометрах ртуть.
Во всеведенье привычном своём,
дорогой Механик, не подкачай,
подкрути чуток, подладь,

подшамань

калымагу эту древнюю — чай,
и отгадет наша тьмутаракань...

И, ныряя с мороза в тепло,
пса в жильё запусу со двора:

— Нам, приятель, с тобой повезло —
есть, где лапы отогреть до утра.



Александр РЫБИН

МАВЗОЛЕЙ

Р а с с к а з

Татарка — наверное, грубое слово... Поэтому буду называть ее *татарочка*. Это приятнее, нежнее.

Она вылезла из попутного автомобиля и пошла в сторону площади Панджшанбе.

* * *

Ее тяготило ее происхождение — из томских татар, эуштинцев. Они ничего достойного не оставили в истории. Ничего значительного. Жили на берегах реки Томи. Страдали от набегов кочевников-каракиргизов. Поэтому в начале XVII века попросили о покровительстве русского царя. Приплыли из Тобольска казаки, поставили на Томи острог — Томск. Эуштинцы и упоминаются только в контексте основания казаками Томска. Они переселились со своими юртами поближе к острогу — так образовалась Татарская слобода, она до сих пор стоит, и до сих пор ее населяют большей частью татары.

Есть еще легенда, эуштинская. Жил-был хан Басандай и влюбился он в прекрасную Тому — красавицу, каких свет раз в сто лет видит, но она его не любила. Хотел хан взять ее в жены силой, а она загоревала да и утопилась в реке. Реку стали называть в память о красавице — Томь. Вот и весь эуштинский эпос.

Татарочка мечтала о великом, об Истории — оставить в ней свой великий след. Непонятно, когда это пришло, когда стало смыслом жизни. Она не помнила. Но лет в четырнадцать решила, что станет великой художницей. Четыре года мучений и обучений — она умела видеть, но не умела, не получалось выразить это красками. Потом четыре года литературных опытов — в итоге уничтожила все, что написала: пятьдесят три тетради, файлы в компьютере...

Однако у нее получалось жить. Просто, без особых трудностей, не заморачиваясь на материальных благах, много общаясь с интересными людьми, путешествуя. У нее получалось жить, чтобы вечером чувствовать удовольствие от прожитого дня. Это ведь редкое качество.

* * *

С Саней Рыбиным она познакомилась в Таджикистане, когда возвращалась из афганского Мазари-Шарифа в Россию. Мазари-Шариф — столица Северного Афганистана. В центре его мечеть-гробница Хазрат-Али, «Голубая мечеть». От нее лучами расходятся улицы. Сам город пыльный, выгоревший от солнца и тридцатилетней войны, в арыках, забитых мусором, и попрошайках. Кроме Хазрат-Али, ничего при-



мечательного: афганские мужики навязчивы со своими предложениями о помощи, дети — расстреляла бы всех! — бегут сзади и орут непонятное на своем, добавляя «hello» и «how are you», дергают за рюкзак и карманы штанов. Ради мечети-гробницы она и приехала.

Жаркий день. В воздухе песок и истерика автомобильных сигналов. Перед входом на площадь Хазрат-Али десятки белых голубей — пух их на мозолистой земле, помет; оборванец с черными босыми ногами кормил голубей, крошил им лепешку и пел вязкую, как смола, песню. Полицейские в бледно-голубой униформе пялились на нее, но с расспросами не лезли, отгоняли детей и мужиков-помогальщиков. Глазурованный, в ярких узорах, с воротами на четыре стороны света, фаллическими башенками минаретов, сказочно-празднично-пряничный Хазрат-Али смотрелся свадебным тортом среди голодных, с испорченными зубами, тяжелым зловонным дыханием, с гноящимися деснами ртов. Город, тридцать лет живущий среди войны.

Афганцы то заходили, то выплескивались из гробницы-мечети. В ней хранились кости не то Заратустры, не то шиитского пророка Али. Чад местных племен, изъеденных междоусобными боями, клубился между празднично-пряничными — голубыми, ярче неба, и салатowymi, ярче листвы близлежащего парка — изразцами гробницы. Тюрбаны, накидки, резиновые шлепанцы, бороды и усы — мелькали племена. Мечетью начинался и заканчивался город. Все остальное было пылью растолченного человечества, порубленного винтами боевых вертолетов и растолченного выстрелами «калашника», М-16 и РПГ.

Татарочка поняла: если человечество пожрет само себя войной, то остатки людей, дикие, со сверлами опустевших глаз, будут преклоняться перед творениями вроде Хазрат-Али и создавать новые религии из их великолепия. Удовлетворенная и гордая этим пониманием, она ехала из Мазари-Шарифа.

В Душанбе встретила с Саней — он двигался в обратном направлении, как раз в Мазар. Они сидели долгим вечером на «Оперке» — на площади Театра оперы и балета — и спорили о центрах зарождения человеческой цивилизации. Саня, увлеченный Крайним Севером, рассказывал о теориях и гипотезах о появлении первых человеческих цивилизаций в Гиперборее Первотворящей. На следующий день он уехал в горячий афганский город.

Они снова встретились через год. Снова в Средней Азии.

* * *

Она тяготилась своим происхождением. Но считала себя человеком Востока. Считала, что через восточную культуру ей проще осознать, понять и насладиться жизнью. «Бог, конечно, один, един. Но человеку, родившемуся и выросшему в православной культуре, проще прийти к Нему через православие. Воспитанному в буддистской среде — через буддизм. Бывают и исключения, разумеется. Мне к Нему проще прийти через восточные верования: ведь вера — основа культуры. Ислам мне ближе по темпераменту — экспрессия, огонь». Она брала из ислама, что считала нужным, не ограничивая себя догмами. Много ездила по исламским регионам России и исламским странам. «Босния — самая бестолковая мусульманская страна. Сначала турки заставили часть сербов принять свою религию, а в девяностых американцы и немцы заставили эту часть сербов создать свое государство. Нет национальной идеологии, фабрики встали, оторванные от единой югославской экономики; вражда с соседями, православными сербами и католиками хорватами; искусственно созданная страна, люди уезжают за границу, чтобы не сдохнуть от тоски на своей земле. Босния гниет? Нет, это просто вакуум, в котором людей заставляет жить “гуманизм” Запада».

Сараево ей нравилось — своей послевоенной облезлостью и смешением культур. «Вписки» у местных она не нашла, а ночевать в гостинице или хостеле было дороговато, потому ночевала в заброшенном здании — австрийской, вероятно, постройки — на улице Маршала Тито, в центре. На последнем, четвертом этаже. Дере-

вянные перекрытия между этажами сгнили местами — через дырки с четвертого была видна замусоренность первого: мятые газеты, пластиковые бутылки, банки, пакеты.

Палатку она поставила на железобетонном балконе — он выпирал над улицей. Рано утром — мелко дождило — пила чай и смотрела, как начинает муравиться город.

В парках или во двориках мечетей торчали — обязательно из белого камня — обелиски с заостренными или в форме толстых тюрбанов вершинами. Под ними лежали именитые мусульмане османской поры. И — хоп! — австрийское асимметричное, одна стена выше другой, одна половина покато́й крыши короче другой, здание в выщерблинах последней войны: сербов православных против мусульман. Следы от пуль, царапины от осколков... Татарочка вкладывала пальцы в эти незарастающие раны, пыталась почувствовать нерв прошедшей войны. Холодные выщерблины не говорили ничего. Прохожие делали вид, что не замечают ее интереса к исстрелянным, подбитым снарядами и минами стенам. Она фотографировала стены и шла дальше. Опять фотографировала османские могильные камни.

«Одакле сте?» — возле какой-то мечети подошел и спросил старичок в шляпе и костюме; сложенный длинный зонт он использовал как трость. «Из Руси́и», — ответила она. «О, я говорю по-русски. Учил в школе и институте. И пять лет работал в Советском Союзе. В городе Фрунзе. Сейчас это — Бишкек. Мне очень нравится Россия». Старичок рассказал, что это не мечеть вовсе, а *турбе*: «По-русски — мавзолей. Как на Красной площади в Москве. Только там Ленин лежит на всеобщее обозрение, в стеклянном саркофаге, а здесь — турецкий губернатор в каменном». Татарочка и не знала, что кроме ленинского мавзолея бывают другие. Тем более — в исламе.

* * *

Она рано начала читать. Ее волновал окружающий мир. Уже в двенадцать лет взялась за Шпенглера и Ницше. Если в жизни нет смысла, то это существование — подобно неразумным животным. Зрело ее собственное понимание жизни. Человек не отличается от коровы, если не имеет в жизни целей. Каких целей? Разумеется, духовных. Наличие духовных ценностей Homo sapiens делает человеком. Духовные ценности порождают и двигают цивилизации.

Смысл жизни — вот что нужно каждому человеку. Если его нет — это биомасса. Необходимость духовной составляющей для татарочки стала очевидна. Дальше — метания в искусстве. Она поступила на филологический. Через два года бросила. Поступила на дизайн.

* * *

В ее жизни не было ничего особенного — она проживала, как ей нравится: общаясь с интересными людьми, путешествуя, зарабатывая деньги — не много и не мало, достаточно, ей хватало — переводами статей для журналов, с английского на русский. Она не сидела в офисе, ей присылали статьи по электронной почте, она переводила и отправляла; зарплату исправно перечисляли на карточку. Она путешествовала и пару дней в неделю тратила на переводы. Ей нравилось узнавать мир самой. Правда, ничего нового она не открывала, не находила в себе сил заняться на долгие годы одной-единственной научной темой — это значило отказаться от многих других интересных дел, — ей на это не хватало решимости, силы воли. Она получила удовольствие от своей жизни и ничего не хотела менять. Но тревожило, зудело — надо запечатлеть себя в истории. «Иначе: живу, умру, тело сгниет, станет гумусом, вскормит цветы, цветы сорвет мой прапраправнук, — и не будет знать, кто была его прапрапрабабка, была ли она вообще... По биологическим законам, конечно, была, но кто она и что она — неизвестно. Страшно. Радуешься каждому дню, а в остатке — гумус и безвестные цветы на короткое лето. Нужно что-то оставить о себе. Желательно — великое. Впечатать себя в историю».



И тысячи облупившихся, потертых или сохранившихся во всех своих первоначальных красках и изразцах мавзолеев, о которых известно только то, кто их построил и чьи кости хранятся внутри. Да еще египетские фараоны дошли до нас со своими биографиями, благодаря гробницам-пирамидам. Не столько важна жизнь для тысячелетий истории — важнее, как оформлена смерть. Татарочка поняла это в Белграде, оказавшись перед турбе Шейха Мустафы.

Про турбе Шейха Мустафы мало кто из горожан знал. Она стояла неприметная за деревьями Студенческого трга, площади, среди гигантских брусьев социалистической застройки, на углу улиц Браче Юговича и Вишнячки. Шестиугольная низкая серая колонна турбе, под черепичной крышей, сложенной горкой. Окна в решетках и ставнях. Ставни открывали в светлое время суток, на ночь запирали. По стенам граффити — красное «Косово је Србија», плохо покрашенное серым, легко разобрать.

Татарочка обходила Студенческий трг, направляясь в Этнографический музей, и увидела в зарешеченном окне зеленый ковер с рисунком камня Каабы. Ковер прикрывал каменный саркофаг. Возле запертой двери мавзолея висела табличка: «Памятник культуры. Построена в 1781 году». Татарочка сходила в Байракли — единственную действовавшую мечеть в Белграде. Там ей рассказали, что в турбе похоронен Шейх Мустафа, о нем ничего не известно, кроме того, где он похоронен. В свое время в его гробнице ночевали путники, молились и отдыхали.

Она вернулась на Студенческий трг, смотрела, держась за решетку, на тесное пространство. В саркофаге, быть может, и костей-то нет, истлели. А дух человека, некоего Мустафы, живет больше двухсот лет — благодаря серым шершавым стенам, черепичной крыше горкой, пеналу саркофага. Может, он прожил радостную и незатейливую жизнь. Ходил вдоль и поперек — дорогами до него проторенными, набитыми. Не выделялся из своего времени. И завещал похоронить себя в турбе под стенами османской крепости Калемегдан.

* * *

С Саней она ездила в мавзолей Ходжи Машада, главную мусульманскую святыню Хатлонской области, юго-западной части Таджикистана. Они уже жили вместе в Душанбе, в махалле — районе частных малоэтажных домов, на «Водонасосе». От автобусной остановки в гору по улице Амиршоева. В махалле жили и таджики, и русские. Традиционных саманных домиков по пальцам двух рук пересчитать. Дома кирпичные, блочные, коттеджи. У самых состоятельных — традиционные деревянные резные ворота.

Они доехали до кишлака Сайёд уже к вечеру. Шли через кишлак к мавзолею. Местные дети и подростки здоровались: «Ас-салом», — и прикладывали правую руку к груди. Остановилась машина, вылез мужик средних лет, все передние зубы золотые, таджик. Спросил, как дела, все ли хорошо, представился местным участковым, показал удостоверение, попросил показать паспорта. Посмотрев паспорта, долго извинялся и объяснял: «Работа такая». Остановилась еще одна машина, тоже легковая, вылез еще один с золотыми зубами. Этот — глава сельсовета, джаомата. Спросил, какая помощь нужна. «Да все в порядке. Мы просто идем к Ходже Машаду». Глава сельсовета повез их к мавзолею на своей машине — двести метров. Дал указание смотрителю-сторожу Ферузу, чтобы тот накормил и приютил гостей на ночь у себя. «Теперь я могу идти?» — спросил начальник кишлака. «Да, конечно. Спасибо большое». «Если что-то нужно будет еще, звоните. У Феруза мой номер есть. Звоните в любое время, не стесняйтесь».

Феруз подвел их к мавзолею и стал рассказывать его историю. Ходжа Машад, богослов и меценат, пришел в эти места с Ближнего Востока во второй половине IX века. На его деньги построили медресе, где позже самого Ходжу и похоронили. Это старейшая мусульманская постройка в Таджикистане. Квадратное помещение, четверик, на него установлен восьмерик, являющийся переходным звеном к куполу — оболочка купола утончается кверху, образуя снаружи трехступенчатую форму. Все из обожженного кирпича. Лет через сто после смерти Ходжи к медресе-мавзолею



пристроили еще одно здание, такого же типа, но более декорированное фигурными кирпичами. Оба здания соединили высокими и узкими воротами. Во втором, западной половине мавзолея, проводились богослужения, а в первом, восточном, учились студенты, хранились книги. Когда пришли монголы, медресе стало братской гробницей — монголы перебили почти всех студентов. По одной из версий, на месте кишлака Сайёд был крупный город — в сорок тысяч жителей. Кочевники снесли его постройки почти начисто, только несколько зданий уцелело. Оставшиеся в живых похоронили своих мертвых и ушли. Мавзолей, заброшенный, медленно разрушался. Когда его стали реставрировать в двухтысячных, то заново отстроили половину. Отец Феруза был сторожем-смотрителем Ходжи Машада тридцать лет, до 1996 года, до смерти. Его сменил сын — Феруз. Он сажал цветы и деревья вокруг гробницы, проводил экскурсии. И работал учителем таджикской литературы в местной школе.

В восточном куполе было круглое световое окно. Феруз сказал, что в полдень самого длинного дня в году солнце попадало точно в это окно. На глиняном полу вытянутыми холмиками были обозначены восемь могил. В одной из них — тот самый Ходжа. В помещении отличная акустика — она очищала мелкие природные и хозяйственные звуки кишлака от пыли и суетности, жизнь звучала спокойным ручьем по обкатанным берегам. В западной половине по-другому: черная дыра михраба в стене, закрыто, замкнуто, изолированно от внешнего мира.

Татарочка рассматривала, прислушивалась, замирала, прикоснувшись руками. Она уже однозначно решила, что закончит свою жизнь в мавзолее, — тут ее похоронят. В каменно-металлическом, чтобы на тысячелетия. Внутри или снаружи — еще не определилась — будет выложена ее биография. На всех известных языках. И надо будет завещать, чтобы в мавзолее разрешили ночевать всем путешествующим, как когда-то было в белградской турбе Мустафы.

Феруз повел их к себе домой по темной и разбитой улице, подсвечивая дорогу фонариком. В мехмонхоне, гостевой комнате, его жена расстелила им курпачи, матрасы, и выдала теплые одеяла.

Ночью ливень изжевал глиняные дороги кишлака в грязь.

Из Сайёда они поехали в Куляб, в мавзолей Мир Саида Хамадони. Купола, узкие высокие ворота, парк в деревьях и цветах вокруг мавзолея. Перед входом сидел на ковре мужик в тубетейке и халате-чапане, он не пропустил татарочку внутрь, сказав, что женщинам нельзя: «мужской» мавзолей. Ну и ладно.

Саня вышел и рассказал, что внутри ничего особенного. Белые стены, белые своды, несколько саркофагов подписаны по-таджикски. Куляб же удивлял своей советскостью. Душанбе тоже очень советский город: архитектура, люди, темп жизни, магазины и парки, — но Душанбе *застойный* советский город. А Куляб — заржавевший. Из его углов и стен, вывесок и раскрошившихся бетонных мостиков вылезала рыжая ржавчина. В нем было приятно провести день, два, три, после надо было уезжать и отмываться, очищаться, выскребать из себя тление.

Они вернулись в Душанбе из Куляба — словно из безнадежно спивающейся деревни в цветущий город. Советскость Душанбе — в интеллигентности его жителей, в сталинской ампириной застройке центральных широких проспектов, неспешных походках, шляпах, пиджаках и брюках «со стрелочками», платьях в цветочек и в пацанах, занимающихся на турниках и брусьях по вечерам. Бывший Сталинабад продолжал жить в ритме Сталинабада.

Татарочка с Саней снимали комнату в двухэтажном доме. Еще две комнаты снимали таджики, один студент и семейная пара. Когда Саня уходил на работу — он устроился в местную русскоязычную газету, — татарочка спускалась к «Водонасосу» и шла в парк Айни. Запущенный парк: высокие травы, сломанные аттракционы, — некоторые, правда, кое-как работали, хотя ни разу не ремонтировались за двадцать лет независимости Таджикистана; беседки в облупившейся краске, статуи сказочных героев порядком растрескались, раскрошились. Парк ей нравился именно своей запущенностью. За один сомони можно было кататься на любой из каруселей.

Саня два-три дня тратил на работу, и они опять куда-нибудь уезжали.



* * *

Любил ли Саня ее? Кто его разберет. Он был анархистствующим малым: презирал конструкции современных государств, не платил налоги. Если и устраивался где-то работать (в России или в других странах), то нелегально, без договоров и прочей бумажной волокиты. Митинговал против властей, гонялся по миру за бунтами против западного неокOLONиализма — вроде войны ливийцев против НАТО или баррикадного бунта косовских сербов против албанского правительства Косово. Но всякий раз опаздывал: все заканчивалось, неокOLONиализм опять побеждал, побежденные хоронили своих героев и расходились по домам. И Саня ехал дальше — бороться против и жить за.

Еще он крепко верил в символы. Оба самых известных русских анархиста, Бакунин и Кропоткин, были женаты на томичках. Бакунин женился во время ссылки в Томске на местной дворяночке Антонине Квятковской. А Петр Кропоткин — в Швейцарии, на Софье Григорьевне Ананьевой-Рабинович, — она приехала из Томска в Швейцарию учиться. Может, Саня возился с татарочкой из-за своей веры в символы? Он ничего не объяснял и не признавался.

Ей же, когда он брал ее, когда сжимал своими костяными пальцами и входил злобно, хищно, как волк клыками в шею жертвы, чудился, представлялся край пропасти: dna не видно, черная бесконечность внизу; в последний момент через козырек, на котором она стояла, змейками пробегали трещины, козырек разлетался в стороны осколками, и она падала вниз, во тьму и бесконечность, и больше не имело смысла движение, сопротивление и непротивление. Она несколько раз теряла сознание, падая во тьму, на короткие мгновения. «Смерть, наверное, то же самое, Сань, бесконечная тьма. Тебя выключают — и ты вечно падаешь в бездонную пропасть, легишь. Кайф. Смерть — это вечный оргазм», — говорила она после очередной потери сознания.

И было утро. Высокое синее небо и соседский навес-виноградник в огромных, на половину стены, окнах. В комнате не было ни одного шкафа, никаких тумбочек, столиков. Вещи разбросаны по полу — одежда, книги, географические карты. Из мебели — одна двуспальная кровать. Обычная спальня таджикского махаллевого дома.

* * *

Ей не нравился татарский стиль мавзолеев. Она видела его в рязанском городке Касимове, в русском городе татарской культуры. Ей понравился бочкообразный старинный минарет с тонкой остроконечной вершиной, белый, похожий на свечу с крохотным огоньком. Татарочка стояла наверху — вокруг бликовала июльская природа и лента Оки. Каменно горела свеча ее соплеменников в храме русской природы. На вершину забрались фотограф и парочка новобрачных, у фотографа была паскудная козлячья бородка. Он попросил, проблеял: «Не могли бы вы спуститься, мы здесь несколько снимков сделаем». Она ненавидела свадебных фотографов, они превратили свадебную традицию в уродский набор снимков, праздник — в набор поз на фоне.

По берегу Оки она пошла к текие Афган-Мухаммед султана. «Текие» на каком-то языке значит «гробница». Афган-Мухаммед не то приказал эту текие построить, не то похоронили его в ней — в сундуке из красного кирпича. Скучный, без фантазии стиль. Где обычно прятали самые драгоценные вещи, туда спрятали и ценного покойника — построили для него сундук с куцыми прорезями полукруглых окошек. Стиль отсутствия какого-либо стиля.

Такими же кирпичными сундуками были три мавзолея Караханидов в Узгене. Узген — узбекский город в Киргизии. Караханиды — династия уйгурских правителей. Татарочка приехала в Узген из Оша, сожженного трехдневной войной. Три июньских дня киргизы убивали узбеков, узбеки — киргизов. Она приехала в октябре. На главных улицах огарки ресторанов, кафе и магазинов — киргизы сожгли узбекский

бизнес. В махаллях пробитые пулями ворота и сожженные дома — короба без крыш и окон; насыпи или бетонные блоки через дороги — баррикады. Узбеки днем приходили торговать в центр, на ночь запирались в своих махаллях. Местные на чужаков смотрели с недоверием.

Татарочка поехала в Узген. Караханиды в средние века сделали его второй столицей своего Восточного каганата, первая была в Кашгаре. В 1212 году монгольское племя найманов быстрым набегом упразднило каганат. Караханидское государство не просуществовало и двух веков. Внутри его постоянно шли вооруженные разборки, элита интриговала. Государство изначально было не очень-то и крепким, от него мало что осталось. В Узгене — три мавзолея и двадцатиметровый минарет.

Она приехала уже в темноте. Пошла в чайхану — поесть и переночевать (в Средней Азии так принято — если ты поел в чайхане, то можешь в ней и переночевать). Но местные узбеки говорили, что на ночь свои заведения закрывают — «неспокойное время, извини». Походила, поспрашивала местных. Приютить ее у себя в доме согласился местный пожилой мужик. «У меня дома двое детей, не волнуйся. Если не хочешь у меня, то попрошу знакомого, он разрешит тебе в своей чайхане переночевать». Мужика звали Рашид. Она отправилась к нему. Его дочка, личико скомкано прерванным сном, расстелила дастархан и расставила пиалушки с холодной едой — «еду на печи греем, извини, она прогорела уже». Рашид рассказывал о первой войне узбеков и киргизов в Оше. Вооруженные киргизы напали тогда и на Узген. В Рашида и его друга стрелял снайпер, Рашид успел перелезть через забор, спрятаться — лишь в ляжку ранило, пуля насквозь прошла, рана зимой ноет в сильные холода. Друг не успел — сутки труп лежал, боялись его забирать, снайпера боялись. «В Оше поганые узбеки живут — они торгуют героином. Это из-за них война в июне началась», — сказал Рашид. Легли спать. Ей постелили курпачи в гостиной. Отец с детьми в соседней комнате. Ночью — тьма, никакого уличного освещения — протрещала длинная автоматная очередь. Рашид вскочил, выбежал на улицу. Долго стоял; запахло табаком, в окне появился красной точкой огонек — закурил.

«Если на еще одну ночь останешься, то снова приходи к нам», — сказал Рашид утром. Его дочь напоила чаем, поставила на дастархан завтрак. Обычное узбекское гостеприимство.

Минарет стоял напротив трех мавзолеев, они были огорожены низким металлическим заборчиком, — тут был краеведческий музей. В черте музея — контейнер-вагончик с окном и дверью; к контейнеру прислонен велосипед — смотритель на месте. Смотрителя, старичка в потертом пиджаке и медалью «Ветеран труда», звали Сулейман. Он обрадовался редкому посетителю музея, отворил для нее гробницы и минарет. Внутри гробниц ничего особенного, ровный пол и ровные стены; снаружи они обильно декорированы фигурными кирпичами и резными камнями, геометрические и растительные орнаменты; татарочка даже нашла тонкую полоску орнамента из свастики вдоль ворот. Минарет красным фаллосом возвышался над всем городом уже тысячу лет — за тысячу лет ничего выше его не построили.

Сулейман не хотел брать положенные десять сом за вход в музей, — цена была написана на табличке при входе. Он рассказывал, как служил в Советской армии в селе под Саратовом, как жалели их, бритых тощих новобранцев, местные бабушки, приносили им сметану, пироги и вареную картошку. «Может, вернется Советский Союз, хорошо тогда было, все мирно и счастливо жили».

Во второй столице Караханидов, в Кашгаре, она жила в хостеле «Old town» в Старом городе, позади ядовито-желтой мечети Ид Ках. Этот хостел знали все, кто въезжал или выезжал через юго-запад Китая: единственный хостел на сотни километров; любая гостиница — дороже. После сотен километров по Памирскому тракту на высоте четырех тысяч метров или после разноцветного дребезжащего Пакистана, или после миллионов китайцев, изводящих криками «hello», и уйгуров, старающихся развести, обмануть, вытянуть из тебя несколько лишних юаней, — приезжаешь в хостел, где полно таких как ты, из разных стран, кому можно излить свою желчь или поделиться удивлением, — тут тебя поймут, оценят, тут можно напиться и составить



план дальнейшего совместного путешествия. Хостел располагался в типичном богатом уйгурском доме; дом двухэтажным квадратом, внутри дворик. Во двореке ковры, коротконогие столики и белье на веревках.

Татарочка вместе с японкой Юки шарахалась по Кашгару (Юки много фотографировала, как любой нормальный японский турист): по его «самому большому в Центральной Азии» — так в «Лонели плэнет» написано — базару, по площади с самым большим памятником Мао Цзедуну, потом по ночному базару — еда, еда, только еда, здесь же приготовленная. Доехали до мавзолея Аппак Ходжи — самого почитаемого мусульманами места в Синьцзяне, как написано в путеводителе. В Азии обязательно, даже в самой зачуханной деревне, должно быть что-то «самое-самое». В Душанбе в прошлом году построили самый высокий флагшток в мире. Азиатский менталитет: если самого-самого нет, то придумают.

Аппак Ходжа был губернатором Кашгара. По его приказу построили мавзолей для его папаша. Когда умер сын, то и его рядом с папашей похоронили. Затем вообще всех умерших из рода Аппаки там стали складывать. Хоронили в мавзолее до 1815 года. Набралось семьдесят две могилы. Над каждой установлен гребень в форме длинного ромба. Уйгуры приходили помолиться на могилы, сидели на коленях и читали Коран. Их женщины целовали плиту и гребень, под которыми лежала Ипархан — внучка Аппака Ходжи, выданная замуж за китайского императора. После смерти ее тело привезли на родину, целый год караван с покойницей шел из Пекина в Кашгар. Внешне мавзолей напоминал советскую общественную баню или бассейн изнутри: он был облеплен цветной плиткой, ряд одного цвета, ряд другого — синий, салатový, салатový, синий; купол пупком, две башенки-скворечника на углах крыши.

Уйгурский стиль татарочку не впечатлил. Ей нравился стиль персидский — пышностью, формами, изяществом, цветами, орнаментом. Мечети, мавзолеи, дворцы и крепости в персидском стиле стояли в Средней Азии, в Узбекистане и Таджикистане. Тимур отстраивал свою столицу, Самарканд, в персидском стиле, по его приказу тысячи зодчих из разных концов его империи ваяли столицу мира.

Татарочка решила переехать в дешевый и спокойный Душанбе, чтобы неспешно путешествовать по Средней Азии.

* * *

Она вылезла из попутного автомобиля и пошла в сторону площади Панджшанбе. Саня поблагодарил водителя, что подбросил их до Худжанда, и пошел за ней.

Зашли в мечеть-мавзолей Шейха Муслихиддина. Посидели на мягких, с длинным ворсом коврах — ей пришлось накрыть голову платком, чтобы войти в мечеть.

И вдруг татарочка догадалась, поняла, в чем смысл... Она вывела Саню на площадь перед мечетью и начала торопливо объяснять, показывая на строения вокруг...

Ислам персов принимал множество элементов из их предыдущих верований. В Национальном музее Таджикистана хранится деревянный михраб — ему больше тысячи лет — из заброшенной мечети в долине реки Зарафшан. Внутри михраба в круге вырезаны стилизованные рыбы — раннехристианский символ. Вокруг — узоры из лево- и правосторонних свастик — символ буддизма. Персы вживляли в арабский ислам свои привычные символы. Арабы были дикими кочевниками пустыни или торговцами в городах, их ислам заключался в одной-единственной книге — Коране. Архитектурные, научные и эстетические составляющие появились в нем благодаря персам — народу куда более развитому.

Первый минарет в мечети появился через сто лет после смерти пророка Мухаммеда, в главной мечети Дамаска — как случайный элемент: мечеть пристроили к старой римской сторожевой башне. Нет достоверных свидетельств, что тогда она использовалась муэдзинами для призыва на молитву. Известно только, что тюрские государства Малой Азии переняли традицию строить круглоствольные острокопеч-

ные минареты у иранцев — это произошло в XI веке. Турки обстроили византийский собор Святой Софии в Константинополе минаретами, потому что очаровались иранскими мечетями, когда пересекали земли персоязычных народов, направляясь из Средней Азии на запад.

В Персии за полторы тысячи лет до возникновения ислама зороастрийцы использовали круглые башни как культовые сооружения. В Башнях молчания они, например, складывали мертвецов. Персидская исламская архитектура яснее арабской, татарской или уйгурской, — да хоть какой! — она объясняет: после смерти — вечный оргазм. «Понимаешь, Сань? Они же все объяснили языком архитектуры!»

Довольная собой, догадавшейся, понявшей, татарочка вцепилась в его руку и продолжила...

Для персидских мечетей и мавзолеев типичны купола и айваны. С куполами все очевидно — они символизируют груди женщины. Айваны — сводчатые помещения, с трех сторон закрытые стенами, с четвертой открытые. Высокие узкие айваны строили над входом в мечеть, четвертая сторона была открыта наружу. Это же символ женского лона! А рядом — обязательно напряженный фаллос минарета. К мавзолеям минареты не пристраивали, потому что покойник уже «вошел», — в роли фаллоса оказывались тело покойника и саркофаг.

В Месопотамии, на землях будущей Персии, зарождались первые цивилизации. Там же были и райские сады — там бог сотворил человека. Поэтому тамошние культуры ближе остальных к пониманию жизни и смерти. Смысл смерти важнее: как прожить — каждый решает сам, а вот что будет после смерти — этого никто точно не знает, она страшнее, потому интереснее. Приходили и уходили разные религии — и их наиважнейшие, сакральнейшие символы сохранялись в персидской культуре. И здесь, в Средней Азии, они каменно кричат: «После смерти, Саня, будет вечный оргазм!»

* * *

Они уехали из Душанбе в Судан — НАТО там планирует военное вторжение. Они жили в соседней комнате, за стеной от меня. Стена тонкая, Саня и татарочка разговаривали громко... Было интересно. Я даже перестал смотреть телевизор — слушал их по вечерам.

Они уехали — и мне скучно стало жить.



Антон МЕТЕЛЬКОВ

НОЧЬ-ЛИСИЦА СЪЕСТ ЛУНУ...

* * *

мы пришли к тебе с провером
рассказать про боль и веру
было нечего сказать
оставались осязать
сдан в багаж наш теплый стаж
наш пари́ж и наш сашбаш
лист хоронил как заплата
дырку на сердце солдата
от смерти не умирают
заметил голкипер рая
от смерти мерещатся черти
но вы им не верьте не верьте
но верьте обманчивым слухам
что бродят меж бровью и ухом
и тихо крадутся губами
и тихо кладутся на память

* * *

пуля замедленного действия
в поле неявной правоты
вот и гордись до пенсии
что ты — по-прежнему ты
вот и считай считалочки
как вышел иванушка погулять
как барабан без палочки
как молоко по углям
так исчезали милые
столбиком стебельком
белками семимильными
налитым кровью белком

* * *

над пропастью как в прописи
неровною строфой
подставив ветру лопасти
гуляли мы с тобой
ах лопасти те хлопасти
то две простых горсти
для храбрости для робости
чтоб больше не грустить

* * *

горячая вода была холодной
наташина беда была Володиной

* * *

поезжай в санталово собирать морошку
там в избе оставленной зреют щи под крышкой
тропки между избами топчет только лошадь
пыль за телевизором вытрут только мыши
зреют щи ленивые кто в них отразится
точно телевиденье смотрит без розетки
смотрит как сбегаются с выселков лисицы
как в избушке заячьей уши как лазейки
зреют щи студёные кто с них снимет пробу
словно бы буденного поцелует в губы
тот увидит как кружив с крышкою от гроба
полумедвежонок полуполушубок
кто обхватит котелок до последней косточки
он распустит узелок да на волоске
и ищи его хрящи убаюкай в горсточке
поезжай в санталово засыпай в леске

* * *

космонавт хочет стать мальчишкой
в этом он схож с капитаном
в этом он схож с командиром
чтобы читать в толстой книжке
голоса на орбите
острова в океане
передышка в окопе
чтобы не быть убитым
на далекой планете
на далеком архипелаге
в глубоком тылу у немцев
чтобы вернуться к моменту
когда хочешь стать космонавтом
когда хочешь стать капитаном
когда хочешь стать командиром
когда остается завтра



* * *

проверка и ответ сошлись
как башлачев с землей
грустит наемшись братец лис
он стал совсем не злой
вдаль уплывают облака
уплывшие из луж
петров и васечкин зэка
вослед им машут в два платка
два платъица их душ

* * *

солнце под рубашкой
месяц над башкой
в образе барашка
кажется божком
с древней перфокарты
шерстяной страны
кратеры — инфаркты
и саванны — сны
потайной дорожкой
в кружевах дорог
месяц точит рожки
о резной порог
о порог заветный
как изнанка сна
там на кухне светлой
ты сидишь одна
за окошком зреет
неба туюсок
ты сидишь и время
капает с часов

* * *

не оборщай не оборщайся
но исповедуй букву щи
беспутной доли не ищи
на ветви вишенкой качайся
от ветра к ветру трепещи

* * *

сияневый струится бал
где дамы честь приберегают
курчавый гений ростом мал
он даму за душу хватает
слагает даму пополам
и к следующей перебегает

* * *

неспроста набивают подушки пером
сон и пушкин и батюшков
но не вырубишь из себя топором
прораставших сквозь сон стихов
и они замирают в иных веках
и они так хрупки и легки
что они разлетаются от сквозняка
оперившиеся стихи

* * *

спит дитя под лист страниц
хвост лисиц и хворост птиц
хворость всех людских больниц
нежной ночью обленись
ночь-лисица съест луну
ты уснешь и я усну



Александр БАБУШКИН

ЗАЧЕМ-ТО НУЖЕН

Р а с с к а з ы

НЕ ПАРА

Лето после восьмого класса пролетело. Я выхожу из булочной, откусив теплую горбушку от душистого городского батона, и...

Девушка с копной золотистых волос плывет мне навстречу. Ее зеленый плащ развевается. Ее глаза — лучики солнца. Мое сердце вылетает ко всем чертям, а запустившего стрелу ангела отбрасывает взрывной волной в соседнюю галактику. Бог любви отменяет все параллельно идущие концерты, потому что такого рок-н-ролла даже он не выдумал. И все небесные софиты направлены в одну точку, где молниеносно зажглась самая яркая во Вселенной сверхновая...

* * *

— Саша, без шансов. Она чемпионка страны. В сборную входит. Из Москвы. И, Сань, она старше тебя на пять лет.

Я в десятом классе. Я паршивый перворазрядник. И я втрескался в Ольгу, чемпионку страны из Москвы. Я увидел ее первый раз на ЦС «Динамо» — и понял, что жить без нее не могу.

Ольге быстро передали про щенка из Ленобласти, которому она снесла крышу. Женское любопытство пересилило. Пары ее заинтригованных взглядов я удостоился. Одного на латвийской многодневке. Другого — через полгода, на московском старте. Заговорить? Подойти? Нет. Я не смел... Я сжирал себя, изводил до истерики. И не подходил. И вдруг прорвало. Уже на первом курсе универа я подбил приятеля Сашку, влюбленного в ее подругу — тоже чемпионку, и мы махнули ночным поездом в Москву. Ее адрес мы пробили через друзей. Ехали в плацкарте, пили и ничего не говорили. Все и так было яснее ясного. Я смотрел на ее увеличенную фотографию и тихо выл. Потом был Ленинградский вокзал, какие-то плутания по незнакомой столице и ее дверь. К этому моменту я уже был хорош.

А потом она. Я что-то быстро говорю ей, задыхаясь. Она ошалело смотрит на свою огромную фотографию с какими-то безумными строчками на обороте. Потом меня накрывает, и я молча сижу на полу в коридоре, пока Сашка безнадежно выпытывает у Ольги адрес подруги.

Долгий обратный путь в каком-то алкогольном угаре. А потом была пачка неотправленных писем. Ей. Я писал и писал их. И не отправлял. А потом я завязал с выступлениями, и единственная ниточка, связывающая нас, оборвалась. И завязались какие-то другие ниточки. И переплелись-перепутались ниточки эти так, что иголкам делать нечего — концов не найти...

* * *

Ленка — стерва. Она молниеносно просекла, что я запал, что раздеваю ее глазами, — и начала издевательски подыгрывать-дразнить. Нашла тут же какого-то красавчика-демагога и стала изображать флирт.

Осень восемьдесят третьего. Нас всем курсом загнали в какой-то колхоз под Выборгом. То ли «Ленинец», то ли «Путь коммунизма». И мы каждый божий день под холодную морось ковыряемся в земле, выполняя план по сбору кормовой свеклы.

Но молодость есть молодость. Все плодово-ягодное сметено с прилавков сельмага. Ночные костры разжигают влюбленные сердца. Ленка флиртует. Я подыхаю.

В один из дней она вдруг собирается сваливать. У нее есть какая-то справка, и ее отпускают. Поезд вечером. Я молниеносно вешаю космическую лапшу на уши бригадиру (то да се, важный старт, я надежда тренера). Под честное слово перейти из «Динамо» в «Буревестник» я получаю вольную. И мы едем с Ленкой в Ленинград. Ночной город. Я провожаю ее до дома и долго смотрю в эти роковые еврейские глаза-маслины. Сердце колотится. Ленка молчит. Я погиб.

Очень быстро она выскакивает замуж за одногруппника — выборгского мажора. Ловить совершенно нечего. Но Ленка продолжает и продолжает дразнить. Как-то на дискотеке в общаге, шальная и горячая, она прижимает меня в коридоре к стене:

— У нас в комнате ни-ко-го. Ты хочешь?..

У меня короткое замыкание. Я стою совершенно остолбеневший, что-то мямлю про серьезные чувства и прочую несусветную платоническую чушь. Ленка все мгновенно просекает, бросает убийственно уничтожающий взгляд и убегает, расхотавшись. А я надираюсь в сопли и устраиваю на дискотеке пьяную истерику.

После универа она выйдет за какого-то бандюка. У них родится ребенок, с которым, пока Ленка зажигает по хазам и малинам со своим новым, будет нянчиться ее первый муж, выборгский мажор. Через двадцать лет мне скинут ее телефон. Я, выкурив пять сигарет залпом, наберу ее номер. Мой объяснительный лепет... — и вдруг ее хриплое: «Папа, что ты гонишь?» И я выключаю трубку.

* * *

Какие к черту легальные марксисты? Какой экономический факультет?

Я не могу не то что о кандидатской диссертации думать, я дышать не могу.

Я и через почти четверть века не могу взять в толк, зачем мой друг это сделал. Или его жена?

Нет, все понятно с Викой. Лучшая подруга. Девка только что развелась. На руках маленькая дочь. Один взгляд Вики — и рота мужиков без сознания. Да еще и переводчик с французского. А тут я: поэт-романтик, душа нараспашку. Ну и что, что женат... Ну и что, что тоже маленькая дочь... В общем, бабы решили — бабы сделали. Вечер. Свечи. Коньяк. Я читаю свои стихи. И тут:

— Ой, какая неожиданность! Кто к нам пришел! Саша, знакомься — это Вика. Вика, знакомься — это Саша.

А Саше уже засадили в упор из двух стволов прямо в грудь... и, не мешкая, контрольный в голову. Саша убит.

Меня накрыло так, что щепки от этого землетрясения я нахожу до сих пор. Физика высоких температур и экстремальных напряжений — паршивая детская книжка в сравнении с тем, чем шарахнуло по моей голове. Меня смело. А весь окружающий мир прошила шаровая молния.

Действия, которые я тогда совершил, иначе как прыжками с разбега в ширину и не назовешь. Я мгновенно и совершенно невероятным образом, поставив на уши деканаты, перевелся из аспирантуры экономического в аспирантуру философского. Я пробил атомную тему — «Смысл любви в русской философии конца XIX начала XX вв.». Я вынес мозг кафедре эстетики филфака вариантом диссертации, состоящим на три четверти из бронебойно-разрывной любовной лирики, которая хлестала из меня тропическим ливнем. Я рвался на два дома и рвал пространство вокруг себя. Но я не мог сделать выбор. Даже хуже — я вообще не хотел выбирать и делить. А это уже пахивало клинкой.





Мудрое женское сердце все просекло. Такую ходячую катастрофу впускать в свою жизнь было нельзя. Вика все решила быстро и резко. Она просто опустила железный занавес — и бросила меня подыхать и корчиться от боли.

Она вышла замуж через месяц после нашего душераздирающего расставания за своего одноклассника, который верно и обреченно любил ее всю жизнь без надежды даже на шанс, и оставила в моей жизни пробоину такой галактической величины, что в нее, как в черную дыру, унесло без остатка всю мою наивно-возвышенную романтику. Доживать остался философский скелет, облаченный в кожаную куртку цинизма. А еще... А еще меня на десять лет накрыло волной такого дремучего алкоголизма, что к началу нулевых впору было заказывать место на кладбище.

* * *

— ...И еще сказала, что она тебе не пара. Мол, он у вас мальчик тонкой душевной организации, а она простая девчонка...

— А это она когда такое выдала?

— Да после родительского собрания, в девятом классе. Ты же втрескался по уши. Все видели. Она переживала, что ты запустил учебу. А она считала, что вправе вмешиваться в ваши судьбы. Железная была женщина. Царствие ей... Такая одинокая... И какая страшная смерть...

— А почему ты мне это только сейчас рассказываешь? Сразу не могла?.. Я ведь, если б знал, после ее похорон не взялся бы доводить ее классы. Ну какой из меня преподаватель истории? Да еще в школе... Я же вузовский препод до мозга костей.

— Ну я же видела, как ты горишь. Ты бы и слушать не стал. А насчет ее классов... что теперь об этом. Было и было... Да и после такой смерти... Взяться бы. Сколько ты к ней лет после школы бегал. Часами ведь говорили...

Мы сидим с мамой на кухне, курим, пьем чай и вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем...

* * *

Девушка с копной золотистых волос плывет мне навстречу. Ее зеленый плащ развевается. Ее глаза — лучики солнца. Мое сердце вылетает ко всем чертям, а запустившего стрелу ангела отбрасывает взрывной волной в соседнюю галактику...

Девушка наклоняется, собирает осколки моего разбившегося сердца, берет меня за руку и ведет долгой и нечеловечески трудной дорогой, падающего и спотыкающегося, через три десятилетия боли, слез и веры. Ведет — мать моих прекрасных дочерей, строгая и заботливая нянька нашей внучки. Ведет, привычно вытирая сопли и слезы своей надежде и опоре, своей второй половине. А бог любви смотрит на это, крутит у виска и качает головой.

ЗАЧЕМ-ТО НУЖЕН

В предбаннике операционной холодно. И холодно голому лежать на клеенке. Тихо. Только где-то неподалеку пролетает матерок медсестры. Привязанные к спинке каталки руки затекли. Начинаю ими шевелить — затянута крепко.

Суки... И сказать-то никак — нос и горло забиты трубками. Как развязаться-то?

Начинаю трястись всем телом.

Раздаются шаги, пространство оживает звонкой русской любовью:

— Очухался, бля. Лучше б ты сдох, падла. Вытирай тут за ним блевотину...

В лицо уставился образ богородицы с профессиональным перегаром.

— Что, сука, выжил!

Трясусь дальше. Мычу. Пучу глаза. В общем, выражаю любовь, — как могу и чем могу.

— Что, оглобли затекли, гаденьш?

Сигнал подан. Сигнал принят. Цель достигнута.

Медсестра, норovia при каждом движении захватить мне локтями посильней, развязывает руки. Видимо, от особой внутренней доброты.

— Трубы тащи сам, урод.

Ты ж моя дорогая, моя лапа... Как я тебя люблю.

— Лежи и не дыши, мудила. Щас психолог придет. Вот пусть она тебя в дурку-то...

Хорошо хоть рогожу какую-то сверху кинула, а то инеем покрываюсь.

* * *

Я лежу и слушаю мурлыканье молоденькой мозгоправки. Красива. Строга. Подтянута. Эсэсовская форма с пилоткой ей бы подошла.

— Вы меня поняли? Вы же понимаете, что это третья попытка за пять лет, и я могу вас отправить в психушку?..

Я смотрю в эти ясные глаза и прошу дать мне одеться. Приносят. Сидит, отвернувшись.

Говорили недолго. Когда я перешел к онтологическому аргументу и гештальту, она лишь сказала, что это ничего в ее решении не меняет, но последний шанс готова дать... и упаковывать не будет. Никакого понимания и сочувствия я не получил, да и не хотел. Главное — не закрыли.

* * *

В больничном туалете вкус стрельнутой дешевой сигареты слаще меда.

В окне сырость и серость. Кавголовское озеро ниткой проглядывается из-за деревьев.

Вечером придет жена — врач сказал. Я стою, перевариваю дым, а в голове крутится ее крик:

— Ты сначала долги, гаденыш, отдай, а потом подыхай!

Надо где-то еще одну сигарету стрельнуть... О, вот этот даст... В туалет зашаркивает чудо в трениках с пузырями на коленках и лицом спасителя у ночного ларька... Только «Беломор»? Господи, да что угодно!

* * *

Трясемся по раздолбанной дороге в маршрутке. Молчим. Дома долго тоже ни слова.

И вдруг:

— Иди пить чай.

Через минуту, когда встаю с дивана:

— Только курить на лестнице.

Значит зачем-то нужен. Ей.

А себе?..

БОЦМАН

— Смотри, боцман!

— Почему — боцман?

— Тельняшка!

— Ага, я тельник напялю — тоже боцманом буду?

Но кличка Боцман закрепилась, как намертво прирастают к человеку любые мгновенно рожденные клички.

* * *

1983 год. Лето. Позади первый курс экономического факультета ЛГУ им. Жданова. Мы с Димкой шагаем через парк Александрово-Невской Лавры на халтуру. Халтура в Духовной академии. Мы — разнорабочие на стройке. Ломаем во дворе академии старый двухэтажный дом для послушниц и строим новый трехэтажный. Платят хорошо, раз в неделю. Это круто.

* * *

Боцман нас встречает каждое утро. Он и впрямь смахивает на боцмана: метр шестьдесят пять, коренастый, полтинник, лицо заветренное рубленое, мятая кепчонка, потертый пиджачок, из-под расстегнутой выцветшей рубахи семафорит тельник.



Он сидит на урне. Всегда на одном и том же месте — там, где Лаврский переулок перекидывается мостком через Монастырку и начинается дорожка, пересекающая парк по диагонали и ведущая напрямиком к Духовной академии. Место стратегическое. Людное. Дорожка самая короткая — все, кто дружен с геометрией, идут по ней. Пройти мимо Боцмана невозможно в принципе. Не обратить на него внимания невозможно тоже. Его гордый вид, бедно-ухоженная одежда и пронзительный взгляд шансов проходящим не оставляют — в лежащую на коленях кепку падают монеты. Боцман — нищий.

По вечерам, возвращаясь с работы, мы его уже не встречаем: горемычная вахта заканчивается раньше.

Мы тоже кидаем Боцману. Немного. Не кинуть — запахло. Боцман никому ничего не говорит. Только кивает, не меняя выражения лица. А на лице выражение... гибельное. Сразу гонишь от себя нехорошие мысли и на автомате обещаешь себе не зарекаться от тюрьмы и от сумы. В общем, воспитательного эффекта от ежедневной встречи с Боцманом больше, чем от морального кодекса строителей коммунизма. И мы воспитываемся.

* * *

Что мы там делали на стройке — неинтересно. Стройка как стройка: отбойный молоток, раствор, кирпич. А вот сама атмосфера академии была для нас открытием. Это было почище ночных загулов с мажорами. Каждый день в нашей голове рушились мифы.

Обеспечение стройки материалами решалось просто. Утром помощник эконома вручал прорабу толстенную пачку купюр. Тот просто выходил на Обводный, поднимал руку с пачкой денег — и первый же грузовик с кирпичом сворачивал в ворота академии. Всякий раз сумма, зажатая в кулаке прораба, считывалась водилой влет и сметала напрочь все возможные вопросы и сомнения. Короче, кирпичом, раствором и всем остальным мы были обеспечены круче передовых строек победившего социализма.

Зарплату мы получали у того же помощника эконома. Вместе с профессурой ЛГУ, которая здесь тайком подрабатывала. Деньги получали во флигеле, который находился во дворе академии, примыкая к гаражу. Весь флигель под потолок был заставлен коробками Samus и Sharp. Постоянно тусуясь с мажорами, мы молниеносно высчитали размер этого немислимого в Союзе состояния: куда там какой-то «Березке»!

Ученики Академии — отдельная песня. Почему-то преобладали хлопцы с Западной Украины. Морды у всех были, как у директоров гастрономов — сытые, румяные, лощеные. И почти у всех золотые зубы. К нам ученики относились добродушно, хоть порой и интересовались у того или иного из нас, не еврей ли он, — что вводило в ступор.

Впечатлял гараж. Полагаю, он мог поспорить с горкомовским. Тачки там стояли — покруче генеральских, с Литейного, 4.

Последней каплей, разбившей остатки наших иллюзий, стала весть об ограблении эконома академии. Его родственник работал с нами и слил всю информацию за бутылкой. Квартиру эконома на Староневском взяли по наводке. Дверь и сигнализация была настолько неприступными, что воры даже не стали с этим связываться. Они просто уронили всю стену направленным взрывом и вынесли все до приезда милиции. Заставить пойти на такую выверенную диверсионную атаку могла только внушительная сумма в апартаментах духовного счетовода.

* * *

Частенько после работы мы с Димкой брали пузырь и ехали к нему в гараж на Приморскую. Впечатления от увиденного переполняли неокрепшие мозги и искали выхода в разговорах об относительности моральных и духовных ценностей. Утром же нас встречал Боцман, — и наша уверенность в том, что правда осталась только на паперти, росла и крепла.

Однажды Боцман нас не встретил. Всю последнюю неделю перед расчетом мы брели привычным маршрутом по утрам — в надежде его увидеть. Тщетно. Боцман пропал.

* * *

Не отметить последний рабочий день было невозможно. Ехать далеко не хотелось. Димка знал один кабака за Обводником. Туда и двинули. Кабак нас встретил лихим загулом большой компании. Гуляли не просто, гуляли дорого, что вытекало из количества и качества стоящего на столах. Да и приедета компания была на уровне. Ребята оккупировали почти все помещение и, судя по всему, зависали здесь не первый день. Мы с Димкой пристроились в углу и незаметно набрались до градуса общего веселья.

В один из подходов за очередной порцией я тихо спросил бармена, кто банкет. Он кивком головы указал на мужичка в дальнем углу за отдельным столиком. Я, хоть и принял изрядно, из любопытства стал разглядывать этого благородного дядьку в дорогом костюме и белоснежной рубашке: красивый загул увидишь не часто, особенно в этом районе. Чай не Невский.

Зрение меня никогда не подводило. Но я подозвал Димку, и мы сразу поняли, что поначалу сбило меня с толку — прикид.

Банковал Боцман.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Система натяжек и грузов у «спинальников» (с перелом позвоночника) устроена хитро. Я долго ее разглядывал, пытаюсь постичь устройство. Все лирики втайне любят физику. Метафизически. Понять не могут — ищут душу в непостижимых механизмах.

Они лежат на своих инженерных кроватях, как космонавты в межзвездном поле. Глаза вверх. Весь мир — белый потолок. Загипсованы по подбородок. Все в веревках-растяжках. Дышат, как минеры — бесшумно и ровно.

И тут она. Еще неделю назад стоя на коленках ела. И уже на ногах. Наташа. Самая красивая на свете. Потому что я ее люблю. Потому что я не могу без нее жить. Потому что это — судьба. И мы в институте им. Г. И. Турнера на Лахтинской, 3. Это наш дом. Наш храм. И наша любовь живет здесь.

* * *

Наташа — гимнастка. Чемпионка. Прекрасна, как богиня. Позвоночник на части после падения на бревне. Теперь, когда смотрю по телевизору выступление гимнасток, матерюсь: это придумали эсэсовцы.

Наташу собрали. В Турнера — асы. Несколько месяцев «горизонта» в растяжках. Потом недели передвижений на коленках с прямой, как линейка, спиной. И вот она стоит. Моя. Самая прекрасная на свете. Наташа. Стоит и сияет ярче солнца. А вместе с ней сияю я.

* * *

Я лежу в соседнем отделении. Меня переделывают. Четыре года назад я попал под армейский «Урал», влетел под него и, зацепившись одеждой за что-то под рамой, волочился за ним, оставляя на асфальте кровавый след. «Урал» тормознул, когда офицер в кабине увидел и услышал орущих людей. Молоденький солдатик-водитель даже не заметил.

В нишей районной больницы, подсчитав пробоины (три открытых, осколки, скальпированные раны, газовая гангрена), решили ампутировать, но заезжие ленинградские из Раухфуса забрали к себе и гениально меня починили. Вышел кривенький и страшенький, но живой.

Через четыре года капремонт руки: кожа вросла в кости, клешня дугой, никакой эстетики. Девки смеются. Парень комплексует. Решили хлопцу сделать глубокий тюнинг.

Меня водят на показы светилам. Я сияю: я знаменитость, меня выбрали в качестве самого сложного экземпляра. На мне отрабатывается то, за чем — будущее. В общем — Юрий Гагарин. Профессора выбирают японскую пластику. Во всю грудь делается разрез в виде буквы «п», этот кусок кожи отдирается и напяливается





на скальпированное предплечье — и рука оказывается в этом куске, как в повязке, через шею. Только повязка из собственной кожи. Последний разрез сделают, если не будет отторжения. Я пришит кожей сам к себе...

Как только отходит послеоперационный наркоз и мне позволяют встать, я мчусь в соседнее отделение. Там Наташа. Измученные разлукой, наши сердца бьются часто и счастливо. Ей можно ходить все больше, она скоро затащует. Мне осталось дожидаться последнего разреза — уже мелочь. Все будет отлично. Ведь мы вместе. Красивые, сильные и почти здоровые. Мы не можем друг без друга. И впереди огромная счастливая жизнь.

* * *

Мама решила на серьезный разговор. В палате никого.

— У вас все так серьезно?

Я не отвечаю. Она все видит по моим глазам. Сердце матери рвется. Она знает то, чего не знаю я. Но молчит.

Я показываю ей картину, которую пишу здоровой рукой уже месяц. Это вид на больничный двор из окна. Красиво до безумия. Я вложил в картину всю свою душу. Душа сама легла на полотно — она поняла. Это великая картина. Она достойна самых знаменитых музеев. Но у них нет шансов. Потому что эта картина — подарок Наташе.

* * *

Именно так и бывает. Неожиданно. Стремительно. Бесповоротно. Убийственно.

Я мечусь по больнице и ничего не в силах изменить. Наташа вся в слезах. Мои губы побелели, скулы ходят желваками. Есть силы, которые больше нас. И они нас разводят, разлучают навсегда. Наташа прижимает трясущимися руками картину. Ночь прощания в коридоре на больничном диване чудовищна предстоящей обреченностью. Мы сидим в гробовой тишине. Мы просто парализованы предстоящей разлукой. Мы все уже друг другу сказали и попрощались навеки. Мы уже умерли.

* * *

Утром я даже не подхожу к окну посмотреть, как ее увозят. Я лежу, уткнувшись лицом в подушку, и прошу сердце остановиться. Храм нашей любви, институт им. Г. И. Турнера на Лахтинской, 3... стал нашим гробом. Два сердца, бившихся как одно целое, разорвали. А ведь мы, такие молодые и прекрасные, созданы для любви, созданы друг для друга.

Мне тринадцать. Наташе — двенадцать.

Мир рухнул в Ленинграде весной 1977 года.

БОГОМОЛ

Входная дверь огромной трехкомнатной квартиры не заперта. Вонь стоит оглушительная. Коридор весь в засохших собачьих кучах. Испарившиеся лужи мочи матово блестят на линолеуме. Бедный долговязый пес с впавшими от голода боками проходит мимо нас безучастно. То что называлось Вaley — серая от грязи грудка белья, в глубине которой его усохшее до младенческих размеров тельце, запутавшееся в трубках катетеров. Запах мочи разъедает глаза. Грязь запредельная. Лицо моей матери черное от ненависти к происходящему. Да и я на грани помутнения. Валина жена давно свинтила с каким-то хахалем. Двое сыновей положили с прибором. Маленькую дочь эта сучка увезла. Валя брошен подыхать.

Я держу его на руках, невесомого, пока мать отмывает обтянутый сморщенной кожей скелетик от засохшего дерьма и мочи.

Валя беззвучно плачет. Оказывается, чувство стыда доступно и умирающему.

Еще совсем недавно он сиял:

— Саш, это несложно — раковые клетки гибнут при высокой температуре. Я догнал до сорока двух градусов и держался полдня. Все. Они сгорели.

Химик от бога. Запускал заводы от производству перекиси водорода. Сам проектировал. Звезда ГИПХа. Он и со своей страшной болезнью боролся как ученый.

Хотел переиграть... Куда там. Я потом прочитал, что раковые клетки гибнут при сорока трех с половиной градусах. Да и он знал. Не мог не знать. Он хотел обмануть смерть. А она отрывала от него здоровенные куски. Сначала одно легкое, потом две трети второго. Потом ударила по ногам, по желудку, почкам, печени... По всему. Мстила за годы разухабистого, но веселого и добродушного пьянства. Мстила за жизнелюбие книголюба, не желавшего заботиться о брэнном теле. Вот по телу и шаракнула. Оставив ясный ум. До последних минут.

* * *

— Иди-ка ты на экономический.

Валя смотрит на меня своими лукавыми добрыми глазами.

— Господи. А туда-то с какого?..

— Дурак ты, Сашка. Сейчас не поймешь. Да и не надо тебе сейчас понимать. Университет даст тебе такую базу, с которой ты потом все сможешь. Институт — он для прикладников. Ты же ни черта не знаешь, кем хочешь быть. Ведь так?..

Возразить нечего. Я только что последовательно забрал документы из инженерно-строительного и текстильного. С неявными мечтами стать архитектором или модельером не суждено.

— Да, Валентин Сергеич. Да. Наверное, правы вы...

Я совершенно не уверен в его правоте. Но я устал. И готов на его выбор. Не свой. Его.

— Правы...

* * *

На поминки мы с мамой идти отказываемся. Зная, что все его коллеги по работе будут смотреть за маминой реакцией, реакцией самого близкого ему человека, эта сучка, Валина жена, буквально на коленях умоляла ее ничего никому не рассказывать. Мама так и простояла, не проронив и слова. Никому. И только сжимала до боли мою руку. Я же готов был заорать на весь этот благодный хор, на все эти «смерть вырвала из наших рядов» и «на кого ты нас оставил»... Но молчал. Дал ей слово.

— Саша. Они бросили его все. Все. Давно. Кому ты и что скажешь? Ему уже все равно.

Мы сидели на нашей кухне и поминали человека, светлей которого еще поискать. Прощались с Валею, которому жизнь отпустила всего полтинник.

* * *

Руки у Юры мягкие, но сильные. Уткнувшись мордой в топчан, чувствую уверенное напряжение его пальцев, танцующих на моих позвонках.

— У тебя в черепухе война, парень. А все что в голове — оно бьет в поясницу. Тебе сколько?

— Сорок восемь.

— Не возраст. С кем воюешь?

Сказать?.. Ему?.. Зачем ему это. Впрочем... Вадим, давший Юрин телефон, предупредил: «Очень непростой, как раз для тебя».

— С богом воюю...

— Ого! А не боишься?

— Его? Я его вычислил, но... не чувствую. Не знаю, с кем воюю. Наверное, с собой.

— Да ты, батенька, философ.

— Ну... философ — едва ли. Так, листал пару брошюр...

— И много налистал?

В голосе заинтересованность. На первом сеансе оба молчали. Второй языки развязал.

— Студентам на спор за пятнадцать минут доказывал, что бог есть. А толку-то? Пустота была — и осталась.

— Ну... пятнадцать минут — много... Я в пять укладываюсь.

Его теплая ладонь ложится мне на голову, и я чувствую, как начинает стремительно подниматься температура. Он резко убирает руку.



- Если так нейдет, через пять минут встретишь... Его. Только жить после этого не захочешь.
- Я лежу ни жив ни мертв, а его пальцы уже ввинчиваются в позвонки.
- Оставь... Просто смиришься с тем, что есть. То что ты знаешь — еще не знание. Пустое. Формальная логика. Так любой вшивый интеллигент может, если не идиот. Только это ничего не дает. Вот и тебе не дало. Да ты и сам в этом признался. Пустота... Но зацепило тебя, видать, крепко. Поясничный отдел ни к черту. Про голову вообще молчу. Если сам не начнешь, замучаешься ко мне бегать.
- Так я ведь поверить не могу... Беда. Как это... христиан — миллионы, верующих — единицы... И еще: только через смертельный ужас и придете...
- Ну смертельный ужас я тебе и сам могу... Ты же понял. Да и не нужно это. С ума сойти не сложно, если все через голову пропускать.
- А как не пропускать, если... Это же паранойя...
- По тебе и видно... Когда зацепило-то?
- Да с детства... Сколько себя помню, вечно куда-то уплывал. Даже друзья пугались... Все спрашивали: «Ты куда все время смотришь?»
- И ты решил через книги...
- А как еще? В нас же атеизм вбит намертво. Я и решил... через философию... Ну и навернулся.
- Не ты один. Поверь мне: кто не навернулся, тот врет. Себе. Людям. Миру. Через книги не прийти.
- А как?..
- Никак. Только согласиться.
- С чем согласиться?
- Давай-ка на спину. И руки вдоль туловища. Вот так. Молодец.
- Сильные пальцы погружаются в живот. Совершенно не больно. Тепло...
- Это как огромный замысел. Сложнейший. И принцип маятника... Я не могу проще. И так уже проще некуда. Просто прими как данность — это все есть, и это все огромно, и оно постоянно ищет равновесия. А мы... как атомы. Есть три вещи, которые надо понять: все это — грандиозно, невероятно; все это — неслучайно; и третья — это то, что ты должен принять одну из двух сторон. Плюс или минус, белое или черное. И все. Дальше все устроится само. Просто верь — и не пытайся искать больший смысл.
- Как это? А случайность?.. Несправедливость?..
- И ты туда же... Проходили. Я же тебе сказал про маятник. Там все уравновесят. За тебя. Ты просто прими. А наказание и через пять колен придет, и через десять. Когда там решат. Плюс и минус. Маятник.
- Слишком просто.
- А тебе... вам всем — и нельзя иначе. Вы же через голову лезете. Городите огороды до неба. И все мимо кассы. А истина-то проста, до примитивности. Это ложь сложная, потому что ей надо удивить. А правда ясна, прозрачна, до идиотизма. Но вы же просто не хотите. Не ищите легких путей.
- А я?
- О, дерьмо-то полезло. Нет такого слова — «я». И буква — последняя. «Я» быть хочешь? До конца?..
- Нет... Уже не хочу. Раньше — да. А сейчас... Не хочу.
- Да вижу, вижу. Отпусти себя. Не воюй. Ты же все против себя и запустил. Представь теперь, что ответ только усиливается... Маятник. И чем сложнее твои вычисления, тем сложнее задача. Вспомни гностиков, ты ж читал... Такие узоры — хоть на стену вместо картин.
- Это точно.
- Ну и ладушки. Сам все понимаешь. А что не понимаешь — выбрось. И больше не ищи. Нечего искать. Оно уже есть в тебе. Просто прими. И будь на своем месте. У каждого свое место и предназначение. И не ты это место выбираешь.
- Как это — не я?
- Опять ты со своим «я». «Я» мешает место найти. Слишком много о себе мнит... Место уже приготовлено. Каждому. Это сердце подскажет... Все. Одевайся. Третий раз не нужен. Я тебе капиталочку сделал. Побежишь как новенький.
- Юра. Я вам книжку хотел подарить, свою.

— Я не читаю. Совсем. Очень давно. Не надо. Все что хотел, ты и так мне сказал. А что не сказал — я знаю и вижу. Приходи через год. Если что вдруг — тогда сразу звони. Пока.

* * *

Терпения не хватало никогда. Или сразу, или никак. Зато хватало упрямства. Выкройка? Ага, сейчас... Мы и на глаз, за ночь... Ну и ничего, что ногу не поднять и молния расползается. Зато сам. Клеш! И на школьные танцы успел. Девчонки уже заметили и с любопытством рассматривают чудо из зеленой брезентухи, обтягивающее мощные спортивные ноги. Я свечусь от гордости.

— Неужели сам? У тебя и машинка есть?

— «Зингер»! Даже с моторчиком.

— Сашка, тебе надо модельером...

* * *

— Девушка. У нас конкурс медалистов. А у вас — три четверки. Следующая...

— Вы что? Сказано же было — только красные дипло... Мо-ло-дой человек! Вам... Давайте! Давайте же!

— Но у меня две четверки. По-русскому и...

— Да вы что? Это девушкам... Маша! Смотри — второй... Глянь, какой красавчик. А твой еще не ушел?

Нас двое — и мы даже не познакомились. Мы стоим у дверей текстильного института. Наши документы только что приняли на самый блатной факультет — дизайна. Мы стоим и курим.

— Слушай, это полный кирдык. Там же одни бабы.

— Да-а... Вот попали... Нет, это засада. Да и мужики засмеют — бабский факультет.

— Это точно... Надо валить...

— Мальчишки, вы чего?! С ума сошли?! Как — забираете документы?! Маша! Они забирают документы, оба! Маша-а-а! Мальчики!..

* * *

— Геннадий Петрович...

— Саша? Заходи. Ты же в аспирантуре... Какими судьбами? Твои сейчас на кафедре... А у вас теперь экономикс — прям по-западному. К нам-то с чего? Я своих через час собираю. Паша тебя все спрашивал. На докторскую идет.

— Геннадий Петрович. А я ведь к вам на кафедру... Возьмете?

— Это как?

— Да я перевелся. На философский. К Солонину. На кафедру эстетики.

— А тема?

— «Смысл любви в русской философии». Прозерский к себе взял.

— Вадик Прозерский? Ну ты даешь! А тема-то... Ого-го! Конечно, возьму. Не вопрос. Тебе сколько осталось? Успеешь?

— Два года. Успею.

— Ну тебя и качнуло! Смысл любви! Эпическая сила! По граммулине, дорогой, а? Не против, надеюсь?.. Ну — за смысл любви, Сашка!

— Да просто за любовь.

* * *

— Ну как тебе объяснить... Вот есть «плюс» и есть — «минус». Белое и черное есть. Добро и зло...

Дядя Валя, Валентин Сергеевич, еще здоровый и живой, смотрит на меня, начинающего, но уже нахального вузовского препода. Смотрит, как происходит *это*. А это действительно происходит. Проходные с виду истины взрываются в сознании двадцатичетырехлетнего самоуверенного щенка пронзительным откровением. И ему смешно наблюдать за тем, как вечно торопящаяся молодость споткнулась.

Споткнулась и задумалась.

СТО ДЕСЯТЬ МЕТРОВ С БАРЬЕРАМИ

Р а с с к а з

*Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
Утецусь, прислонясь к твоей груди,
Умоюсь твоей стужей голубою...*

Б. Ахмадулина

1.

Все было вопреки времени, которое к середине осени совсем перестало двигаться, и здравому смыслу. Возле ресторана «Огни Тайшета» она осторожно перешла улицу и нырнула в подъезд здания управления образования, где когда-то глубоко и основательно пахала ниву этого самого образования. Она поднялась на второй этаж и направилась было в конец коридора, где располагались профсоюз, как вдруг...

Нет-нет, еще не вдруг! Ее одолевали тревожные мысли и эмоции, причины которых не понимала даже она сама. С тревогами все ясно: разговор с риелтором о продаже квартиры, мягко говоря, огорчал. Квартиру нужно было срочно продать — и тогда сам собой развяжется узел с мужем. Развелись они десять лет назад, но долгое время вынуждены были жить вместе, — если это можно назвать жизнью. Результат: съемная квартира. Все разговоры о квартире и сами риелторы, и даже собственно сделка уже которую неделю поднимали в душе такую муть, сеяли такие тоску и уныние, что впору бежать за Можай. Второе переживание — сын. Даже не сам сын, которого она любила, несмотря на то что он ее скоропалительно сделал бабушкой, а его дорогие, в прямом и переносном смысле, хвосты. Ему надо уезжать, считала она, оставлять жену и маленького ребенка — и рубить, рубить хвосты. А ей надо думать, где искать для него деньги. Много денег. Чем больше, тем лучше. Договорится ли он о пересдаче?.. Где будет жить?.. Что будет есть?.. Да мало ли о чем может думать учителька, замотанная двумя ставками, старенькой мамой и сетевым маркетингом, живущая на съемной квартире, — накануне Дня учителя! Две последние недели особенно донимала одна мысль: бросить все в городе — дурацкую работу, съедающую мозг без остатка и отнимающую все силы, съемную квартиру, за которую нужно платить ежемесячно бешеные деньги, бросить грязный и некрасивый город, — и уехать в деревню, в отцовский дом, уютный и теплый.

Ощущение чего-то предстоящего, доброго и светлого, уже потихоньку заполняло ей душу. Даже не ощущение — скорее, его предчувствие. Предощущение. Как будто сквозь рев очередного тайфуна, пытающегося смыть несчастных испуганных американцев с полуострова Флорида, сквозь треск телетайпов тысяч брокерских кампаний, кричащих на всех языках мира о падении курса акций «Крайслера», сквозь шелест опадающей с берез желтой листвы пробивался царапающий душу шепот:

— И-ри-шеч-ка-а-а! Сол-ныш-ко-о-о! Я тебя...

Последние слова, как она ни напрягала слух, ей никак не удавалось расслышать.

2.

Все было вопреки времени, которое, похоже, осенью останавливалось, и логике, которую он сдал тридцать лет назад на отлично. Возле ресторана «Огни Тайшета» он перебежал улицу, как всегда на красный, и вошел в здание управления образования, факт существования которого он не признавал. Появление между учеником и учителем органа, который ел, пил, спал и требовал от него, учителя, массу никому не нужных отчетов, придуманных показателей, мягко говоря, огорчало. Вдобавок к этому невеликому, на фоне других, огорчению его мучили две не дающие ему спокойно уснуть мысли. Первая, неотвязная и неотступная, была вызвана смертью жены, которую он похоронил в июле. Прожили они больше тридцати лет; она родила двух замечательных мальчишек и сторела от рака. Вторая — мент, приносящий уже на третье заседание суда характеристики, что он, мент, хороший, даже отличный семьянин, всеми (посмотреть хотя бы на одного!) уважаемый работник. А этот «хороший семьянин» чуть было не оторвал собственному сыну-второкласснику ухо за спрятанную бутылку водки. Правда, это в суде никого не волновало: третий раз находились причины, оправдывавшие действия милиционера.

К мыслям такого рода примешивались другие, противные и прилипчивые. Ему, например, осточертели огороды всех сортов и расцветок. Нашел себе забаву на старости лет — огород... Неужели не хватит на зиму мешка картошки?.. Сел бы в поезд — и в Ригу! Там дядька... Или в Находку, к племяшке. Который год уж зовет! Пыль провинциальную с ушей бы стряхнул. А то читает на уроке: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом», — а сам и моря-то никогда не видел за всю свою жизнь.

Местечковое постогородное осеннее ощущение напрямую и крепко было привязано к мировой скорби: не сторел в Европе, под Цюрихом и Женевой, тридцатитонный трансформатор большого андронного коллайдера, сыто урча, стабильно и исправно разгоняет он быстрые нейтроны на благо прапраправнуков. Они разгоняются все быстрее... и гудят, гудят... И сквозь этот гул слышно далекое-предалекое:

— Се-ре-жень-ка! Ры-боч-ка! Я тебя...

Последнее слово, как он ни напрягал слух, ему никак не удавалось расслышать.

3.

Чтобы оказаться им обоим в нужное время и в нужном месте — мотив уже был. Был и некий смысл в их неожиданной и негаданной встрече: слишком длинной, нескончаемой казалась в их жизни черная полоса, которая стелилась на все четыре стороны, чавкала конторской суглинистой весновспашкой. Слишком долго они были окружены толпами людей: родными и близкими, учителями и учениками, просто прохожими и незнакомыми, — оставаясь наедине с собой. Побывать с самим собой бывает полезно, но не в таком количестве. Вечера, особенно беззвездные ночи, были для них обоих мучительны, выходные и праздники — невыносимыми. И чего, казалось бы, надо? Социальный статус определен у обоих четко. Она — учительница! Мать и бабушка, хотя еще и дочь. Сразу и свекровь, и теща. В браке состояла, но разведена. В партии была, отлучили. Не владеет, не привлекалась... Удивительно, но в ней не было жажды противоположного пола, как не было ни распутства, ни цинизма. В ней не было даже полагающегося учительского высокомерия. Из своих учеников она легко и без натуги ваяла маленьких, но основательных человечков: добрых, светлых, как она сама, легких на подъем и общение. Ваяла не с восьми до пяти — от зари до зари, как и ее мать.

Нет, девчонки в школе не раз делали поползновения, каждый раз все более робкие, познать ее. Подводили, так сказать, коня, давали ей шанс. Но ловить на такой мизер человеку, обжегшемуся на молоке... И она дула, усердно дула на воду. Вечером, по сложившейся привычке, брала в руки женский роман из аляповатых серий «Шарм» или «Откровение», а мысли скользили по поверхности сюжета, как камешки по воде. Очередная Джейн, Рони или Барбара сжимала зубы и отдавалась прямо на песке на берегу океана или на инкрустированном слоновой костью ложе шейха, а она ложилась на свой диван-«трансформер» одна, на сто десять процентов уверен-

ная, что доцеловать ее плечи никому и в голову-то не взбредет... Хотя где-то в самом закоулке ее порочного сердца (порок был, увы, настоящим) жила крохотная и глупая... даже не сама надежда, а ее праправнучка: а вдруг?!..

4.

И ему коллеги по учительскому цеху делали различные предложения, наперебой расхваливая своих сестер и знакомых, размеры их бюстов и достоинства их душ, читательские пристрастия, гастрономические и кулинарные способности. Кто в шутку, кто всерьез набивался в свахи, хотя все знали: прошло немногим больше месяца после похорон жены. Именно жены: официально он был разведен, но все сделал как полагалось. Ведь бумага — это такая мелочь, она ничто в сравнении с настоящими чувствами. Болезнь без скидок и прикрас расставила все на свои места. Так бывает, что чужие люди неожиданно становятся дорогими и близкими, а родственники, наоборот, отходят в сторону. Рак — странная и малоизученная болячка...

Удивительно, но их тридцатипятилетнее па-де-де сложилось в великолепный танец, трагический и комический одновременно. Результатом этого долгого танца стали два сына, которые давно жили отдельно. Он остался один, с кучей невообразимых талантов. Заводской интеллигент в первом поколении, он преподавал русский язык и литературу в школе, на старости выучился и получил второй диплом — ландшафтного дизайнера (зачем?!), вел кружки — флористики и стрелковый, писал стихи и песни, резал, пилил, строгал — и страдал. Страдал давно и запоем — от одиночества. Чем больше он страдал, тем глубже были запои. Чем глубже были запои, тем более подозрительным становился он. И верил, что сам он — олицетворение вселенской совести, но в этом своем воплощении в условиях полусгнившего общества он не может достойно исполнять свою функцию, потому все вокруг есть не что иное, как суета сует.

Все поняли: он просто спивается, догнал его проклятый завод... Ранил почти на излете. Не протяни ему руку помощи покойная жена, неизвестно под каким забором нашли бы его косточки...

Сейчас он был трезв и зол сам на себя — за пустые переживания. О новой хозяйке он и не помышлял... Хотя, пожалуй, думал, конечно, думал, но не о хозяйке, о совсем ином... Он, в чем стыдно было признаться, с гриновским упрямством верил в «Алые паруса». Только с точностью до наоборот: найдется его Ассоль, придет, придет! Приплывет! Не может она до него не добраться... Она будет не очень высокая и не самая красивая, но это будет его Ассоль, родная и близкая, ближе и дороже которой не бывает. Это была не слепая вера-верочка, не глупая надежда-надеждочка, а непоколебимая уверенность.

Он брал гитару, левой рукой трогал тугой неподатливый колок и долго-долго гонялся за ускользящей мелодией осени. Мелодия была тихая, светлая и печальная, похожая на эту осень.

5.

— Боже, какие люди! — рисуясь, но как-то суетливо, он ухватил ее за руку и попытался поцеловать.

— Обыкновенные люди... как все... — она почувствовала неловкость и смущенно улыбнулась. Получилось это премило.

— Сто лет не виделись! Позвольте облобызать вашу руку?.. — продолжал он неловкую игру, ощущая нелепость того, что говорил и делал.

— Ух ты! Прямо эротическое кино! — из-за ее плеча вынырнуло улыбающееся лицо директора его школы. — Ну вы даете, ребята!

— А чего? Просто встретились... старые знакомые, — поторопился он с ответом, но руку отпустил.

Три неуклюжих фразы, десяток незамысловатых слов, два неловких жеста — вот и вся сцена. И не было никакой искры. Через пару минут все разошлись: директор завернул в кабинет заведующей, она — в профком, а он вышел на задний двор управления образования — покурить с шоферами.

«Старый идиот, и зачем заходил сюда? — с какой-то неожиданной злостью подумал он. — Засветиться? Ну... *засветился!*.. Третий раз принес девчонкам-методистам цветы, поздравил с Днем учителя. Вежливый, блин! Оно мне надо?.. А им?.. Сморщенный, лысый, беззубый придурок с интеллигентскими заморочками!»

И вдруг, несмотря на злость на самого себя, ему захотелось увидеть ее лицо, ее улыбку, снова взять за руку. Через вестибюль управления он выскочил на крыльцо — и увидел ее вдалеке, через секунду она уже скрылась в толпе. Он не побежал за ней, будучи твердо уверенным: она уже никуда не уйдет.

Небрежно перекинулся парой фраз с цветочницами в ларьке неподалеку, — три раза в неделю он покупал здесь флоксы! Кому? А им, собственно, какая разница... Берет, платит — значит надо! Через стекло витрины он увидел ее, она что-то покупала. В руке мелькнуло алое — неужели алые паруса?! — и скрылось в пакете.

Она нисколько не удивилась, когда он решительно взял ее за руку. Это было не прикосновение, требующее однозначного ответа, быстрого и утвердительного, а легкое касание, от которого пробежали мурашки по всему телу. Внутри стало жарко, снаружи — зябко, а все вместе складывалось в приятную, сладостную тяжесть.

— Привет! Еще раз, — отдуваясь, произнес он. — Сразу три привета!

— Привет! Сегодня вроде уже здоровались, — она улыбнулась.

— Хорошему человеку пожелать здоровья и десять раз на дню не грех.

— Кто это тебе сказал, что ты хороший?

— Сам знаю!

Он видел ее улыбку и догадывался, что улыбается она каким-то своим тайным мыслям. А она вспоминала недавний разговор с подругой, женой того самого директора, которого они встретили в управе. Они обе работали с младшими классами, а на перемене, следя за своими сорванцами, успевали обсудить городские новости, большие и маленькие проблемы. И неделю назад подруга, открытая и прямая, сказала — то ли шутя, то ли серьезно, — что, мол, пропадает такой мужик, уже не пьющий, вдовец, дети выросли, а уж умища-то палата, да и ей жизнь свою пора устраивать... Она тогда посмеялась над фантазией Веры, а она, фантазия-то, тут как тут, из плоти и крови...

Они шли по центральной улице и болтали обо всем на свете. Она рассказала о делах в школе и в классе и как-то мимоходом сообщила, что уже десять лет разведена... А то алое, кстати, оказалось красным — и не парусом, а новоизобретенной шинковкой для капусты.

— А не попить ли нам чаю? У меня... Здесь совсем рядом, — неожиданно предложил он. — Кстати, есть соленые хариусы...

— Мне через час нужно быть в школе, — сообщила она грустно.

— А мне уже час назад нужно было быть в школе! — он уверенно повернул к своему дому, потянув ее за собой.

И уже не было никакой искры... Слова и слова. Но они теперь не могли просто так растаять в осеннем воздухе или раствориться в череде событий.

А над городом стояла фантастическая осень. Березы роняли желтые пятки, ковром устилавшие землю. Но пахло совсем не по-осеннему свежо — весной и любовью.



Иван ПОДСВИРОВ

ТАЙНА ГРИГОРИЯ ФЕДОСЕЕВА И ЕГО «ПОСЛЕДНИЙ КОСТЁР»

Литературно-историческая хроника

I.

Когда я думаю о судьбе Григория Анисимовича Федосеева, на память приходят слова из «Поучений» Иоанна Златоуста: «И сеятель, и строитель, и путник, и дровосек, и ремесленник, и всякий человек, если хочет приобрести что-нибудь полезное, должен работать и трудиться. И как семена имеют нужду в дожде, так мы в слезах. Как землю нужно пахать и копать, так и для души, вместо заступа, нужны искушения и скорби...»

Искушения и скорби заставили Федосеева неустанно трудиться и много размышлять. Волей к жизни он возделывал свою ниву — среди молчания древних скал создавал топографические карты, вынашивая сюжеты своих поучительных, полезных книг. Будучи исследователем-изыскателем, он достиг совершенства в профессии, в познании тайн природы. Как художник оставил в литературе «Записки путешественника» и не гаснущий «Последний костёр». Сотворить такое удается далеко не каждому.

В горах Восточных Саян над гигантскими хребтами парит в небесах пик Грандиозный. На его отроге — перевале Иден в 1968 году был поставлен из окисленного металла памятник мужественному первопроходцу и писателю. Обелиск изготовили друзья и коллеги покойного начальника экспедиций — герои его книг, на протяжении десятилетий ходившие с ним по неизведанным местам. Впоследствии перевалу Иден решением правительства РСФСР было присвоено имя Федосеева, обозначенное ныне на географических картах и в атласах мира.

Восьмигранное каменное основание хранит замурованную в нём урну с прахом вечного скитальца. На грани обелиска отсвечивают его слова: «...Карта! Как просто на неё смотреть и как не просто, порою мучительно трудно создавать её!»

Часть праха писателя захоронена в Краснодаре (бывшем Екатеринодаре), куда ему посчастливилось вернуться на склоне жизни, после долгих скитаний. Критики и биографы, рассматривая произведения Федосеева, называли его «отважным геодезистом», «заядлым путешественником и романтиком», да и сам он определял большинство своих вещей как «записки путешественника». Но мало кто знал, что таилось за его бесконечными путешествиями, каков был их первоначальный побудительный мотив.

II.

Моя встреча с Григорием Анисимовичем произошла в 1965 году в Черкесске, бывшей верхнекубанской станице Баталпашинской (в просторечии — Пашинке). Утром в обкомовской гостинице, где я временно квартировал в одноместном номере, он брился в общей туалетной комнате рядом со мною. Овальные зеркала над белыми раковинами, на крашеном полу — узорчатый, в восточном стиле, ковёр. В соседнем зеркале отражалось обильно намыленное лицо седовласого, в очках, мужа, похожего на моего отца. Только мужчина был старше его и по виду солиднее — партийный работник или преподаватель института. Из глубины зеркала на меня устремился пристальный, изучающий взгляд:



— Здорово дневали! Вы приехали в командировку? — услышал я наше, казачье приветствие. Я ответил: сотрудничаю в областной газете, учусь в Московском государственном университете. Название я произнёс полностью, не прибегая к аббревиатуре. Не ради похвалы, а в предупреждение его снисходительного, как мне показалось, тона. Мужчина не изменил выражения лица, слегка кивнул и снова поинтересовался:

— А откуда родом? Местный... кубанец?

— Из станицы Кардоникской.

Рука его дрогнула, на мгновение он задержал у подбородка лезвие бритвы, ещё внимательнее пригляделся ко мне и сказал со значением:

— Будем знакомы. Федосеев.

В замешательстве я не назвал свою фамилию. Вероятно, он считал, что произнесённое им вслух имя вызовет у меня, молодого журналиста, если не трепет и восхищение, то непреходящий интерес. Увы, в то время я не читал журналы «Сибирские огни» и «Дон», где он печатался, и мне ни о чём не сказала его фамилия. В университете, под влиянием особой студенческой атмосферы, я пристрастился к чтению модных писателей — В. Катаева, Ф. Искандера, В. Аксенова. Позднее я обнаружил в «Граве забвения» и «Святом колодце», в «Козлотуре», «Апельсинах из Марокко» и в других аналогичных вещах некую манерность, подражание западным образцам. Но в ту пору меня подкупила искренность тона, искусная вязь, бойкость и техника письма.

Конечно же, я запоем читал «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Из жизни Фёдора Кузькина» Б. Можая, «Владимирские просёлки» В. Солоухина, прозу К. Симонова, В. Некрасова, К. Паустовского, В. Астафьева, Е. Носова, рассказы В. Шукшина. Это было гораздо ближе моим личным ощущениям и походило на жизнь, которую вели мои родные и знакомые.

Многих, очень многих довелось прочесть, но книги Григория Федосеева прошли мимо. Признаться, этот род литературы — о необходимости согласия человека с природой и животным миром, о рискованных путешествиях по горам и бурным рекам — в ту пору не занимал моего воображения. Впрочем, однажды глаза задержались на вызывающе дерзком заголовке романа «Смерть меня подождёт». — «Надо же, — подумал я с суеверным страхом, — какая самоуверенность!» — и взгляды скользнул мимо. Так бывает, когда боковым зрением выхватишь из толпы колоритного прохожего и тут же забудешь о нём.

Обнаружив равнодушие, пустыню моего неведения, Федосеев помрачнел, правая бровь у него изогнулась, поднялась вверх, и он спросил с некоторым раздражением:

— А вам известно, откуда произошло название Курдюмки?..

В тёплой речке Курдюмке мы с ребятами летом купались, ловили в тенистых заводях черноватых усачей, серебристых пескариков и форель с красными пятнышками, иногда заплывавшую из Аксаута. Но почему эту речушку называют Курдюмкой, никто из нас не знал и знать не хотел. Мы росли, как трава, и, в сущности, были манкурты, жалкие недобитки разгромленного казачьего народа-племени. Уцелевшие старики говорили, что наша станица, как и родственные ей по Хопёрскому полку Баталпашинская, Суворовская, Бекешевская, Боргустанская, Зеленчукская, Сторожевая, Преградная, Исправная, Усть-Джегутинская, Невинномысская, Воросколесская, Удобная, Отрадная, Передовая, Темнолесская, Беломечётская — до революции были богаты, многолюдны. После Гражданской войны население в них убавилось — где наполовину, втрое и вчетверо, а где и почти совсем никого не осталось; восполнить понесённые утраты не смогла и пришедшая голытьба — босая, оборванная, непугёвая. Наших коренных кардоничан спалил огненным дыханием Кошей Бессмертный, остальных унесло ветром за гору Дженгур. И там они, рассеявшись по-за Кубанью, Кумой и Тереком, сгинули навек. Манкурты, мы верили и не верили рассказам стариков, считая их «тёмными».

— Вижу, вы не интересовались топонимикой здешних мест и Курдюмки, — уловив моё замешательство, сказал Федосеев. — На её берегу рядом с подворьем Богомазовых лепилась хатка попа Курдюма. Бедняга батюшка пропал, а название речки удержалось.

Он говорил намёками, но тогда я не понял их смысла. Хотя моя родная тётка Марейка в замужестве была Богомазовой. Побрившись, Федосеев удалился.

В редакции я увидел на стене его портрет и объявление: «Сегодня в 16.00 состоится встреча с нашим земляком, писателем Г. А. Федосеевым, автором записок путешественника “Мы идём по Восточному Саяну”, повестей “Тропою исканий”, “Злой дух



Ямбуя», романа «Смерть меня подождёт»). Несколько минут я стоял в коридоре онемелый, совершенно подавленный. Так вот с кем я имел честь разговаривать в гостинице! И не оказал ему достаточных знаков внимания... Только сейчас до меня дошло: упоминание о Курдюмке явно указывало на то, что Федосеев из нашей станицы.

В довершение ко всему выяснилось: мы из одного рода. Его мать, Клавдия Васильевна, доводилась двоюродной сестрой моему деду по отцу — Ивану Гавриловичу. У нас обнаружился знаменитый общий предок — казак Новохопёрской крепости Пётр Подсвилов. По просьбе товарищей сей Пётр сочинял (тоже в некотором роде писатель!) весьма толковые нижайшие прошения на имя Великой Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны о пользе комплектования нового полка «казачьими детьми и родственниками», годными к службе. По этому делу в 1772 году он был принят с группой казаков воронежским губернатором, после аудиенции ездил в Петербург, в Военную Коллегию. За проявленное «усердие и ревность» по личному ходатайству фельдмаршала князя Г. А. Потёмкина-Таврического Пётр был произведён из простого казака сразу в есаулы с чином армейского поручика, а его сподвижник Павел Ткачев — в подесаулы. Они и сформировали на основе хопёрской казачьей команды Хопёрский полк. Фактически первым командиром этого полка, от которого ведёт своё старшинство (с 1696 года) Кубанское казачье войско, был Пётр Подсвилов, его помощником сотник Павел Ткачёв. Вскоре полк был отправлен на Азово-Моздокскую линию, официальным его командиром назначили полковника (армии премьер-майора) Устинова. Он-то и привёл хопёрцев на кавказскую линию, на Куму и Кубань, в Чёрные горы.

III.

Моему знакомству с Федосеевым предшествовал случай, для меня в некотором смысле судьбоносный. Двумя месяцами раньше, на студенческих каникулах, по обыкновению я заглянул в редакцию областной газеты «Ленинское знамя» (ныне «День республики»). Редактор Андрей Лаврентьевич Попутько, член бюро обкома партии, влиятельная фигура в местной иерархии и мой покровитель, испытывал неподдельный интерес к творческим людям. Он поддерживал приятельские отношения с известным писателем Владимиром Максимовым, дружил с литераторами разного толка — Андреем Губиным, Владимиром Гнеушевым и Семёном Бабаевским, регулярно печатал статьи искусствоведа Евгении Польской.

К Евгении Борисовне Польской редактор относился с обожанием. О ней и её муже скажу особо. Во время немецкой оккупации Леонид Николаевич Польской (уроженец села Казьминки, племянник вице-губернатора Ставропольской губернии, затем ленинградский журналист) находился по заданию ГРУ в подполье. В Ставрополе он редактировал газету «Казачий клинок», а Евгения Борисовна, правнучка казачьего полковника Ильина из станицы Суворовской и дочь красного комиссара, служила в редакции литературным секретарём. Уйдя «в отступ» с казаками и их семьями, Польские оказываются на территории Германии. Леонид Николаевич потерял связь со своими, о нём попросту забыли. В Потсдаме супруги сотрудничают в той же газете под новым названием — «Казачья лава». С отступающими из Северной Италии частями весной они переходят через заснеженный Сен-Готардский перевал в Австрию. Оттуда в июне 1945 года десятки тысяч казаков с семьями во главе с генералами П. Н. Красновым, А. Г. Шкуро, Т. И. Домановым, Султан-Келеч Гиреем были выданы чекистам англичанами и репатриированы в СССР. В вагонах-телятниках обречённых отправили в советские лагеря — на Север, в сибирскую тайгу, на рудники и шахты, откуда большинство из них не вернулось.

С мужем Евгения Борисовна увидится лишь через одиннадцать лет — в 1956 году. С той поры, влача полунищенское существование, они живут в Пятигорске под негласным надзором. Им не доверяют. Талантливому историку и краеведу Л. Н. Польскому строго-настрого было запрещено выступать в прессе под своим именем, Евгении Борисовне это позволяли... Андрей Лаврентьевич печатал её статьи, а также заметки Леонида Николаевича — под псевдонимами.

Однажды Попутько познакомил меня с Евгенией Борисовной. Это была субтильная, сухонькая, невысокого роста старушка с независимым и гордым характером, с угольными волосами, тронутыми свинцовой сединой. По виду персиянка... Стрижку она предпочитала короткую — вероятно, по старой лагерной привычке. Мне запомнился её взгляд сквозь выпуклые очки: быстрый, мгновенно оценивающий, но вместе с тем доброжелательный. Я показал правку её последней статьи, она мельком пробежалась по строчкам, вынула из ридикюля ручку, решительно зачерк-



нула в гранках несколько слов и вернула их мне с одобрительной улыбкой: «Благодаря вам, молодой человек! Вы пощадили меня».

Тогда я не догадался познакомиться с нею поближе. Непростительная слепота молодости!.. Хотя откуда мне было знать, что эта чопорная маленькая старушка, прошедшая все круги ада, не только известный краевед, но и талантливая писательница, тайком сочиняет свои рассказы и художественно-исторические повествования без всякой надежды на публикацию. Под конец жизни (скончалась она 18 января 1997 года) Евгения Борисовна напишет горестно-пронзительную книгу «Это мы, Господи, пред Тобою» — о выдаче казаков Советам, коварстве англичан и чекистов генерала Голикова, смертных ужасах Лиенца и Юденбурга, кошмаре Сиблага — кемеровских, беловских, киселёвских и прочих лагерей, в которых сидела.

...Итак, на зимних каникулах, солнечным бесснежным днём предстал я пред светлые очи Андрея Лаврентьевича. Крепкого телосложения, круглолицый, он был как всегда приветлив и радушен. Сразу поинтересовался, есть ли у меня деньги, и, верно оценив мое смущение, попросил бухгалтера выдать мне авансом шестьдесят рублей за ещё не написанные заметки о станичниках. По той поре это составляло больше половины зарплаты корреспондента. Фронтовик, выходец из «беднейших низов» украинского (донецкого) села, редактор газеты привлекал к себе способную молодежь и считал личной обязанностью протектировать тем, кто, по его мнению, нуждался в помощи. Он предложил мне на выбор несколько заданий и отвёл меня к своему заместителю М., спортивному мужчине в очках с золотой оправой. Густой рыжеватый чуб, манеры фрондирующего интеллигента, скучающего в «глухой провинциальной дыре»...

За какую-то провинность его прислали сюда на понижение из Ставрополя. Жена отказалась последовать за ним в захолустье. Сдаётся, опальный М. не очень-то её уговаривал. В его кабинете сидела в кресле, нога на ногу, жгучая брюнетка с иссиня-чёрными волосами, в модном костюме и яркой блузке — заведующая отделом культуры. Они вдвоём, и, пожалуй, не без удовольствия, ездили в командировки; по возвращении, запираясь ото всех, сочиняли довольно интересные моралистические статьи об умыкании невест и калыме. Между ними и сейчас витала некая таинственность. Поэтому, уточнив тему, я поспешил ретироваться.

Немного погуляв по городу, неожиданно увидел у дома связи одинокого М. Он стоял на каменных ступеньках, спиной к белой колонне, и глядел куда-то вверх деревьев сквера, будто заворожённый полётом птиц. Я подошёл к нему. М. встрепенулся как от забытья и предложил заглянуть с ним в ближний винный погребок — «пропустить по стаканчику на прощанье». Я не располагал временем и отказался составить ему компанию. «Что ж, езжай. Потом пожалеешь... До свиданья, друг мой, до свиданья», — грустно процитировал он Есенина, и мы расстались.

Спустя неделю у нашего дома, за воротами, в густеющих потёмках, заурчала чья-то машина; как из ведра лил дождь, из машины вышел человек в плаще и заскочил в наш двор. Это был Игорь Косач, журналист, с порога оглушивший меня известием: в тот самый день, в день моего отъезда, заместитель редактора повесился в ванной, в своей однокомнатной квартире в центре города, а брюнетка уволилась. (Вскоре она погибнет в автомобильной катастрофе: в горах, на повороте, у её «Волги» коварно отказали тормоза, и машина на всей скорости сорвалась в пропасть.) Андрей Лаврентьевич послал Косача вызвать меня в редакцию и попросить возглавить отдел культуры. Мы помянули несчастного М. и в ту же ночь выехали в Черкесск.

Нелегко было оставлять Москву, университетских друзей, с очного отделения факультета журналистики временно переводиться на заочное, но это — судьба. В дальнейшем я не раз убеждался, что наша жизнь — цепь случайностей, взаимосвязанных между собой: одно вытекает из другого. Не случись этой трагической истории с М., я и не помыслил бы о работе в провинциальной газете, не встретился бы с Любой Воронкиной, моей будущей женой, и с писателем Федосеевым. Значит, провидению было угодно всё устроить так, чтобы я незадолго до кончины знаменитого родственника взглянул на него живого и всерьёз задумался о скоротечности человеческого существования. Часто некоторые события кажутся нам незначительными, случайными; с годами же убеждаемся, что ничего случайного и незначительного нет, мы и сами, каждый в отдельности, появились на свет не случайно, а для какой-то цели; вот и я, возможно, родился для того, чтобы написать о Федосееве и наших давно ушедших в иной мир станичниках, закрепить память о них на бумаге; да хотя бы вспомнить о редакторе Попутько, очеркисте Косаче, несчастной красавице-брюнетке...



Я вижу высший промысел и в том, что Григорий Анисимович успел завершить исповедальную повесть «Последний костёр». В ней он зашифровал подтекст, прояснившийся для меня позднее, при внимательном изучении его биографии и творчества. Я узнал, что после встречи в редакции он ездил в Кардоникскую в надежде отыскать свою тетрадь с записями 1918—1920 годов о событиях Гражданской войны на берегах Кубани, Урупа, Лабы, Аксаута, Малого и Большого Зеленчуков. Писатель хотел освежить память, чтобы следом за «Последним костром» приступить к историческому повествованию. Смерть не позволила Григорию Анисимовичу исполнить давнее намерение. И, однако, оставалась слабая надежда отыскать тетрадь.

IV.

Тайна биографии Федосеева, словно оберегая меня от лишних вопросов, откровенно скрывалась не сразу, фрагментами. Наверное, потому, что душа моя не созрела и не была подготовлена к объективному восприятию прошлого. Иногда тайна взблещивала неподалеку светлячком, манила и тут же пропадала во тьме; иногда внутренний охранитель ставил передо мною заслон-предупреждение: «Осторожно! Оголённый провод!».

Любому свидетелю, пережившему революцию и Гражданскую войну, было что скрывать от других и чего опасаться. Выбраться из земного ада чистенькими мало кому удавалось. Безвинны только младенцы. Наверное, и Григорию Анисимовичу было что утаивать. В нашей станице неспроста он не показывался более сорока лет. Наконец страсти улеглись. Оставшиеся несколько должностителей, позабыв обиды, больше ничего не хотели, как дойти до небольшой деревянной церкви, построенной вблизи кладбища вместо разорённого каменного храма на площади, помолиться и послушать перед вечерней колокольный звон...

Надо полагать, Григорий Анисимович очень тосковал по станице и по горе Дженгур (Левое крыло — в переводе с тюркского). Рыжей львицей прилегла она отдохнуть на северо-востоке. Крута, непокорна её обрывистая грива с желтовато-серыми, мучнистыми наплывами известняка. Справа, за рекой Аксаутом, разлеглась сестра её Джисса (Правое крыло). Горы-близнецы полукружьем оберегают Аксаутскую долину от астраханских и калмыцких ветров. Здесь оканчивается Ставропольская возвышенность со всеми её степными холмами и балками, с хуторами, станицами и городами. Между Каспийским и Чёрным морями — необозримое пространство, высочшее дно доисторического Сарматского моря. В камне-ракушечнике отпечатаны следы допотопных растений и животных. В плотных слоях заключена, как на компакт-дисках, информация о временах протекших. Притронешься к тёплому камню, приложишься ухом к раковине — и нахлынет шум древнего моря-океана. В детстве Григорий Анисимович любил слушать поющие, солнечные ветры Дженгура и Джиссы, рассматривать дикий прожилки красновато-бурого плитняка в Ивановой, Широкой и Глубокой балках. Не раз он взбирался и на лысую гору Шахан, смотрел оттуда, с казацкой сторожевой вышки, на дивный мир: уютные селения в ложбинах, снеговые хребты в синеватой дымке, уходящие за горизонт.

Так, под окаменевшим пеплом минувшего, под остывшей магмой человеческих страстей, в шелесте трав на курганах и безымянных могилах, в молчании сосен и скал, в неумолчном говоре Аксаута, бегущего с ледника, в напевах старинных песен и в записанных мною воспоминаниях стариков постепенно обнажалась для меня мать родной станицы и верхнекубанского казачества. Ближе, яснее проступала сквозь марь десятилетия судьба Федосеева.

В двадцатые годы завихрило его, оторвало от станицы, как ольховый лист от ветки. Блуждал он вокруг да около — в Закавказье, по ту сторону хребтов, затем — по окраинным горам России, напоминавшим ему кавказские горы. С рюкзаком за спиной, со скаткой через плечо, с ружьишком, теодолитом и блокнотом, в сопровождении проводников и собак, где в кирзовых, где в болотных резиновых сапогах, где в бахилах и гетрах, торил Григорий Анисимович тропы в сибирской тайге, у берегов Охотского моря, на Алтае и Дальнем Востоке. С изыскателями, геологами ставил вышки, стирая на картах «белые пятна» и открывая кладовые газа, нефти, золота, других полезных ископаемых.

В 1997 году я встречался в Москве с таким же неустанным землепроходцем — академиком, вице-президентом Академии наук СССР Александром Леонидовичем Яншиным. В молодости он упал с оборвавшейся клетью в шахту, повредил позвоночник, лежал прикованный к постели и всё же, осилив недуг, поднялся на ноги. Он стал крупным учёным-исследователем, открыл десятки залежей драгоценных металлов и сырья в Сибири, на Южном Урале и в Казахстане, участвовал в исследовании



впадин Мирового океана. Ему принадлежит классический труд «Геология Северного Приаралья», под его руководством были созданы тектонические карты Европы и Евразии, издана 15-томная энциклопедия по истории развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. Когда разговор с Александром Леонидовичем зашёл о Федосееве, он необыкновенно оживился:

— Я был знаком с ним. Это человек огромной целеустремлённости, воли и мужества. В некотором смысле отверженный счастливец. Я не знаю, какая высшая сила оберегала его в Гражданскую войну и в скитаниях. Но он всегда находил выход из невероятных ситуаций. Способен был принимать быстрые и верные решения. Спасался сам и спасал товарищей. Уникальная личность! Во время экспедиций он собрал большую коллекцию животных, птиц и растений ареала Сибири и Дальнего Востока и передал её Академии. Почти документально засвидетельствованное им в книгах — лишь малая часть того, что испытал Григорий Анисимович. Он был лёгким на подъем, скор на ногу. Окончив Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, участвовал в создании карт районов БАМа, Братской, Усть-Илимской и Зейской ГЭС. Неистощимый романтик из плеяды героев Фенимора Купера, Майн Рида и Джека Лондона.

Молодость будущего писателя, как я отметил, совпала с братоубийственной войной и отчаянным восстанием казаков генерала М. А. Фостикова и войскового старшины П. М. Маслова в ответ на развязанный большевиками террор. Федосеев был свидетелем и участником этих кавказских событий, почти не известных в литературе. Пропажа его дневника укрепила во мне решимость приняться за поиски тетради и столь нелёгкое дело — извлечение из-под обломков, из руин задавленной истины. Мне не давала покоя мысль, что страницы ранней жизни Федосеева — очень важная веха в его биографии. Я почувствовал себя обязанным восполнить хотя бы часть страниц. Значит, следовало заняться восстановлением, реконструкцией миновавшего. Я решил, в ущерб литературно-биографическому жанру, отдать предпочтение живым свидетельствам событий, происходивших в нашей станице и на Верхней Кубани в пору тревожной молодости Григория Анисимовича.

В процессе работы рукопись разрослась, кавказская трагедия против моей воли заслонила Федосеева как писателя. Наметилось две линии — историческая и литературно-биографическая. Пришлось объединить их, пожертвовав рядом документальных глав.

Многое из того, о чем рассказывали мне старики, уже походило на предания. Не мною замечено, что живые предания удерживаются в душе и памяти народной гораздо дольше строгих исторических сведений. В этом смысле предания выше истории документальной. С годами конкретные имена, лица забываются, даты и события путаются — предания, напротив, сохраняют колорит, глубинную суть былого. Наиболее удачные из них становятся легендами, даже мифами. Если старики что-нибудь невольно исказили, присочинили в своих воспоминаниях либо автор записал их не совсем точно, — думаю, это прощательно и объяснимо: сколько-то лет прошло! Но в целом я старался быть объективным в передаче духа исторических преданий.

Почти через столетие трудно, почти невозможно восстановить в точности дни смуты, понять логику кровавых событий, вникнуть в психологию и мотивы тех или иных поступков. Братоубийство сродни сумасшествию, всеобщему помешательству, и оттого условны, приблизительны все нынешние исторические изыскания и книги. Согласимся: это не живая, а дистиллированная вода. Живая вода, с мутью и кровью, утекла в инобытиё. И поневоле приходится довольствоваться лишь приблизительным отражением, призраком истины.

Вот и Григорий Анисимович — странный свидетель... Желая сказать о наблевшем и одновременно спрятать, завуалировать недозволенные мысли, он часто прибегал к едва различимому подтексту, к иносказаниям. «Запретное» было так глубоко и недоступно, что не всегда воспринималось даже искушёнными читателями. Кроме, быть может, многоопытной Мариэтты Шагинян... Создавшая мифическую «Лениниану» о добреньком вожде и забывшая сказать, что ради бредовых идей её кумир погубил миллионы жизней, эрудированная старушка первой (отдадим ей должное) уловила в книгах Федосеева «подтекст». Но оценила его своеобразно — лишь как «язык музыки», «обертон», по её мысли, позволяющий вместе с содержанием «впитывать одну идею, вернее — одно ощущение нравственной силы человека, нравственной закалки его при долгой жизни лицом к лицу с суровой и подчас грозной природой» [1]. Только ли с природой? Тут она не договорила. Писательница весьма осведомленная, Шагинян догадывалась, что вся жизнь и все книги Федосеева — сплошной подтекст.



Узнав о наветах на Федосеева от случайного попутчика, Всеволод Иванов записал в дневнике: «Может быть. Но к книгам Федосеева это не имеет ни малейшего отношения» [2]. Сергей Сартаков, автор сибирских повестей и романа «Хребты Саянские», увидел в Федосееве, талантливом инженере и математике-геодезисте, не менее талантливого художника: «Он — тонкий, вдохновенный живописец, зоркий наблюдатель самых сокровенных таинств природы. И глубокий психолог, знаток души человеческой» [3]. Что есть, то есть. Но и Сартаков не задался вопросом: а всё-таки почему Григорий Анисимович, подобно миллионам других южан, так долго скитался вдали от родных мест по Сибири и Саянам?

Время сняло запреты, и я постараюсь дать на это свой ответ. Федосеев хорошо знал многих из тех кардоничан и верхнекубанцев, кого я упомяну в хронике. С некоторыми он дружил, иные были его противниками, и все они уже в могиле, все — жертвы навязанных народу лживых идей. За давностью лет выцвели краски, теперь я лишь пытаюсь уловить блёклые оттенки того, что было и сгнуло, пробую перенести на бумагу сохранившиеся светотени. Мудрые говорили: протекшее нам даётся в поучение. Не будем пренебрегать и жалкими крохами былого, скрываемой от народа истории, чтобы и нам не пришлось больше предков страдать в настоящем, а нашим потомкам в будущем.

V.

Мать писателя Клавдия Васильевна Шведова, обвенчавшись с офицером Анисимом Федосеевым, родила от него сыновей — старшего Петра и младшего Григория. В начале Первой мировой войны Федосеев с 1-м Хопёрским полком спешно двинулся из Кутанси на фронт, воевал с немцами, австрийцами и турками, с мирными курдами и в одной жаркой схватке погиб смертью храбрых. Клавдия Васильевна погоревала и впоследствии вышла замуж за иногороднего Гузанкина, мастеровитого, незлобивого человека.

Так братья Федосеевы получили вторую фамилию — Гузанкины.

Между тем назревали тревожные события. В декабре 1917-го и в январе 1918-го на Северном Кавказе, по примеру центра, большевики принялись лихорадочно насаждать свою власть. В Ставропольской губернии, где преобладало пришлое население, она была провозглашена раньше, чем в Кубанской области и в Баталпашинском отделе. На Верхней Кубани продолжала существовать смешанная власть комиссаров свергнутого Временного правительства и атаманов Кубанского войска. Часто она совмещалась в одном лице атамана.

И зажиточные, и бедные казаки, и старшины особо не вникали в политику, находились в неведении, в добровольной спячке. Они не видели опасности, исходящей от тех, кто мирно жил рядом, давно укоренился в их станицах и хуторах, в отделах. Но эмиссары большевиков и социал-революционеров под видом мастеров, торговцев, электриков, железнодорожников, мелких чиновников выжидали заветного часа, чтобы возбудить недовольную «массу».

И час настал.

Январским днем в Кардоникскую, в окружении неизвестных лиц, прибывает из Отрадной житель ставропольского села Ивановского большевик Фисенко. На приезде матерчатый картуз, истёртый овчинный полушубок и сапоги, за неимением дегтя смазанные солидолом. По виду мужчина из народа, от станка или плуга, если бы не очки на переносице. Бугристый лоб он вытирает белоснежным платком. По его велению на площади собирают сход. Фисенко взбирается на порожки правления, припорошенные свежим снегом. Толпа замирает в оцепенелой тревоге. Приезжий, воодушевляясь, постукивает сапогами, пронизательно озирает сгрудившихся станичников и предлагает организовать Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Изъясняется складно. «А мы никаких депутатов не выбрали!» — возражает ему учитель Иван Фёдорович Иванов. «И не будем выбирать! — парирует Фисенко. — Мы тут все законные депутаты от народа». Учитель Иванов, поправляя на голове котелок, снова подаёт голос: «А скажите, гражданин, почему в названии станичного Совета не представлено казачество?» В секундной растерянности Фисенко отчуждённо смотрит из-под блеснувших очков на учителя и, собравшись с мыслями, весомо отвечает: «Трудовые казаки те же крестьяне, им тоже даётся право голоса... Будем совместно принимать революционные решения... вплоть до расстрела преступников! И точка».

В стылом воздухе повисает тишина. Казаки обдумывают последнюю фразу, а большевик Фисенко, довольный произведенным эффектом, поскрипывает на по-



рожках сапогами и, кривя рот, простецки ухмыляется. У него на ремне два нагана, во взоре — непоколебимая вера в мудрость партии. Щуплый учитель Иванов как-то сникает, незаметно теряется в толпе. И снова — шум, возбуждение... Офицеры Моисеенко, Яков Нагубный, Семён Плотников и престарелый хозяин маслобойни Бутов выступают против Совета — за прежнюю власть атамана-комиссара. Григорий Федосеев, пришедший на митинг с дружкой-соседом, иногородним Серёгой Дороховым, держится позади. С волнением вслушивается в доводы своего недавнего учителя и находит их разумными. Верно ведь: зачем какой-то Совет без казаков, если давно признана власть атамана и старшин?

Пока он думал, проворный Дорохов успел затесаться в передние ряды. Иногородний Николай Федорович Ляпин, казаки Сергей Зиновьевич Половинин, Иван Семёнович Яковенко и Кирей Трофимович Орлов, мгновенно забывшие своё родословие, вопят во всю глотку, как ошалелые: «Совет — наше спасение!» И Серёга, поддакивая им, тоже кричит: «Даёшь народный рабоче-крестьянский Совет!» Мрачноватый Пётр Исидорович Нигроров, в галифе и в таком же, как у Фисенко, чёрном матерчатом картузе, внушительно расхаживает на виду станичников и когда надо вытягивает вверх руку, после чего раздаются дружные выкрики. Ладонь у него разлапистая, как совковая лопата.

Тут же избирается станичный Совет. В его составе оказываются все, кто поддерживал приезжего в картузе. Атаманом-комиссаром объявляется Пётр Никифорович Климов. Люди в недоумении переглядываются: как же так, не успели как следует пораскинуть мозгами, а над ними уже возвысилась непонятная верхушка, горлопаны и крикуны [4].

На отдельский съезд, обозначенный как бессловный, в Баталпашинскую поехали те же лица — Половинин, Климов, Нигроров, Орлов, Семен Сотниченко. Прибился к ним и Дорохов, молодой да ранний. Федосеев не активничал, и его не записали в делегаты. В первый день съезд провели неподалёку от Соборной площади, в доме отставного полковника Свидина. Председательствовал на нём неистовый революционер Александр Гордеевич Макеев, обещавший всех накормить досыта, обути мужчин в яловые сапоги, женщин — в мягкие полусапожки и войлочные бурки. Но сам пока ходил в чубурах — ботинках из свиной щетинистой кожи.

Вечером председатель в бодром настроении отправился пешком ночевать в двухэтажную гостиницу Джантемирова. Продувное суконное пальто с барашковым воротником почти не грело, ноги стыли в задубевших чубурах. Постукивая каблуками, выбивая отчаянную дробь, Макеев несолидно двигался почти бегом, вприпрыжку... Он сам отворил дверь в свой номер на знакомый голос, и в него пальнули из револьвера заговорщики. Утром в станице поднялся переполох. Атаман отдела Косякин распорядился собрать офицеров, строевых казаков и разогнать съезд. Спасая себя и Макеева, делегаты кинулись уходить в Отрадную.

Едва стемнело, кругом завьюжило, запуржило... В дороге Макеев бредил, бился горячечной головой о грядку саней. Он скончался, не приходя в сознание. Съезд в Отрадной, переименованный из бессловного в съезд Советов, завершился под скорбную похоронную музыку и пение «Интернационала». Макеева похоронили в Отрадной и поклялись «гуртом продолжить святое дело». Исполком возглавил левый эсер, близко примыкавший к большевикам, отраденский казак Тит Беседин. Бывший атаман станицы, богатырского сложения, он по старинке носил парадный бешмет, расшитый серебряным галуном. Тит грузно сидел в президиуме, за кумачовым столом. Надумав выступать, он насупил брови, кашлянул в кулак и огоршил делегатов заученным теоретическим пассажем: «Мы берём власть не для того, чтобы играть в цацки! Нам не по пути с нежными дамочками! Наша мать — пуля, отец — кинжал. Враг с петлёй на шее — самый красивый подарок дорогому Карлу Марксу».

На съезде переименовали Баталпашинский отдел в Отраденский, станицу Баталпашинскую — в Макеевскую.

...Бурно развивались события и в столице Кубанского войска — Екатеринодаре. В феврале 1918 года на заборках большевики расклеили приказ № 1 Кубанского областного исполнительного комитета во главе с каким-то Яном Полуяном. Признавший облисполком единственным «правомочным органом власти» и неправомочными, вне закона Кубанское войсковое правительство и Кубанскую Радугу, приказ упразднил власть атамана А. П. Филимонова на всей территории войска. Но казаки и не думали подчиняться скоропоспешной полуяновской цыдулке.



По прибытии в Невинномысскую с фронта 1-го Хопёрского полка подесаул Павло Маслов был назначен начальником караульной команды. В середине марта 1918 года, увидев разброд среди казаков, он сдал команду и прискакал к родным в Кардоникскую. На радостях обнял мать и жену, скинул с плеч бурку, снял фуражку и устало опустил на лавку, высокобленную добела. «Нас погубили предатели», — сказал он младшему брату Тимофею. Возмужалый, рослый Тимофей удивился: «Братка, а ты чуток облысел... Провожали на службу чубатым, возвернулся с залысынами». Поморщился Павло, глянул на счастливую жену, на глупого брата, усмехнулся в усы: «Повоюй с моё, погуляй по разным странам — узнаешь, почём фунт лиха. Станичники наши головы теряли в кустах, а ты об чём жалкуешь — о волосьях».

Спустя много лет, будучи эмигрантом в Югославии, полковник Павел Максимович Маслов в записках о хопёрцах попытается восстановить некоторые кардоникские события:

«Дождались мы Светлого Христова Воскресения (это было 22 апреля), а на второй день Праздника ко мне уже открыто явились два человека и сообщили, что сегодня мы должны обезоружить местную милицию и раздать оружие, которое хранилось при станичном правлении. Зазвонил часто колокол, что у нас означало тревогу или же какое несчастье, после чего все направились к станичному правлению.

Около него было не менее десяти тысяч мужчин и женщин. Я пошёл к собравшейся нервно настроенной массе. Раздавались крики: “Просим Павла Максимовича Маслова стать во главе восставших!” До моего прихода милиция сложила оружие, только один иногородний отказался сдать свою винтовку и был кем-то ранен в руку (это был Н. Ф. Ляпин, дежуривший в Совете вместе с Петром Варченко, который в суматохе выпрыгнул в окно и убежал к Дороховым. Мать Сергея Дорохова, Евгения Алексеевна, перевязала шашечные раны у Варченко и спрятала его в угловой комнате. — И. П.). По требованию станицы я поднялся на балкон правления, все кричали. Успокоив публику, я задал вопрос: “Будете ли мне беспрекословно подчиняться?” Толпа закричала: “Будем!”

Тогда я отдал распоряжение явиться всем, способным носить оружие. Их вооружили винтовками и патронами. Тут же назначил командиров сотен, комендантом станицы — хорунжего Мамоту, командовать пехотой — хорунжего Говорухина, а кавалерией, которой было около 300 человек, хорунжих Нагубного и Плотникова. Моментально были высланы разъезды по трём направлениям: на станицу Зеленчукскую, аул Атлескировский (*Жако*) и станицу Красногорскую. Комендант станицы отдал распоряжение всем офицерам, скрывающимся в станице, завтра к 8 часам утра явиться в правление.

Утром явился есаул Павлов [5], служивший в пехоте, и, как старшему в чине, я ему предложил принять командование. Он согласился (это была моя непоправимая ошибка). Я принял всю кавалерию».

На подступах к станице Маслов расставил дозоры, в ущельях и балках присмотрел биваки — скрытные стоянки, тайники с оружием. Повстанцы запасались продовольствием, патронами...

Давно приспело время точить лемеха плугов, отбирать к севу здоровые семена кукурузы и пшеницы, а казаки всех Хопёрских полков верхами носились по буграм и балкам. Пристреливали ружья, глядели в бинокли, намечая удобные позиции для обороны. И повсюду на хребтах и вершинах курились сизые дымки: дозорные варили кашу, пекли в горячей золе картошку.

«На следующий день, — писал Маслов, — наши разъезды донесли, что противник двумя кавалерийскими полками при двух орудиях занял станицу Красногорскую, 26 апреля выступил из станицы и медленно движется на нас. Я с конным и пехотным взводами (около 70 человек) занял позицию по водоразделу в четырёх верстах от станицы. Противник не появлялся, тогда я продвинулся ещё на две версты вперед и часам к пяти вечера занял пехотой несколько возвышенностей. Красные приблизились к нам, открыли стрельбу из двух горных орудий и лавой перешли в атаку. Мы её легко вернули обратно. Тихо и покойно наступила ночь, но я получил сообщение из станицы, что настроение станичников изменилось к худшему.

Оставил вместо себя хорунжего Борисенко [6], а сам на рысях прибыл в станицу, где мне сообщили, что защищаться некому — кавалерия куда-то ушла. Я быстро явился в станичное правление, где нахожу есаула Павлова, хорунжих Говорухина и Мамоту [7]. От них узнал, что вся наша кавалерия в две сотни вооружённых казаков отослана ими по станицам поднимать восстание. Они мне также заявили, что станичники в страхе и решили не воевать с большевиками.



Конечно, с двумя взводами я не мог остановить красных, а потому предложил офицерам завтра с рассветом оставить станицу и следовать в горы и лес, где встретимся. Сообщил, что я сейчас же еду на позицию и отошлю пехотный взвод с хорунжим Борисенко в станицу, а сам с конным взводом, когда красные будут теснить меня, отойду в лес».

VII.

Приволакивая раненую ногу, в ростепель объявился в Кардоникской цыганковатый, с закрученными кверху смоляными усами Степан Ильич Бутенко, мой дед по матери. Происходил он из черниговских и полтавских казаков. Отвоевался на турецком фронте и вернулся домой непоправимо хромым, зато с Георгиевским крестом. Он гордился, что прочитал от корки до корки две книги — Библию и «Тараса Бульбу». Уверял, что мудрому мужу этого достаточно, чтобы понимать мир и непостоянную природу человека. В некотором смысле Степан был прирождённый философ. Лежавшего на печи, под дерюгой, старшего брата Фильку (Пыльпа) сердечно успокоил: «Не горюй, все там будем!» И показал пальцем в потолок, в небеса. Филька в казачьем правлении малость послужил у белых делопроизводителем, и за это краснюки всыпали ему горячих плетей сверх меры. На карачках, выхаркивая сгустки крови, приполз во двор и теперь маялся на печи в ожидании смерти [8].

Жалея брата, Степан огляделся, спрятал Георгиевский крест в родительский сундук, по углам изукрашенный деревянной резьбой. Выпуклая крышка расписана масляными красками — заманчиво цветут на ней ирисы, георгины. Призадумался, перепрятал Георгия под полом. Вышел во двор и понял: босяки налетят и украдут бричку. Позарятся на крепко ошинованные колёса, ночью сволокут бричку со двора. Он снял колёса, закинул их на потолок хаты, укрыл рваной холстиной. Взамен отыскал в сарае негодные, с выпавшими спицами; одно навесил на переднюю ось, второе — на заднюю, ещё два искорежённых колеса бросил под бричку. Никто не утащит такую рухлядь.

Степана отличала житейская осторожность, он смотрел далеко. Человек с умом предугадывает завтрашние дни и события, дурак же не видит дальше своего носа. Обезопасив добро, он пошёл на площадь разузнать новости и там повстречал Никифора Шведова. От него услышал: Гришка Федосеев служит в правлении, его брат Петро тоже прибился к повстанцам, пожелал воевать в отряде Яшки Нагубного. «А ты?» — спросил Степан. «Я?.. Как все, так и я. Чуток повременю», — уклончиво ответил Никифор. Степан сказал ему, что хочет повидаться с Гришкой, поговорить с ним о Библии и о том, прав ли был Тарас Бульба, увезя в Запорожскую Сечь изнеженного бурсака Андрия. Мать же без сыновей и мужа осталась одна... «По-божески это?» — «Не знаю, покумекайте сами, вы люди ученые», — сказал Никифор.

И в тот же день, в сумерках, Никифор Шведов навестил двоюродного брата Григория. Пристроившись в углу возле зажженного каганца, брат что-то писал в тетради. Чудак-человек, весь в себе... На службе с утра до ночи носится в правлении в казачьей полевой форме, а дома вот так расслабляется душой: читает книги по истории и географии, думает о чем-то. За чтением, говорит, восстанавливается равновесие, улечуываются из головы дурные, суматошные мысли.

С его батькой командир шестой сотни Маслов, презирая шмелиный гуд пуль, вой шрапнели, бился с турками на Евфрате, занимал столицу курдов Керманшах и оттого питал к осиротевшим сыновьям Федосеевых отцовские чувства. Петра он любил за храбрость, за казацкую выправку, Григория — за вдумчивость и грамотность. Уйдя в горы, Маслов поручил ему исполнять обязанности своего помощника и писаря, через вестовых доносить о подозрительных передвижениях в станице и вокруг неё. В правлении Григория тормошили со всех сторон, некогда было в гору глянуть. А сейчас Григорий, склонившись над тетрадь, заносил в неё какие-то пометы, чему-то про себя удивлялся.

«Что ты всё пишешь? Об чем думаешь?» — поинтересовался Никифор, уважавший грамотных людей. «Составляю нашу казацкую библию, день за днём, — не то отшутился, не то всерьёз ответил Григорий. — Всё, что случается в Кардонике, записываю в эту раздинованную тетрадь. Горькое и смешное... Бумага, братка, надёжнее человеческой памяти. Многие из худой памяти выветрится, а занесённое на бумагу закрепится надолго. Нас с тобой не будет — бумагу, гляди, прочтут». — «Не дюже балуй с писаниной, — предупредил Никифор. — Дурью не майся. Нонче время чумное, пропадёшь не за понюшку табака».

Отслонился Григорий от мигающего каганца, признался: «Я эти записи делаю для себя, храню в тайнике. Когда-нибудь пригодятся...»



Никифор заглянул через его плечо и увидел строку, подчёркнутую карандашом: «И текли, и проходили дни в смертном ужасе и тревогах. И враждовали казаки с пришельцами...»

Всё чаще из-за Дженгура, голой хребтиной отделявшего Кардоникскую от Красногорской, стали выныривать и тут же пропадать красные всадники. Им казалось, что за этим горбатым бугром ожидает их непомерная благодать; достаточно перевалить через рыжеватую хребтину, рысцой проехать по-над кручами и попадешь в рай с дармовыми казачьими галушками, с горячей похлёбкой из бараньей свежатинки. Вдоволь наелись, напились царские прислужники, пощеголяли в парадных черкесах и в атласных башлыках. Пора поделиться с неимущим классом ухоженными садами-огородами, сдобными бабами, индюками и скотиной, суконными в сундуках отрезами. Одурманенные головы кружились от скорого обладания чужим добром...

Иногородние тоже ополоумели в ожидании манны небесной. С нетерпением, плотоядно присматривались к соседям: а нельзя ли чем-нибудь у них пожить — тёлкой, индюками, мешком овса, оклунком проса и гречихи? Возбуждаясь, копили в душе ярость и месть — за свои прожитые в пьянстве, в нищете молодые лета, за то, что «куркули» издавна жили богаче их.

В предчувствии беды у зажиточных кардоничан темнели лица, опускались руки. Не хотелось думать, что нагрянувшие издалека чужаки посеют рознь между казаками. Такого сроду не было... Разрозненные, несколько растерянные отряды самообороны под общим водительством Маслова мелькали в лесах и на склонах гор. Избегая вступать с единокровными братьями в бессмысленные схватки, юлили, путали следы, поднимались всё выше к пещерам.

А комиссары в портупях и островерхих шлемах указывали бойцам на злейших врагов — «царских прислужников»: вон там, в долине, затаилась мятежная станица. К югу от неё, по балкам и вершинам, среди зазеленевших кустов орешника и бересклета, в чинаровых, ольховых и буковых лесах, под корявыми дубами и грабами затаились «бандиты». Верхами и ползком скрытно перемещаются они от логова к логову. Издали сверкают их клинки, нацеленные в сердце бедноты.

VIII.

На усмирение повстанцев из Баталпашинской вверх по ущелью двигался 2-й Кубанский военно-революционный отряд Якова Балахонова. Уроженец Баталпашинской, сын казачки и крестьянина Кужорской станицы Филиппа хромого, колёсника, белобрысый Яшка в Первую мировую дослужился до прапорщика. За храбрость его выделял среди партизан полковник Шкуро, но по возвращении с фронта их стёжки-дорожки разбежались врозь. У Бекешевской они встретились врагами. На Волчьей поляне Войскового леса Шкуро попал в засаду и, казалось, был обречён. Но бывшие однополчане о чём-то наедине потолковали и разминулись. Тот их разговор остался для многих загадкой.

Дерзкий, молодой Яков, красный полководец, похвалявшийся доставить Шкуро в железной клетке, как Пугачёва, гарцевал впереди войска на белом коне. Позади трусил на гнемой кобыле ещё один выдвиженец — комиссар Чучулин. Никто не знал, чьих он родов и откуда появился в здешних местах. Краем уха слышали: несколько лет кучерявенький байстрюк, по прозвищу «Чучу», обретался в шахтёрском посёлке Хумара. На облысевших склонах рудника «Эльбрус» бил разведочные шурфы, числился также электромонтёром. И вдруг выдвинулся комиссаром, наставником Балахона. Едет в голове колонны, насвистывает под нос «Марсельезу»...

Усть-Джегутинская сдалась почти без боя. В Красногорской, устранив население пальбой из двух пушек и пулемётов «льюис», балахоновцы подпалили амбары. Сестра моего деда Ивана Гавриловича, жена белого офицера Дарья Калитина, кинулась с ведром воды тушить амбар с кукурузой. Её сшибли с ног, поволокли за длинную каштановую косу к огню. Дарья истошно голосила. Балахонов глянул на пригожую молодичу, сжалился над нею и велел отпустить. В последний момент из пылающего амбара хотел выскочить прятавшийся в нем Калитин. Взъерошенный чуб у него вспыхнул смоляной паклей. Калитин вскрикнул утробным голосом, рванулся наружу, но ему не дали выпрыгнуть — и он сгорел в кукурузных початках.

Мой дед, отставной урядник, узнал от родственников из других станиц: в Пашинке, Невинке и Джегуте большевики жгут хагы, кидают мертвых и живых в колодцы. Иван Гаврилович не поверил и надумал проведать сестру, заодно удостовериться в



правдивости страшных рассказов. С утра, 27 апреля, он зашел в правление к Егору Павлову и предложил свои услуги — под видом праздного гулящего поехать на разведку к Дженгуру, а в Красногорке повидаться с Дарьей. «Валяй!» — разрешил Павлов.

В стойле у деда находилась пара выездных лошадей — низкорослый быстроногий маштак и пегая кобыла Славка, выносливая, но медлительная. Оседлав Маштака, Иван Гаврилович надел малиновую рубаху и выехал за станицу. Пустил лошадь спорой иноходью мимо Гострого кургана. Сзади седла в тороках он вёз бутылку самогона и пасхальные гостинцы для сестры, которую в тот момент балахоновцы тащили к горящему амбару... Не ведая об этом, Иван Гаврилович умом раскидывал так: если повстречают его красные, он скажет, что направляется в гости к родственнице, а если Красногорская ими не занята, так и лучше, будет повод немного попраздновать. Но что-то он тревожился за Дарью...

(Я помню Дарью Гавриловну. После войны ослепшей старухой она побиралась по хуторам и однажды пришла к нашему двору. Как на грех, бабушки и матери дома не было. С испугом глядя на босые, в шершавых цыпках, ступни нищенки, я вынес ей зимовок (яблок), но в дом не пустил. Мать меня после ругала: «Ой, паршивец! Родную бабушку спровадил со двора!» Пишу эти строки, и мне стыдно за ту мою ребячью оплошность. Надеюсь, Дарья Гавриловна простила меня... Последние годы она провела в стардомах — в карачаевском Кызыл-Октябре (он возник на месте хутора Троцкого) и в Ипатовском районе. Умерла она легко, напоследок попросила родниковой воды, испила два глотка и затихла.)

Приземистый маштак вынес седока на бугор, и прямо перед собою Иван Гаврилович увидел конников в шлемах и защитных фуражках. Они тоже увидели его, сходу начали палить из ружей, развёрнутой лавой пустились скатываться с бугра. Он повернул коня и во весь опор поскакал назад. За спиной хлопнуло ещё несколько хлестких выстрелов, над головой прожужжали пули. Иван Гаврилович был не робкого десятка, извивался, как уж, и отстреливался из берданки. Его ранили в правую ногу, но он почти не почувствовал боли. Вроде бы слегка ужалила оса... Примчавшись к правлению, он предупредил Павлова о приближении «босяков» и поехал домой. Заведя во двор коня, исходившего паром, ронявшего наземь желтоватую пену, кликнул Февронью Ильиничну. Насмерть перепуганная, жена сняла сапог, выплеснула из него кровь и, отыскав бинт и пузырёк с йодом, перевязала рану. Скрипя зубами, прихрамывая, Иван Гаврилович вышел на улицу посмотреть, где же очумелые загонщики. Не чувствуя себя виноватым, сел на бревно и стал ждать, что будет дальше.

Тем временем красные всадники перевалили на рысях через отлогую гору и показали под Дженгуром, ещё державшим слежалые наросты снега в раселинах. Оголенные солнцегревы уже были окроплены золотисто-жёлтыми одуванчиками, куриной слепотой, небесно-синими фиалками. Нагрянув в Кардоникскую, балахоновцы арестовали знатных хопёрцев, застигнутых врасплох, — зажиточного казака Корниенко, пчеловода Товченко и владельца нижней мельницы есаула Егора Павлова, беспечно ждавшего в правлении «важных донесений». Григорий Федосеев, уговаривая его бежать, сам едва не попался, но успел по-за огородами скрыться.

И тут подъехали к сидевшему на бревне Ивану Гавриловичу трое верховых, наставили на него ружья: «А-а, контра, попался!» Подгоняемый прикладами, он едва дошёл до площади. Нестерпимо болела нога. Его затолкали к арестованным казакам в подвал атаманского правления, дубовую дверь заперли железным болтом-засовом.

(Рассказывают, Иван Гаврилович в малиновой рубахе метался, как зверь в клетке, и не понимал, что творится на белом свете и почему никто не приходит им на выручку. Не по своей воле, а по царскому указу, вопреки собственному желанию, прибыли хопёрцы в дикие горы, в маляринную страну. Всю жизнь они защищали передние рубежи на Кавказе, ежечасно рисковали головой и одновременно горбились на земле. Наёмных работников, кроме пастуха, убогого Павла Криворучкина, Иван Гаврилович не держал. И вот — на тебе, заперли, как лютую вражину...)

Не скрою, мой дед был гордец и при случае в кругу станичников частенько упоминал благодетеля нашего рода — фельдмаршала светлейшего князя Потёмкина-Таврического и обласканного им нашего пращурца Петра. Выпивал чарку-другую и за императора Николая I, учредившего при Высочайшем Дворе должность камер-казака. Первым камер-казаком был урядник Подсвилов. Наследники старых хопёрцев Шведовы, из кардоникских первопоселенцев, служили в царском конвое, доблестно воевали и награждались привилегиями.



Иван Гаврилович тоже имел просторные наделы земли и по крестьянской привычке сам её, с дочерьми и сыновьями, обрабатывал. Были у него паи за речкой Курдюмкой, на Ивановом выгреве (выгрев назван его именем), под горой Шаханом у Синих круч. Держал он и прогон скота от станицы и до Учкурки — дороги вдоль отвесных круч по-над Аксаутом. Замшелые обрывы поросли дубками, соснами, черёмухой, кустами тёрна и шиповника. Узкая Учкурка, размытая ливнями, искорёженная каменистыми оползнями, опоясывает гору как раз на середине пути между Кардоникской и селом Хасаут-Греческим. Выгодный прогон был пожалован отцу деда, моему прадеду Гавриле за заслуги в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Прадед ходил в походы под началом казачьего полковника Ф. Я. Бабица. Однажды бабушка вынула из-за божницы фотографию и показала мне: Гаврила и Бабиц сидят в окружении таких же, как они, хопёрцев. На всех парадные черкески с газырями, белые папахи. На поясах кинжалы в серебряных ножнах, у ног выставлены напоказ кривые сабли.)

Пока станичники томились в подвале, из Глубокой балки во весь карьер на выручку им летел горский отряд полковника князя Мурзы-Кулы Крым-Шамхалова. Рядом с князем горячил коня Джатдай Байрамуков, заслуживший в окопах Первой мировой офицерский чин и полный бант Георгиевских крестов. Сверкая клинками, карачаевские и осетинские всадники приближались к восточной окраине станицы. По пути к ним присоединились конные отряды Якова Нагубного и Семёна Плотникова.

Тут же по их следам с востока от Хумары, из ущелья, в Кардоникскую ворвались красноармейцы бесшабашного Ваньки Никулина, нашего иногороднего. За ними, с крутого дженгурского бугра, скатились остальные приотставшие балахоновцы. На площади под грохот снарядов, треск винтовочных выстрелов затеялась отчаянная рубка. Крошили друг друга с азартом, словно зрелую капусту. В суматохе казаки Нагубного не успели освободить пленников. Пока наладились выламывать дверь, над крышей правления с воем пролетел и разорвался в огороде Резниченковых пушечный снаряд. Отряд Крым-Шамхалова, за ним верховые Нагубного и Плотникова, отстреливаясь, отступили к Хасаут-Греческому. Стрельба стихла, на площади и в переулках валялись вповалку убитые и раненые. Охмелевший от крови и араки Никулин, скаля жёлтые зубы, дорубливал саблей «вражин»...

Пленных отогнали в Зеленчукскую. Там, неподалеку от божьего храма, заперли их в арестантской. Народу набилось под завязку. Кроме кардоникских, на полу и нарах томились казаки из станиц Сторожевой, Зеленчукской и Передовой. Лежали и сидели на затёртых овчинах, на расстеленной блёклой соломе. Тешили себя байками...

Небольшая деревянная арестантская помещалась во дворе каменного одноэтажного здания атаманского правления [9]. По ночам она освещалась керосиновым фонарем, который вывешивался на столбе, а утром снимался. Выбраться отсюда, через турлунный потолок и дощатую крышу, не составляло труда. Но казаки не хотели рисковать, думали: пострадают и отпустят.

Припадая на забинтованную ногу, Иван Гаврилович в беспокойстве поглядывал в щель на качавшийся фонарь: «И чего ожидаем? Гей, хлопцы, вставайте! Проспим всё на свете!» Флегматичный Павлов утешал его: «Не шуми, Гаврилович. Дай трошки поспать...»

Утром со стороны Преградной в Зеленчукскую вступил сводный красновардейский отряд под водительством Гайченца и Владимира Никулина. Оба они, в кожанках, в скрипучих португелях, заскочили сюда на машине. Небрежно поздоровались в правлении с членами отдельского исполкома Толопой, Нигробовым и Сотниченко, потребовали у них список арестованных.

Перед заходом солнца мрачные всадники-чужаки в накиннутых на головы брезентовых башлыках пригнали казаков к мерцающей безмятежно в зарослях ивняка речке Хусе. Неуклюже спешились, на ломаном русском языке скомандовали: «Рас-детца!»... Говорят, коренастый, не позволивший сорвать с себя малиновую рубашку, Иван Гаврилович кинулся душить ближнего палача. Изловчился и, порезав ладони, выхватил у другого изверга шашку. Замахнуться не успел: со всех сторон его поддели штыками, подняли над собой. Сложили свои головы в сырой впадине четырнадцать или восемнадцать человек. А в Широкой балке (есть Широкая балка и в кардоникском юрте) казнили других зеленчукцев: атамана Дзюбу, Петра Дзюбу, Ткача и Семененко.

Из памяти стареющего, больного полковника П. М. Маслова выпали эти бессудные расправы над казаками, но в записках удержалось упоминание о гибели Павлова:



«К вечеру (27 апреля) красные вошли в станицу и оставались в ней около шести дней. Мы же поднялись выше в горы и лес и простояли на одном месте два дня. Каждый день к нам подходили разезды из наших станичников, посылаемые красными вылавливать нас. Нам сообщили, что большевики арестовали несколько человек, в том числе и есаула Павлова, который не послушался моего совета; потом он был отправлен в станицу Зеленчукскую и там расстрелян» (на самом деле его, как и всех, изрубили шашиками, искололи итыками. — И. П.).

Убитых запретили хоронить на кладбище. Моя бабушка Февронья Ильинична ночью, в кромешной тьме, привезла мужа на подводе в Кардоникскую. Обмыв его, насчитала на теле тридцать две колотые раны и тайком погребла в саду своего брата Лукашева. Светловолосая дочь Дуняша, лет шестнадцати, так голосила по отцу, что надорвала сердце. Немного похворала и скончалась.

В ту пору ещё почитали родственников, близких и дальних. На похороны Дуняши пришло много своих: Астаховы, Резниченко, Фокины, Лукашевы, Шведовы, Нагубновы, Богомазовы. Братья и сестры — родные, двоюродные, троюродные, даже четвероюродные, дяди и тётки, племянники, свояки и свояченицы, кумовья, соседи... Пришли проститься с Дуняшей Григорий Федосеев и Никифор Шведов. Оба с нею ходили гулять на посиделки, оберегали девушку от ухажёров... Друзья Иван Машенко и Сергей Дорохов с другими парнями тоже кучковались у вырытой могилы, утирали глаза. Все были в оцепенении — от жалости к Дуняше и к Февронье Ильиничне, неизвестности грядущего.

Боясь расправы, иногородние Никулины [10], с ними Дороховы скрылись из станицы. На время приютились за Шаханом в селе Ивано-Сусанинском (Марухе), где проживали мужики, пришлая беднота.

(Спустя полвека после гибели Ивана Гавриловича судьба свела меня в редакции областной газеты с живым и здоровым Петром Исидоровичем Нигробовым. В ту пору я ещё не знал обо всем «славном прошлом» моего земляка. Иногда он появлялся у нас в длинном чёрном плаще и в чёрной шляпе с отвислыми полями. Никого не замечая и ни с кем не здороваясь, тенью скользил по коридору, гулко постукивая в пол ореховой палкой. Без предупреждения, по-хозяйски открывал кожаную дверь в кабинет Попутько, вручал ему очередную порцию своих воспоминаний о гражданской войне, подписывая их псевдонимом «П. Петровский».)

Однажды я сидел в приёмной — и поймал на себе его взгляд. Отчего-то я вздрогнул и похолодел, поднял на посетителя глаза, но он, не задерживаясь, уже проходил в кабинет редактора. Сердце у меня колотилось в груди, и я едва успокоился от гипнотического наваждения, необъяснимого физического омерзения. Выходя, мрачный гость ещё раз взглянул на меня и удалился.

Шестое чувство удержало меня от искушения заговорить с Петром Исидоровичем. Позже, работая в Орле, я условился с тестем устроить мне аудиенцию с этим выжившим в бурях мастодонтом. Они были знакомы, встречались на городских собраниях ветеранов. Я приехал в Черкесск, и Фёдор Петрович созвонился с Нигробовым. Через полчаса мы отправились к нему. Не сняв цепочки, дверь нам приоткрыл сам Пётр Исидорович. Заглянув в щелку, охватил меня прищуренным взглядом, и водянистые глаза его суетливо забегали. Он отшатнулся, простонал: «Петрович, я болен... Не могу вас принять!»

Дверь захлопнулась. Мы постояли в недоумении и ушли. Трудно было уразуметь, что ему, одряхлевшему ворону, померещилось. Лицо казнённого Ивана Гавриловича? Наши старики не раз говорили мне, что я сильно похож на деда — «вылитый Иван Гаврилович».

До последнего времени документы, вещи и записки Нигрובה хранились в Карачаево-Черкесском музее и в партийном архиве. Надо сказать, Пётр Исидорович не отличался внятным слогом. Писал он обтекаемо, всё больше штампами и, как мне кажется, намеренно путал даты и события; за вязкой «революционной» фразеологией терялся всякий смысл, не говоря о достоверности. В малограмотных заметках зияли лакуны, и совершенно нельзя было постигнуть суть «борьбы» — за что конкретно и каких именно «врагов трудового крестьянства» приговаривали чекисты «к справедливой высшей мере наказания»?

После того как на Верхней Кубани установилось затишье, никто из наших стариков не видел Нигрובה в станице.)



IX.

Загуляла вовсю по взгорьям и балкам, по ущельям костлявая, пьяная от крови старуха с косой. Обещанный рай обернулся адом.

Хозяин нашей «большой вальцовки» — верхней мельницы Фёдор Фёдоров осознал бесполезность жизни и сопротивления... Он запил беспробудно и однажды подумал, что не стоит испытывать судьбу. Отдав поручения жене, облачился в сюртук с шелковым воротником и ушёл на конюшню. Там он попросился со своим любимцем — тёмно-гнедым скакуном монашеской породы. В Татарке, вблизи Ставрополя, он разводил на собственном конезаводе чистокровных скакунов, понимал в них толк. Этого он выбрал еще жеребёнком. Не конь, а зверь, быстрее ветра. Фёдоров припал к его шее, погладил шелковистую гриву... Нетвёрдыми шагами вернулся в кабинет, выпил коньяка и, приставив к виску воронёный кольт, нажал курок.

А в это время по горам кружил Павло Маслов с горсткой казаков. Почти месяц они прожили на большой кочёвке князя Карабашева у знакомых карачаевцев Байчорых. Здесь набрели на кош и присоединились к отряду Маслова хорунжие Брянцев и Попытаев, оба из Пашинки. Под Вознесение, 29 мая, Маслов получает известие: большевистские части покинули Кардоникскую, её охраняет милиция из своих казаков. С несколькими бойцами он приезжает в станицу и работает в поле с семьёй.

В июне 1918 года в Кардоникскую вступает отряд лабинцев в 500 человек и собравшиеся отовсюду хопёрцы. С разношёрстным воинством вместе с семьями из станиц Отрадной, Удобной, Передовой и Кардоникской Павло Маслов двинулся на Белый Ключ, где его ожидал полковник Шкуро. Там они соединились. У Андрея Григорьевича, у батьки-атамана, около 500 казаков, выступивших из Суворовской, Баталпашинской и Бекешевской. Скоро к Белому ключу через станицы Вознесенскую и Отрадную пробился с боями есаул Солоцкий. Он привел отряд лабинцев — два конных полка. Строевых казаков стало до шести тысяч...

На Верхней Кубани и на Куме горели непочатые, с прошлого года оставленные в степях скирды соломы, чадили тлеющие хаты...

X.

Из Хасаут-Греческого нагрянул в нашу станицу шальной отряд. Трое братьев Говорухиных сидели за столом в доме старшего брата Андрея, белого офицера, приехавшего на разведку от Маслова. Неспешно потягивали из графина осетинскую, с сизым дымком, самогонку. Толковали о том о сём, выясняя, в какую сторону клонится чаша весов. Андрей убеждал Ивана и Марка не якшаться с красными и, пока не поздно, вступить в войско Шкуро. Батька освободил Бекешевскую и Боргустанскую, навёл шороху в Ессентуках и, ворвавшись в Кисловодск, прямо на курортную Тополеву аллею, атаковал здание тюленевского Совдепа [11], железнодорожный вокзал, Нарзанную галерею. Ушло его войско из города с обозом винтовок и снарядов, двумя десятками бомбомётов и пулемётов. Вот-вот Шкуро освободит Ставрополь, а там, даст бог, и до Москвы доберется.

«Да я ни в жизнь не пойду к вам!» — вскричал полноватый Иван, скосив на старшего брата рысьи, с табачной желтизной глаза. Смуглявый красавец Андрей отставил в сторону стакан, погладил свои завитые угольные усы, с вкрадчивой угрозой поинтересовался: «Это почему же, брат?» — «Тебе-то что, выбился в хорунжие и запел по-господски. А какую долю вы сулите нам с Марком? В денщиках за вами ходить... чистить ваших жеребцов? Нагляделся я в походах на офицерьё... Мы из окопов не вылезаем, а у энтих банкеты, именины... за нас получают награды. А рядовой казак стой на часах да подавай господам закуски. Не-е, братка, как хошь, а шкуринцем я не буду!»

Поблуднел Андрей, с изумлением вымолвил: «Вот как ты запел... Слух прошёл, с босотвой, с Дороховым связался... Смотри, доведут они тебя до петли. Дурак... пустая башка!»

Дрожащей рукой Иван лихорадочно отыскивал у себя на боку рукоять револьвера, но вспомнил, что оставил его на хранение у Дорохова. Встал из-за стола — и через огород к себе домой. Сняв со стены карабин, опрометью выскочил на улицу. Руки у него не переставали дрожать, грудь распирала ярость. Тут он увидел ехавших мимо двоих верховых в бараньих папахах с белыми наискось нашивками. «Вы кто такие будете?» — задыхаясь и взяв на мушку переднего, спросил Иван. «Мы — вольные казаки. А ты кто такой?» — спросил ехавший впереди. «Сучье отродье... Шас узнаешь, кто я такой!» — и уплывший во тьму, не помнящий себя Иван выстрелил в лицо всадника. Тот даже не вскрикнул, обмяк и свалился с лошади. Другой



конник, не ожидавший такого вероломства, впопыхах замахнулся на Ивана шашкой, но она лишь, задев мочку уха, осклизью прошлась по ключице. Ничего не соображая, дивясь мокрому пятнам на рубахе, Иван стал убежать проулком на Аксаут. За ним увязалась его черная дворняжка. У берега он изловил чью-то лошадь, переехал на ней через мутно-бурый бесноватый поток (в горах с утра шёл ливень). Оставив лошадь на островке, начал продираться в зарослях дерезы-облепихи. Ноги подкосились, и он пластом упал на травянистый бугорок...

Прискакали с площади казаки со Степаном Фроловым, обшарили подворье, но хозяина не нашли. Прибежавшие с Аксаута дети весело донесли: у речки твякает собачка Говорухиных. Верховые бросились на островок, отыскали мертвецки пьяного Ивана. Пиная его сапогами, велели подняться. Иван, мотая кудлатой головой, с трудом сел, протянул ноги в хромовых сапогах. Осоловело разглядывал станичников. Руки его, до крови исколотые дерезой, облепленные муравьями, судорожно елозили по траве. Он силится встать, но ему не подчинялись ноги. Тут его и прикончили казаки...

Соседи принесли изувеченное тело в хату. Пока на лавке женщины обряжали покойника в чистое, прилетел взбешенный Фролов с напарниками. Они выгнали всех из хаты, вытолкали взашей старуху-мать, а пригоженькую жену Говорухина уважительно отвели в сторону. Степан когда-то имел на неё серьёзные виды, да Ванька испортил обедню. Теперь Фролов с наслаждением выдернул пук соломы из застрехи, где гнездились ласточки, облил его керосином. Злорадно ухмыляясь, предупредил: «Кто близко подойдет к извергу, тому пуля в лоб!» И подмигнул молодежи: «Не бойсь, тебя не трону».

Крыша занялась жарким пламенем. Погнало спорый огонь до трубы, из окон и дверей повалил бурый дым. Обезумевшие касатки вились над хатой, сверлили воздух писклявыми вскриками. Женщины заголосили и вдруг умолкли, принялись креститься.

Наступило светопреставление, конец всему, что раньше было свято и дорого. Широко расставив ноги в синих галифе, сдвинув набекрень папаху, молодцеватый Степан Фролов величественно стоял посреди двора. Любовался из-под ладони огнем возмездия.

В старину говорили: первым разрушится не тот дом, который стоит на горе, но тот, в котором завелась вражда. Ибо стихии сотрясают гору редко, а червь несогласия точит, разъедает души изо дня в день — и по человеческому неразумию отчий дом рассыпается в прах. Стоял на твёрдом месте, но взгляни: где он? Нет его и в помине.

Подумать только: на заре XX века девятнадцатилетний Макар Могильный с Григорием Федосеевым и приставшей к ним сестрой Дорохова, молоденькой, шустрой Ксенией ходили смотреть на этот пожар — на полыхавшую хату Говорухиных. Как рассказывал мне Макар Яковлевич (дедушка Макарец), ему тогда запомнилось, что из сеней, откуда валил дым, несло сладковатым запахом горелого человеческого мяса. Ксению стошнило, и она убежала в огород...

Видно, тяготело над Говорухиными чьё-то проклятие. У Воровсколесской конники Балахонова и Кочубей окружил батальон зеленчукских и кардоникских «пикадоров». Пластуны были с пиками и ружьями, под их защитой шли к Ставрополю джеганасские караимы из-под станицы Усть-Джегутинской. Караимы издавна выделяли кожи для войска и за свою усердную работу пользовались у служивых почетом. Казаков и умельцев-мастеров с кожами, хомутами и сёдлами зажали кого в котловину, кого столкнули в реку с отвесной кручи... Оставшихся добила на открытой горе. В этом бою погиб и хорунжий Андрей Говорухин.

Их победитель Ванька Кочубей, шпорами горяча жеребца, вломился верхом в церковь, поплевал на большой обкуренный палец и прилепил к иконе Николая Угодника цыгарку. Под сводами зарокотал хохот одержимого: «Га-а, кури! Теперь наша воля! А явится Шкура — кричи: “Ур-р-а!”» По его велению придурковатые хлопцы, смеясь, натащили к алтарю соломы и запалили храм.

...Мечтал Андрей Говорухин дойти с батькой Шкуро до самой Москвы — не довелось. В длинной веренице необструганных дощатых гробов, с духовой музыкой, хорунжего привезли домой на тачанке укрытым походной чёрной буркой. Поверх бурки лежала защитного цвета офицерская фуражка, которую он носил ещё на русско-германском фронте. Могилу ему, отдельно от общей ямы, копали Никифор Шведов, Григорий Федосеев и Макар Могильный.

Не пощадила судьба и Марка Говорухина. Когда красных опять выгнали из Кардоникской, они дёрнули врассыпную, кто куда. Марк бросил в дерезе раненую ло-

шадь и берегом мутного Аксаута резво приударил к черкесскому аулу Касаевский (ныне Хабез). Там он надеялся спрятаться у своего кунака Алима. Быстроногого Марка, по свидетельству дедушки Макальца, перехватил у переката лихой атаманец Максим Малюта. На скаку он раздвоил односума наискось небрежной, «с протягом», сабельной отмахшкой.

...Бессловесный Гузанкин, отчим Петра и Григория Федосеевых, наслушался, навидался всяких страхов, и ему стало невмоготу. Не простившись с Клавдией Васильевной, однажды он взял рубанок, пилу и топор и подался куда глаза глядят, добровольно пропал в гари и дыму...

XI.

Был страшен, лют год 1918-й. Смутные, затянутые серой наволочью дни тянулись бесконечно. Никто не знал, чем кончится заваруха и кончится ли она вообще.

В том году отлились слёзы кубанских и терских казачек Гайченцу, сподвижнику убитого в Ставрополе главкома Северокавказской красной армии Сорокина. При внезапном налёте белых на Баталпашинскую у Гайченца заглохла машина. Он выскочил из неё, чтобы поскорее затаиться в прибрежных кустах. Но верховой казак заметил его и настиг у Кубани за мостом. Грозного властителя разули, босым погна-ли по колючкам, по голышам. Казак порол его плетью со свинчаткой — на рваной рубахе проступали багровые мокрые полосы. Гайченец спотыкался, падал на колени... Тускло блеснула над ним гадюкой-медянкой шашка, и с плеч слетела ещё живая голова. Покатилась к воде, изумлённо мигая набрякшими веками. Туловище в горячке сделало несколько шагов и повалилось на жёлтый куст дерезы-облепихи.

(Всю эту жуткую сцену наблюдал из-за плетня Фёдор Воронкин, тогда шестнадцатилетний парень. На том месте впоследствии построили лучший в СССР мотодром. По воскресеньям мы ходили с Фёдором Петровичем любоваться, как гоняли круглый мяч мотоболлисты на ревущих мотоциклах. Я глядел на мяч, и мне мерещилась закатившаяся в воду голова Гайченца.)

В те же угарные дни схватили и Владимира Никулина, приехавшего на расправу в Зеленчукскую. Его повесили в Баталпашинской, на Соборной площади. Присохшая к спине ситцевая рубаха, в пунцово-коричневых подтёках, и рваные подштаники, из которых высунулись обезображенные ступни, производили гнетущее впечатление. Та же участь постигла и Тита Беседина, полновластного военного комиссара отдела, отправившего на тот свет немало казачьих душ. Он больше ничего не говорил, только сипел повреждённой глоткой и вроде бы оглядывал зевак. Наблюдая за ритуалом казни, многие думали, что просмолённая бечёвка лопнет и по древнему обычаю Тита помилуют. Однако верёвка была скручена крепко, удержала грузно обвисшее тело. Босые ноги Тита побуревшими ногтями чуть коснулись земли. Рядом с ним закачался на ветру и двоюродный брат Сергея Дорохова — Иван Дорохов-Бардин из Красногорки. Этот бедолага никого не трогал, смиренно жил за своим плетнём и всё равно пропал ни за понюшку табака — как родственник чекиста...

После непрерывных боев вблизи Ставрополя, у горы Недрёманной и села Татарка, очередного занятия Баталпашинской отряды Шкуро и Маслова вступили в Кардоникскую. Чубатый, в золотых погонах, в каракулевой папахе, сдвинутой на затылок, батько ехал на вороном скакуне и под звон колоколов победно оглядывал станичную площадь. Немного позади на каурой кобыле восседал атаман станицы Кардоникской, командир конной сотни Павло Маслов. Он успел прославиться тем, что дважды брал Пашинку — броском через мост у аула Дударуковского (ныне Псыж) и вброд через Кубань. За Масловым следовали отчаянные бекешы — ординарец Наум Козлов и высокий, в распахнутой бурке и серой черкесске вахмистр Перваков. Братья и сёстры Перваковы, опознавшие своего родственника, приветствовали его возгласами: «Любо! Любо!» Вахмистр кивал им, но, соблюдая дистанцию, из строя не выбывался.

Говорят, моя бабушка Февронья Ильинична, похудевшая и простоволосая, выбежав из толпы, припала щекой к холодноватому стремени батьки. Задохнувшись от неслышного плача, семенила сбоку коня. Женщины обступили атамана Шкуро, крестились, клали поклоны, а трубачи играли военный марш.

Сквозь толпу протиснулся Григорий Федосеев и, блестя молодым взором, сказал с мольбой:

— Батько, прими в отряд! Надоело сидеть сиднем... писарчуком!

Удерживая на месте тонконогого, в белых чулках, скакуна, Шкуро перемигнулся с Масловым, похлопал Григория по плечу:



— Побудь чуток с матерью. За тебя гарно воюет Петро.

Ахнули кардоникские казачки: знаменитый атаман из станицы Пашковской знает семью Федосеевых! Ещё звонче зазвенели, зачастили колокола, согласно грянул хор трубачей. От станичного правления и до каменной ограды церкви женщины на руках понесли Андрея Григорьевича. В честь прибытия войска был отслушен молебен.

Григорий стоял на площади и в обиде кусал губы...

25 ноября по ходатайству стариков Кардоникской, а позднее станиц Беломечётской, Николаевской и Бекешевской Шкуро был удостоен звания почётного старика этих станиц. Зимой, с февральской метелью из-за Дженгура, пришел слух: в степи, почти там, где полегли кардоникские и зеленчукские пластуны и где Кочубей сжег церковь, настигла святотатца божья кара. Сыпной тиф помрачил у Ваньки-Каина ум, и дни его пресеклись в Святом Кресте [12]. С ним истаяла, оконечена в снегах безумная орда.

XII.

Мой брат Василий, терпеливо отбывавший шофёрскую повинность на разво-
рованном молокозаводе, в 1995 году возил меня на встречу с одним из старейших
станичников Макаром Яковлевичем Могильным. Он проживал «на хохлах», по ули-
це Калинина, 29. Эта улица тянется вдоль речного водораздела. С выгона открывает-
ся живописный вид на долину и разлившийся на рукава умиротворённый Аксаут, на
Дженгур с Гострым курганом, проступающие сквозь затаившуюся марь черкес-
ские аулы. Меловые кручи, впадины-яруги, зеленые травянистые склоны, серебри-
стый пересверк речных извивов и перекаатов, небесная синь, точно акварелью обвола-
кивающая полукружье безлесых гор, — рай Божий да и только.

Когда мы навестили дедушку Макараца, ему сравнялось 96 лет. Поджарый, ладно
скроенный, подпоясанный наборным поясом с хазарскими бляшками, он без уста-
ли сновал по дому. Если бы двадцатый век был к нему милосерднее и в благодатном
Аксаутском ущелье неизменно царил мир, этот природный казак, при его здоровом
духе и теле, прожил бы пусть и не как библейский Адам, но уж точно дотянул бы до
середины двадцать первого века.

...Макар Яковлевич рассказал нам, что его родителя Якова Филоновича изряд-
но посекали «беляки» за угодность красным, отчего тот и скончался. Но самого
Макара снарядили на фронт в начале мая 1919 года — в 1-й Хопёрский полк, словом,
послали на битву с красными. Вместе с ним на своих лошадях отбывали на войну при
полной амуниции трое братьев Тощих — Михаил, Федор и Семён, Пантюха Мизю-
рин, Алексей Омелько, Егор Травнев и товарищ Макара Егор Нестеренко. Григорий
Федосеев порывался уехать с ними в полк, но атаман Маслов, жалея его, опять оста-
вил в станице.

«Семнадцатого сентября мы заняли Воронеж и захватили уйму пленных, —
рассказывал дедушка Макарец. — Боже сохрани увидеть такое. По улицам гоню-
ть тысячи босяков, солдат. Внакидку, как мешки, везуть убитых... Тут проходить слух о
Конармии Буденного. Сёмка окаянный нажимает с востока. Пока мы волтузились
под Лисками и Коротояком, он, стервец, собрал конницу и грозитя огнять у нас
Воронеж. Шкуро правильно говорил: надо было сходу навалиться на Москву, появ-
зять главарей и Конармия сама бы распалась. А теперича поздно, упустили мо-
мент! Дальше — больше... Хопры ругаются: Врангель и Покровский не доверяют
Шкуро, разогнали Кубанскую Раду. Повесили, враги, войскового священника, чле-
на Рады и Кубанского правительства Алёшку Кулабухова. За что, спрашивается,
исказнили? В Париже он подписал какую-то бумагу о Кубанско-Горской респуб-
лике на случай поражения Деникина... Безвинного Алёшку повесили, других “са-
мостийников” вытурили из Екатеринодара за границу. Вот кубанцы и осерчали на
добровольцев: “Воюйте, ироды, сами!” — и зачали покидать свои частя... Раз вы
против казачьей вольности, так нам с вами не по пути. Не желаем пропадать задаром
в чужих краях.

Вишь, как оно аукнулось... Бился, бился Шкуро, но красные его вынудили оста-
вить Воронеж. Беда! Повальное дезертирство... А без казаков Добровольческая ар-
мия — это ж худые кузнечные меха. Ими огонь не раздуешь... Шкуро сдал Воронеж,
и чума его знает, куды он опосля делся... Хопры шепчутся: “А где батько?” Нету
батьки. И кажный думает: плохие у нас дела [13].

Красные наступают, мы отступаем. В балочке, у села Чертково, грязюка коням
по пузо. Грузнем в ней, как жуки в навозе... Хорошо б выбраться на бугор и по бугру
на мост через речушку. За мной увязался мой хвост Егор Нестеренко. Вылез я из



грязюки, хватя за уздечку и тягну жеребца на сухое. Склизко. Еле-еле вытягнул. А каурая лошаде́нка Егора елозить копытами, гальмуеть всеми ногами, норовить шка-ребертью выскочить на бугор. У кобылы отпали подковы, а подковать негде... Егор сидит на ней истуканом, не знает, что делать. Пули так и жикають. Красные почти рядом, шуткують: “Гей, кубанцы, равняйте фронт!” Я кричу им: “Станишники, гляньте: какой фронт, нас двое! Один горбатый, другой уссатый!” Они хохочуть, и я говорю Егору: “Слазь с коня... тикай! Пригнись и бежи к мосту!” Ну он и выскочи на голый бугор. Лошадка за ним... Егор не пригинается, бежить, чудило, напрямки во весь рост. Тут его и садануло в спину. Упал, бедолага, даже не копнулся, а лошадка заржала, крутится возле юлой.

Отдал Богу душу Егор, нашего взводного тожесть убило. Беда! Офицеров в полку не хватаеть, взводным стал Егор Яковлевич Травнев, такой же, как я, из приказных. На зорьке, еще впотьмах, Травнев будит меня: “Ступай в штаб, доложи, что к чему”. Прибегаю в штаб, в неказистый домик. В коридоре дежурит Савка Титаренко, тоже наш, кардоничанин. Вижу по глазам: тожесть нарунжилася ответзи покойника. Ага, я сам с усами... В большой комнате теплится огонёк, за столом сидеть, насупившись, в тёмной черкеске командир 1-го Хопёрского полка Ассиер. Черкеску он сшил из тонкого английского сукна. Любил шиковать, в холод носил её без бурки. Ну и чудило... Бурка же вещь удобная, оберегаеть от дождя и ветра, согреваеть душу. Мёрзнет в черкеске. Я козыряю ему по уставу, и командир, не подымая головы, спрашивает: “Что вам угодно?” Вытянулся я по струнке, докладую: “Ваше благородие, выпишите пропуск в Кардоник на убитого казака”. — “Как его фамилия?” Называю фамилию, имя-отчество, всё как положено. “Кто будет сопровождать погибшего?” — хмуря брови, интересуется Ассиер. “Господин полковник, мы с Егором были друзьяки. Разрешите в полной сохранности доставить погибшего родным, матери и жинке. По девичьей фамилии она Яковенко”. Ассиер слухал меня, а думки у него были свои, о чём-то задумался полковник... Вскорости его, бедолагу, смертельно ранило под Осолом, царство ему небесное [14]. Но, вишь ты, успел выдать мне сопроводительные документы на покойника.

С грехом пополам довёз Егора с шинелью, тороками и саблей. Сперва на подводе до Нового Осоло, оттуда в товарняке по железной дороге до Невинки, дальше опять на подводе до самой станицы.

Кардоничане Савка Титаренко и Леонтий Воронин, шустрые ребята, гдей-то раздобыли капелюхи и тожесть явились домой. Кругом же анархия! Похоронили мы Егора на могилках и ждём, что будет дальше. Вскорости привозють на подводе убитого Егора Травнева, моего соседа. Опять похороны, только успевай рыть ямы».

Согласно предписанию, Макару надлежало через неделю явиться в полк. Но он подумал: если Савка и Леонтий самовольно оставили позиции и отсиживаются по хатам, почему он обязан добровольно лезть в пекло?

«В сумерках я зашёл к Федосеевым, и мы обнялись с Гришкой, — продолжал дедушка Макарец. — Я намекнул на отсрочку, а Федосеев усмехнулся: “Навряд она понадобится тебе. Краснюки вот-вот захватют Кавказ, и всем нам придётся тикать в горы... Павел Максимович заново готовит в балках уежища, тайники с оружием”. У меня ум за разум зашёл: как же так, почему тогда атаман объявляет мобилизацию?

“Неявка в полк — это измена, предательство, — разъяснил мне Гришка. — Но, знаешь, нас предали раньше... Вот генерал Рузский добился отречения царя, а потом в Пятигорске большевики четверговали самого Рузского... Решай сам, Макар, я тебе не советчик. Думай, как спасти себя и свою душу”. Не пойму Гришку, к чему он клонить. “А сам ты знаешь, как спастись?” — пытаю его. Хотел вывести Гришку на прямой разговор, но он опять увильнул: “Покеда не знаю. Може, пойду ховаться в балках. А ты как хочешь... поступай по совести”.

Ушёл я от Федосеева сам не свой. Крутит-вертит туды и сюды, заводит непонятные речи: то да сё, поступай по совести... Как я нонче понимаю, этим намёком он спас меня. В тот вечер я и надумал: не поеду на фронт, мабуть, скроюсь в горах. Станут меня травить — буду огрызаться, как волк, но живым не сдамся... За кого воевать? За Деникина? Так он против Кубанской конституции и казацкой вольности. За красных? Но они самые лютые враги казачества, сничтожають на корню народ...

Стучится ко мне семидесятилетний казак Терёха Швыдченко. Он у Федосеева на посылках. Вручает за подписью атамана повестку: мобилизация, сбор рано утром на площади. Отправляться в Невинку верхом на лошадях, на подводах. У кого нету строевого коня, ступай голодранцем в пехоту, в пластунский полк. При себе иметь



оружие, амуницию и белье. Желательно — добрые сапоги и кубанку... Повестку я взял, а в поход не выступил. Три или четыре подводы чуть свет с площади тронутся, ночью вернутся обратно. Павло Маслов для вида гневается, а в уме, небось, держит своё.

Поздно вечером заявляется ко мне Федосеев и просит: “Расскажи, Макар, о войне под Воронежом и Осколом, как ты с фронта вёз убитого Егора Нестеренко”. — “А зачем тебе это? — спрашиваю. — Доносить начальству?” Гришка достаёт из-за пазухи разлинованную тетрадь и объясняет: “Для памяти... Ты же читал “Историю Хопёрского полка”, интересно? Так вот, и наши события надо кому-то записать”. Чудной. Вокруг смертоубийство, а он носится с этой тетрадкой, как с писаной торбой... Просидели мы с ним до зари, пока не потух каганец. Я рассказал всё как было, без утайки, но опосля жалел: а вдруг, думаю, это мне боком выйдет! Хотел даже попросить Гришку на моих глазах спалить тетрадь в печке. Хай ей грец!

Послушал я дедушку Макара и спрашиваю деликатно: а где, по его предположению, может отыскаться пропавшая тетрадь? Он призадумался, пожал плечами: «Чума её знает. Мабуть, у Шведовых... у Никифора».

Но я уже спрашивал об этом Никифора Филипповича, и он сказал: тетрадь видел у Григория, а куда она запропастилась — одному Богу известно.

Продолжение следует.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Очерки русской литературы Сибири. В 2-х тт. — Новосибирск, 1982. — Т. 2, с. 544.
2. Иванов Вс. Дневники. — М., ИМЛИ РАН, «Наследие» — С. 456.
3. Сартаков С. Открыватель чудес / Федосеев Г. Таежные повести. — М., «Современник», 1972. — С. 5—8.
4. По свидетельству старожилов, на этом сходе также были Казьма Шведов, Изот и Григорий Быковские, Аксён Жугин, Митрофан Демидович Босенко, Сергей Самохин, Яков Филонович Могильный и его сын Макар Яковлевич, Андрей Никитович Телеганов, Казьма Кондратьевич Шарков, братья Павел и Семён Шарковы, Сергей Никитович Шарков, Мирон Казанцев, Семен Иванович Стасевский, Василь Малюта, Андрей Семёнович Призов, Яков Гаврилович Подсвиров, авторитетные старики Воловиков, Щербанёв, Фокин, Булгарин, Шаталов, Шевченко, Перваков, Криволапов, Титаренко, Сагайдаков, Дёмин, Нестеренко, Супрунов, Махнов, Назаренко, Каргавенко, Буланчиков, Сергеенко, братья Кияшовы, Иван Машенко, Трофим Орлов, Александр Телепнев, Филипп Ильич Бутенко, Иван Прохорович Волгов, Евдоким Товченко, Емельян Дмитриенко, Андрей Калинович Макаренко, Прокофий Пупков, Лука Ерёмин, Петр Варченко, братья Остроуховы, Воронин, Омельченко, Кирпанёв, Сергей Иванович и Василий Сергеевич Резниченко и другие. С того дня началось сильное брожение, размежевание между станичниками.
5. Есаул Егор Павлов — казак станицы Кардоникской.
6. Хорунжий Андрей Васильевич Борисенко — казак станицы Баталпашинской 2-го Хопёрского полка.
7. Хорунжие Андрей Говорухин и Мамота — кардоникские казаки 3-го Хопёрского полка.
8. Публичные порки и экзекуции применялись методично и белыми, и красными. Показательно секли как мужчин, так и женщин. В Кардоникской среди красных особой жестокостью прославились братья Иван и Александр Никулины, Афанасьев и Павел Шарков, у белых весьма усердствовали Алексей и Евдоким Товченко, Андрей Подолянский. Доза в 75—100 плетей была почти смертельной.
9. Это здание помнило многих зеленчукских атаманов. Степан Иванович Бутриёв, старик 86 лет, в 1979 году по памяти назвал мне фамилии следующих атаманов: Владимир Юхименко, Владимир Свербий, Петро Андреевич Гришай, Василий Степанович Овсов, Алкогол, Карпанец, Петро Мизиков, Дзюба, Мартын Бородин. Этот Мартын запомнился Степану Ивановичу таким эпизодом. Обедневший казак самовольно срубил в лесу несколько дубков. Его заставили скинуть их с брочки возле правления. Тяжелый дубок Мартын велел казаку взять на плечи и обнести три раза вокруг церкви. При этом кричать: «Люди православные, я украл дубки!» Поучив таким образом молодого казака, атаман смилостивился, помог ему обратно погрузить дубки, и наказанный отвез их домой.

10. Из рода иногородних Никулиных известна А. В. Никулина, женщина яркой красоты. Маршал Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» (1969 г.) писал о ней следующее: «В составе одной из штурмовых групп 1050 стрелкового полка предельно смело действовала инструктор политотдела 9-го стрелкового корпуса майор Анна Владимировна Никулина. Вместе с офицерами И. Давыдовым и Ф. Шаповаловым она водрузила Красное знамя над Имперской канцелярией». В современных публикациях её имя среди участников штурма рейхстага не упоминается.
11. Кисловодский Совдеп возглавлял монтер, левый коммунист Д. И. Тюленев. По словам А. Г. Шкуро, это был фанатичный сторонник углубления классовой борьбы, «ненавидевший буржуазию и офицерство». Расстрелян белыми в 1918 году.
12. Смерть настигла комбрига И. Л. Кочубея, уроженца хутора Роша, что вблизи Баталпашинской, зимой 1919 года. В Святом Кресте (ныне г. Буденновск) больного Кочубея привели раздетого на площадь и повесили.
13. В это время войска генерал-лейтенанта А. Г. Шкуро с приданным ему 4-м Донским корпусом отходили от Воронежа на Касторную. Шкуро просил Главнокомандующего Доброймией А. И. Деникина разрешить ему для удержания фронта срочно сформировать новые части на Кубани, но не получил согласия Ставки и вскоре был смещен со своего поста генералом В. Г. Науменко. Отбыв в Харьков, оттуда в Таганрог, из-за разногласий с П. Н. Врангелем некоторое время находился не у дел, отдыхал в Кисловодске, разъезжал по станицам Баталпашинского отдела. Здесь его встречали с восторгом. В критический момент, в марте 1920 года, новый Главнокомандующий П. Н. Врангель был вынужден назначить Шкуро командующим группой войск, которые не успели эвакуироваться из Новороссийска и отступали к Грузии вдоль Черноморского побережья. Шкуро прилагал все усилия для спасения 60 тысяч казаков, но было уже поздно. Обманутые, деморализованные, они сдались в плен красным в районе Сочи. Многие оказались в концентрационных лагерях, отправлены на Север либо расстреляны. На английском линкоре Шкуро отплыл к Врангелю в Крым, но, не дождавшись назначения, эмигрировал во Францию. Во время Второй мировой войны он надеялся в сотрудничестве с немцами освободить Кубань и Кавказ от большевиков. В мае 1945 года англичане, наградившие атамана высшим орденом Бани, выдали его в Австрии Советам. 16 января 1947 года во внутреннем дворе Лефортовской тюрьмы были повешены А. Г. Шкуро, престарелый Донской атаман писатель П. Н. Краснов, немецкий казачий генерал фон Панвиц, командир Кавказской дивизии Султан-Келеч Гирей, генералы Т. И. Доманов и С. Н. Краснов.
14. Полковник Георгий (Юрий) Александрович Ассиер (Асьер) происходил из обрусевших французов, приписанных в XIX веке к Кубанскому казачьему войску. В Первую мировую служил во 2-м Хопёрском полку, командовал сотней в отряде особого назначения под руководством А. Г. Шкуро. В Добровольческой армии и Вооруженных Силах Юга России — командир 1-го Хопёрского полка. В ноябре 1919 года был смертельно ранен под Старым Осколом; посмертно произведен в генерал-майоры.



Владимир ЯРАНЦЕВ

ЛАБИРИНТЫ И ОТРАЖЕНИЯ — 5*

О литературе не только современной

Литература всегда испытывала соблазн детскости, оребячивания, омоложения (и не только в героях). Уповая при этом на новизну так же, как и на истинность в главной инстанции. «Будьте как дети» ведь не обзриутами сказано и не их беспочвенными потомками. Сейчас, в условиях, когда детство нуждается в серьезной охране и попечении, это актуально и для литературы, однажды сорвавшейся в детство, истолкованное превратно — как льгота, лицензия на мелкое (иногда и «глубокое») хулиганство под охранной грамотой постмодернизма. Потом пришли дети «правильные», серьезные «саньки», скорректировавшие постмодернизм в «направленческий» неореализм. Но детство, т. е. ненаигранная наивность и нечаянное озорство, никуда не ушло. И когда серьезнеет В. Сорокин или мальчишествует А. Чудаков, ясно, что все хотят заглянуть куда-нибудь поверх голов порой слишком нарочитых п-модернистов или н-реалистов. Туда, в завтра российской литературы. Туда, где шагают впереди новые Гайдары.

I.

Когда реализма бывает много, пишется очерк. А когда его еще больше, то пишется уже само собой. Автор при этом, как лицо страдательное, успевает только делить написанное на главы. Такое впечатление оставляет книга **Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени...»** (М., Время, 2012). «Роман-идиллия», признанный премией Русского Букера книгой десятилетия. То есть лучшим произведением 2000-х гг.

С точки зрения «позитивного мышления», владевшего лит. думами 00-ых, именно такая книга и должна была прославиться. Несмотря на то что и в это десятилетие проблем в обществе и литературе хватало — они лишь на время притупились. И несмотря на то, что тяжкие 40-е — время действия романа Чудакова — идиллии никак не назовешь, Но если увидеть те «роковые 40-е» сквозь призму гиперреализма, опредмеченного, познавательного, без надрывов и психологий, как это делает писатель, то можно отождествить их с «нефтеналивными» 2000-ми, обес-

печивавшими продолжение банкета в начале XXI века.

Не лукавство тут и не нарочитость человека литературного, филолога-литературоведа, известного чеховеда. Всему виной Сибирь, ее уникальная культурная роль второй родины (пусть и временной, вынужденной) для ссыльной интеллигенции. Только в Сибири могли жить на узком пространстве изгнанные из столиц чиновники и педагоги, «музыканты, шахматисты, художники-оформители, актеры, сценаристы, журналисты, неудачно сострившие эстрадные юмористы». Сосуществовали такие имена, как академики Обручев и Зелинский, буддолог Щербатской и кораблестроитель Крылов, тоже академики.

Словом, поблизости от Чебачинска, где жил герой романа, пребывала целая «часть Академии наук». И преподавали Антону, как зовут этого героя, математику — доцент ЛГУ, литературу — «доцент из Куйбышева, физкультуру — чемпион РСФСР по десятиборью среди юношей». Такая же картина — в местных педучилищах, больницах, диспан-

* Продолжение. Предыдущие части см. «Сибирские огни», 2011, № 6, № 8; 2012, № 7, 11.

серах. А еще землю обрабатывал здесь цвет крестьянства — ссыльные «кулаки», ремесленниками — «плотниками, колбасниками, портными» — были немцы Поволжья (гарантия качества!). А если знать о давних ссыльнопоселенческих традициях Сибири, начиная с декабристов и участников польских восстаний... В общем, Сибирь тогда предстанет одним из самых культурно насыщенных регионов страны.

Так что юный Антон, родившийся в этом чудном и с точки зрения природы (сибирско-казахстанская «Швейцария», курортный целительный климат, черноземы и т. д.) уголке, развивался в во всех отношениях питательной среде. Да еще в самый любознательный, впитывающий, как губка, возраст — первое десятилетие жизни. И «Ложится мгла...» — это та же самая переполненная «губка», которую перед читателем автор или выжимает, или, наоборот, напитывает — как кому понравится. Тем самым гиперреализмом..

Самой же «губковой» в этом смысле является глава 12-я романа: «Натуральное хозяйство XX века». О том, как семья Антона дружными усилиями спасалась от голода и холода. Тут и посадка картошки по методу деда, «агронома-докучаевца», с «лунками из трех говн» — древесной золы, перегноя и «болтушки из куриного помета». И с урожаем по полведра с лунки. И «сахарное производство»: «патока из сахарной свеклы» и крахмал для киселя и отбелки белья. И печенье хлеба из созревшей («чтобы залечились нарушенные внутриклеточные структуры») муки. И «вершина хозяйственно-производственной деятельности (семейного) клана» — изготовление медицинского градусника.

И все это в массе сопутствующе-небезынтересного. Например, о «прихлебателях», изобретательно пользовавшихся достижениями гостеприимной семьи Стрелюховых, или краткая инструкция по приготовлению лучины, или об устройстве керосиновых лампы. Никакого уныния, жалоб, слез: просто работа, как необходимость и как творчество. Почти игра: как и что происходит с предметным миром в умелых руках интеллигента. Для которого слова — тоже «предмет».

И тут никак не обойтись без другой, но более ранней книги Чудакова «Мир Чехова. Возникновение и утверждение» (М., Советский писатель, 1986). Это ключевое для писателя-чеховеда слово «мир» удачно характеризует и создававшийся десятилетие спустя «роман-идиллию». Ибо «Ложится мгла...»

не роман, а «мир». Только не Чехова, а Чебачинска и его обитателей глазами любознательного наблюдателя.

Соответствия этих, казалось бы, столь разных книг, удивительные. Их можно назвать отношениями комментария-«ключа» к роману. Так, в книге, пишет автор, «много места уделено *простым вещам* — изображению в литературе обедов, поездок, купаний, сапог, псов, обыденных разговоров (то же и в «Ложится мгла...»). — В. Я.). Это не получилось случайно. Нам кажется, что литературоведение стало несколько высокомерным», интересуясь только мировыми проблемами. Потому он и обращается к газетно-журнальной «массовой» литературе. На которой, собственно, и возрос А. Чехов, в отличие от «его великих предшественников».

Чудаковым «были обследованы все основные юмористические и иллюстрированные журналы 70—80-х гг.», вплоть до газет «Гусли» и «Фаланга». Первая глава «Возникновение в прозе Чехова предметного изображения нового типа» блещет открытиями, реализованными в будущем романе литературоведа. Такое вот, например: «Отношение к предмету как всем известному, привычному» ведет к «полной инклюзии его повествователя» в изображаемый мир, «в который он и его читатель погружены *в равной мере*».

Разве Антон из романа-идиллии не столь же «инклюзивен» для сибирского мира, как конь Мальчик, мобилизованный еще при Колчаке, или герой «авторской» орфографии Васька Гагин? Последний заслужил в книге Чудакова целую главу во вкусе Чехонтэ, где чебачинский школьник писал «кердпич» вместо «кирпич», «честног» вместо «чеснок», «аппрекос» вместо «абрикос». И «гениально-бессмысленно» читал стихи из школьной программы, таким вот образом расставляя смысловые ударения: «Умру я скоро — жалкое наследство!» (тире вместо точки и восклицательный знак в конце — гагинские) или: «Уж реже солнышко блистало, / Короче: становился день» («гениальное» двоеточие).

Чудаков в своем романе не Чехов и не Чехонтэ. Да и не стремится к этому. Ибо центром, стержнем «Ложится мгла...» являются не «предметы», а дед героя. Его авторитет писатель утверждает с первой же главы «Армрестлинг в Чебачинске», где дед побеждает местного чемпиона, кузнеца Переплеткина, по законам голливудского боевика. Дед в «Ложится мгла...» тотален. Его категорическое неприятие всего советского, от быта до

политики, возведено в закон и лежит в под-
тексте каждой главы романа, организует зре-
ние и мнения автобиографического героя,
все повествование целиком. Включая ком-
позицию, когда визиты к деду Антона, уже
студента МГУ, вклиниваются в «детский»
сюжет романа.

При всей своей «предметной» досто-
верности, дед вырастает в образ «правиль-
ной» российской истории, досадно прерван-
ной нелепо-страшным советским периодом.
Дед деда, участь в духовной семинарии в
Вильно, знал еще Ф. Булгарина, жившего там
в 1820-е гг. А сам он наследует тому поколе-
нию русских священников, которых прини-
мали в духовную семинарию по признаку
породы: «Слабых, малорослых не принима-
ли... Те, кому предстояло нести людям сло-
во Божие, должны быть красивые, высокие,
сильные люди».

Примечательна и универсальна педаго-
гическая система деда, избавляющая от не-
грамотности всех детей, включая безнадеж-
ных и дефективных. И это еще одна жанро-
вая метка книги — жанр «педагогической
поэмы», излечивающей от дефективной «со-
вокости» даже в те суперсоветские сталин-
ские времена.

Отец Антона — единственный оппонент
деда, сторонник советизма и коммунизма,
но неортодоксальный. Он и Черчиллем
восхищается, и «Голоса» по радио слушает,
и лекции читает обо всем: о «сталинском
плане преобразования природы, великом
баснописце Крылове, адмирале Ушакове»,
о труде тов. Сталина «Марксизм и вопросы
языкознания». И сельхозработы знает: скир-
довать сено, управляться с быками и т. д.

II

Но все-таки отца Чудаков «локализовал»
в одной главе. Дед же — размером во всю
книгу. Не зря первоначально роман назывался
«Смерть деда». Невольно вспоминается
«Старик» Юрия Трифонова, писателя тоже
интеллигентного, «городского». «Ложится
мгла...» ведь тоже отчасти произведение «го-
родской прозы». Хотя бы потому, что там
есть и «московские» главы, в контраст полу-
деревенскому Чебачинску.

Но, конечно, не сравнить крайнюю се-
рьезность героя «Старика» с игровым все-
знайством деда Стремоухова, его пафосом
педагогике школьной и социальной. Старик
Летунов же сосредоточен на истории Сер-
гея Мигулина — военачальника эпохи Граж-
данской войны, казачьем «диссиденте», вос-
стающем против большевистской политики

«рассказачивания». Увязая в дрязгах по дач-
но-подмосковным делам и внутрисемейных
«напрягах» со взрослыми детьми и их семья-
ми, с друзьями и недругами, в «недочув-
ствиях», «недомыслиях» и прочих «недо-»,
он не расстается с папкой документов о
Мигулине и той войне, в которой он в моло-
дости участвовал.

Будто хочет поверить 1919-м 1970-е гг.,
историей — современность, найти там ис-
точники сил. Не просто сравнить, а вылечить-
ся. Ибо «как увидеть время, если ты в нем?»
Если «жизнь — такая система, где все зага-
дочным образом и по какому-то высшему
плану закольцовано, ничто не существует
отдельно, в клочках, все тянется и тянется,
переплетаясь одно с другим, не исчезая со-
всем...»

И наоборот, стальной и цельный Мигу-
лин предстает едва ли не персонажем из веч-
но рефлектирующих 70-х. Он и «красный», и
«белый», и верит в революцию, и не верит —
ведет «двойную игру», как думают некото-
рые его соратники. И остается Летунов недо-
стариком с невыполненной (невыполнимой?)
миссией, ради которой и продлены его дни:
«Из черепков собрать вазу и вином напо-
лнить сладчайшим — называется — истина».

У Чудакова — не «старик», а «дед». Раз-
ница огромная. Там старость с пожизнен-
ным самообвинением в предательстве (та-
ковы все почти главные герои Трифонова).
Тут старость неотягченная, здоровая духов-
но и телесно. «Никогда не болел», — повто-
рит Чудаков в романе не раз и не два. Уж не в
пику ли старикам Трифонова, переуслож-
ненным душевно и умственно, писал Чуда-
ков свою «идиллию»? Вопрос не праздный.
На судебном процессе против Мигулина в
«Старике» выступает его защитник по фа-
милии *Стремоухов*. Случайность, совпаде-
ние? Важно, что этот трифоновский персо-
наж «не похож ни на кого», он «довоенный,
допотопный, в пенсне», «толст, что тоже не-
обыкновенно, говорит с одышкой».

Стремоухов чудаковский как нарочно
«нормален», подтянут, спортивен, без при-
знаков одышки и пенсне», хотя ему «перева-
лило за девяносто». И вместо пухлой папки с
мигулинским досье у него остались от про-
шлого только несколько старых бумажек и
газетная вырезка с его статьей «Сейте лю-
церну». В отличие от солидного собрания
старика Летунова, которое пригодилось по-
сле его смерти одному прыткому аспиранту
для диссертации.

Так и хочется сказать: все здесь в пику, в
противоположность слишком сложному
Трифонову. Такова была его судьба: отца

расстреляли в 1937-м, мать попала в гулаговские лагеря. Но и тут, в судьбах, есть соотнесения: Трифонов жил с бабушкой в эвакуации, в Ташкенте, родители А. Чудакова хоть и остались живы-здоровы, но воспитывали сына вместе с дедом в сибирско-казахстанском Чебачинске (в реальности — Щучинск). И это не все.

Откроем «Отблеск костра» Трифонова. Это документальная повесть об отце, воевавшем в «мигулинских» местах на командных должностях. И с удивлением читаем: «...В восемнадцатом году ему исполнилось тридцать, — но его звали “Дед” даже те, кто были значительно старше. Он был среднего роста, сильный, коренастый: физическую силу развил постоянными, с юности, со времени ссылок, упражнениями с гирями».

Другое удивление: мать Трифонова Е. А. Лурье отбывала срок в казахстанском Карлаге, недалеко от Чебачинска. В романе Чудакова этот лагерь упоминается несколько раз. И, наконец, еще одна улика в нашем «расследовании»: будущий роман Чудаков начал писать в 1987 г. — в год выхода «Исчезновения», последнего, посмертно опубликованного произведения.

Как и в других знаменитых его полуисторических произведениях, здесь ведется параллельное повествование о репрессивном 1937 г. и мирном 1942-м, когда молодой Игорь Баюков возвращается в Москву из ташкентской эвакуации, чтобы работать на заводе. В 1937-м он еще Горик, живо впитывающий все хоть сколько-нибудь познавательное, интеллектуальное. Совсем как Антон из романа Чудакова. Это такой маленький московский интеллигентик, который познает, играя, играючи. Как учил Антона дед.

Еще одним доказательством необычной зависимости Чудакова от Трифонова являются опубликованные в конце 90-х гг. фрагменты дневников и рабочих записей Трифонова в «Дружбе народов» — журнале, печатавшем главные его произведения. Эти «фрагменты» Трифонова, можно говорить уверенно, вдохновляли Чудакова при написании его романа. Достаточно взглянуть на даты его создания: после «1987» значится «1997—2001», а записи Трифонова публиковались в 1998—1999 гг. Есть здесь страницы, заставляющие вспомнить вундеркинда Антона. Например, об американском «воздушном слоне». Есть и об истории, которой в 50-е гг. Трифонов много занимался. Антон из «Ложится мгла...» в те же годы — студент-историк.

Но нашел себя Трифонов в обыкновенном реализме — в обращении к «человечес-

кой жизни», но не «бытописание», «чеховстве». Чехов стал делом жизни Чудакова. Такие вот зигзаги. Не обошлось и без опыта А. Солженицына и его произведений, весьма им ценимых. Познакомившись с автором «Архипелага» и с А. Твардовским, впитывая дух либерального «новомировства», Трифонов напишет в 1969 г. о прозе: «*Латинское* прилагательное “*prosus*”, от которого произошло слово проза, означает вольный, свободный, движущийся прямо... Современная проза, которая иногда ставит читателя в тупик, — роман ли это, рассказ, исторический очерк, философское сочинение, набор случайных оценок? — есть возвращение к древнему смыслу, к вольности, к “*prosus*”».

Прямо как о Чудакове и его романидидиллии сказано! Заметим, что и немалый массив публикации «**Из дневников и рабочих тетрадей**» (1998—1999) Трифонова в «Дружбе народов» опубликован в рубрике «*Проза*». Вместе с такими произведениями неопределенных жанров, как «Встречи на винной дороге» А. Приставкина, «Степной книгой» О. Павлова или «романом-диссертацией» В. Бутромеева (у самого Трифонова, заметим, «Время и место» названо «романом-пунктиром»).

Книга «Ложится мгла...» включает в себя также отрывки из дневников, записных книжек и писем — в духе Трифонова. Неизменный их мотив — вопросы к самому себе по поводу будущего романа. Ибо даже литературоведу написать настоящее лит. произведение нелегко. Но можно: «Странное чувство. Все, что выливалось только в застольные и кухонные разговоры... все, оказывается, можно перелить в чеканную маловысокохудожественную прозу».

Пригодились и мнения родных и знакомых о его творении. М. Чудакова: «Не нужен сюжет — глыбы лягут собственной тяжестью, без цемента. И никакой ориентировки на современный литературный процесс! Никакого с ним контакта!» Е. Тоддес: «В твоём романе — какая-то странная увлекательность. Никаких событий, ничего, — а катится, увлекает». Р. Лапушин: «Это счастливая книга, книга о счастье, вопреки всему».

Если Трифонов — писатель аналитический, психологический, экзистенциальный, в ущерб прочему (особенно композиции), то Чудаков писатель синтетический. Точнее, гармонический: «Мир становится все абсурднее и хаотичнее, но писатель не должен это рабски отражать, а в душе своей удержать идею сдерживающей гармонии, чтобы все не распалось уж совсем на куски». «Ложится мгла...» примером абсолютной гармонии

не стал. Может, поэтому в новом его издании к тексту присоединили эти дневниковые записи. Трудно представить, чтобы, например, в «Старике» или «Исчезновении», или даже «Отблеске костра» в качестве приложения публиковались дневники Трифонова. Настолько самодостаточен писатель в своей аналитике.

Тем более невозможны в его романе фотовклейки. А вот в «Ложится мгла...» — целая подборка фото. В основном самого Чудакова. И смущает фотография того самого деда-«супермена». Надо ли было разрушать тот почти былинный, мифический образ, который так комфортно сложился в сознании читателя? И тут вдруг фото. Все равно как роман превратить в очерк, поэзию — в прозу. У мифов фото не бывает.

III.

Если бы мы видели фото Евгения Онегина или Григория Мелехова во вклейках к текстам, вряд ли бы они выиграли. Потому что трудно принять появившуюся не так давно в книгоиздании моду помещать на обложках книг классики или литературоведения фото актеров, сыгравших лит. героев в известных всем фильмах. Так что того же Мелехова сейчас представляют не иначе как в образе артиста П. Глебова. Хотя и говорят, что актеров для того знаменитого фильма С. Герасимова одобрял сам М. Шолохов.

Который, может быть, и не был подлинным автором «Тихого Дона». Как считает до сих пор несмолкающее антишолоховедение. Немалые силы брошены на то, чтобы зачеркнуть имя Шолохова во главе вседонского и всеказачьего романа. Создана даже целая научно-издательская программа-серия (фонд?) «АИРО-исследования по программе авторства “Тихого Дона”». Одна из последних книг этой серии — книга **А. Венкова «Тихий Дон»: источниковая база и проблема авторства. Часть 1. В поисках автора. Часть 2. Авторы «Тихого Дона»** (М., АИРО-XXI, 2010).

Это настоящий «кирпич» чуть не в тысячу страниц, а его автор — беспрецедентный труженик на ниве «шолоховского вопроса», разведавший недра одного из самых объемных романов мировой литературы до песчинок, пылинок и атомов его текстового содержания. Таковыми являются подсчеты «словесных обозначений цветов» в «Тихом Доне», вплоть до составления частотного «Словаря цвета», расписанного по частям и главам. Да еще в сравнении с главными претендентами на авторство: И. Филиппов,

А. Серафимович, Ф. Крюков, И. Родионов, В. Севский (В. Краснушкин).

Есть и таблица «количества обозначений цвета, запаха, звука, вкуса и осязания» на одну страницу текста. Подсчитал и проанализировал Венков и монологи, с подсчетом количества слов в каждом из них, и песни и их функции в романе («предвешают поворот сюжета, его будущего развития, либо по-особому иллюстрируют события...»). Но главное, что сделал автор, не убоившись трудностей, попытался установить степень географических и исторических «искажений» в «Тихом Доне» по отношению к подлинным событиям Первой мировой и гражданской войн, а также соотношение реальных и вымышленных персонажей, т. е. прототипов.

Степень эта оказалась весьма высокой. Начать с элементарного: «где стоял хутор Татарский», родина Григория Мелехова, Аксиньи и др. Оказывается, он несколько раз менял свою географию, находясь на месте то станицы Калитвенской, то между Казанской и Мигулинской, то Еланской, с «вкраплениями» Вешенской и Каргинской, то в «юрте Мигулинской станицы». Тот же алгоритм великой путаницы и в другом — военной форме, календаре, «подборе персонажей», датах сражений.

И здесь Венков показывает такую эрудицию, такое знание имен, биографий, послужных списков казачьих офицеров разных рангов, что у неопита голова пойдет кругом. Приказный Е. Колычев и урядник А. Колычев, хоруужие Г. Полковников и С. Громов, подьесаул В. Пузанов, прапорщик Д. Кухтин — десятки, может, и сотни действующих лиц казачьего воинства той поры проходят перед читателем этой монументальной книги. С фотографиями и проверкой их на (хоть и малую) причастность к «Тихому Дону».

Не всякий готов читать все это подряд. Как вряд ли кто-нибудь читает от «А» до «Я» энциклопедии и справочники. Слава богу, Венков облегчил читателю труд чтения своей книги итоговыми выводами, выделенными жирным шрифтом. Все они, так или иначе, подтверждают очевидное — «компоновку фактов, создание на основе нескольких реальных событий одного вымышленного».

Интригует «поиск 16»-й (т. е. глава) из 2-й части книги «Об активном вмешательстве в текст “Тихого Дона” А. Серафимовича». Автор «Железного потока», которому к моменту публикации «Тихого Дона» в журнале «Октябрь» перевалило за 60, правил роман на правах мэтра, т. е. убежденного и про-

веренного партией коммуниста. А также земляка, уроженца одной из донских станиц. Он «вмешивается в описания пейзажей и красноармейцев и комиссаров», «добавляет ощущения безысходности у казаков», «Григорию навязывает мысль о возможности договориться с красными» и т. п.

Редактура Серафимовича обнаруживается, если знать особенности его произведений — повести «Город в степи», рассказа «Фетисов корень» и др. Например, в них повторяются мотивы «вязкости цвета» (преобладание «черного», «серого», «густого» и т. д.), «расцветивание» текста вообще, добавление запахов, сцен драк, насилий, убийств.

Почему же так легко и решительно, как показывает нам Венков, гулял редакторский карандаш по тексту «Тихого Дона»? Только потому, что знал старший коллега Шолохова о его «неполном» авторстве. Что был тот самый «сундук с рукописью», который Шолохов использовал для написания первых глав и частей романа (Венков доказывает, что «переписал» его в *своей* черновик). Что для военных, повстанческих и даже бытовых сцен использовал материалы многочисленных газет и журналов с очерками и рассказами пишущих «господ казак».

Иногда настолько талантливых, что Венков перепечатывает их в свою книгу, приглашая читателя сравнить с главами «Тихого Дона». Это рассказы В. Пузанова, пьеса И. Филиппова «Язвы казачьей жизни», рассказы казачьих эмигрантов И. Колесова, Д. Кондратьева, Ю. Гончарова. И вот что в итоге у Венкова получилось: «Тихий Дон» создал «авторский костяк» в составе: И. Филиппов, И. Родионов, Н. Евсеев и А. Серафимович — «четыре писателя, имеющих опыт редакторской работы».

Ибо роман не «списан с жизни» очевидцем (очевидцами), а писался «по газетным и журнальным статьям». Начат где-то в 1910 г. — речь шла о событиях 1901—1906 гг., а затем приспособлялся к новым событиям: Первая мировая война, гражданская война, колебания между «красными» и «белыми». Эту-то «смесь» («роман, черновики и другие материалы»), составившую содержание «портфеля» («сундука»), потом и правильно означенный «костяк».

А Шолохов? Нет, пишет Венков, «мы ни в коей мере не отрицаем авторства М. А. Шолохова». Но какого авторства? А такого: «Им, бесспорно, написаны огромные монологи во всех частях романа, особенно он развернулся в частях 7 и 8. Кроме того, ему принадлежит правка некоторых глав первоначального варианта, “костяка”».

Шолохов автором милостиво оставлен. Но отодвинут на периферию, всего лишь в подмастерья.

И спорить с такой громадой почти построчных разборов, сопоставлений, выводов невозможно. Они хоть и местного значения, эти антишолоховские аргументы, но массой своей готовы подавить, задавить. Тем более Шолохов не вычеркнут совсем, только понижен в ранге. Не то что И. Медведева-Томашевская, провозгласившая автором Ф. Крюкова, или Зеев Бар-Селла, выдвинувший В. Севского (В. Краснушкина). Полусогласившись с магистральной идеей Венкова, можно было бы пафосно воскликнуть: да, этот роман-эпос писал, по сути, весь Дон, все казачество, ввергнутое в водоворот другой, отнюдь не тихой реки по имени история.

С другой стороны, если «Тихий Дон» писали казаки, «господа военные», участники боевых действий, то как же они могли так изрядно напутать с номерами полков, их дислокаций, датами и местами сражений? И так искусно, будто нарочно. Неужто все-таки роман написал Шолохов, «человек, который не участвовал в описываемых им событиях»? Так утверждается в статье «**Неточности и ошибки “Тихого Дона”**» (Вопросы литературы, № 4, 2011). А. Рыбалкин, ее автор, словно в восхищении, перечисляет, где не был и не мог быть юный Шолохов: «Ни в Галиции, ни в Познани, ни в Восточной Пруссии, ни в Сувалковской, ни в Ковенской, ни в Вольнской губернии».

И тем не менее, несмотря на «полную мешанину и несоответствие в описании событий Первой мировой войны на русско-германском фронте», он «большой художник», и все эти вопиющие казусы происходят от «авторского воображения». Т. е. чем гениальнее писатель, тем больше он может — нет, должен! — путать и небрежничать. В доказательство приводится «Война и мир» Л. Толстого, который, пишет Рыбалкин, допустил там «некоторые неточности». Что, конечно, не мешает роману «оставаться великим».

Напрасно автор статьи взял в пример Толстого, который, в отличие от Шолохова, на войне был. Правда, Крымской, в осажденном Севастополе, но опыт «Севастопольских рассказов» отразился, иногда почти текстуально, в «Войне и мире». Да и лет Толстому было побольше, больше и образования. Эта сомнительная аргументация: «Неточности...» — «и потому — Шолохов!» — заставляет вновь вернуться к Венкову и его книге. Где на эту же тему «неточностей» написано и исследовано на порядок больше и кропотливее.

Потому что автор занимается шолоховедением с 70-х гг., сам доччанин, многих современников эпохи «Тихого Дона» знал и их интервьюировал, изучил множество редких изданий и документов. Рыбалкин же сам откровенно признается в своем дилетантизме: «Не являюсь профессиональным историком или литературоведом», но «давно интересуюсь военной историей». Что не дает ему, однако, права не называть имена и работы оппонентов авторства Шолохова, в том числе и Венкова. Иногда кажется, что «антишолоховеды» эрудированней и компетентней своих антиподов. И беспристрастнее в выводах, как Венков. Путал-то, может быть, и не автор романа, а его редакторы. Видно ведь все же, что так войну и ее быт мог описать только тот, кто на ней все-таки был.

Вот Трифионов, если на Дону 1918—1920 гг. не был, так и писал либо «Отблеск костра», исключительно на документах основанный (потому и «отблеск», а не «костер»!), либо психологического «Старика», где 70-е гг. нераздельны, но и неслиянны с рубежом 10—20-х гг. Дневники и рабочие записи писателя показывают, как глубоко интересовался он этой темой. Тут и «старика думенковца и мироновцы звонят», несут папки с документами, «чтоб увековечил, написал правду» о вождях казачества. Пришлось Трифионову слить Б. Думенко и Ф. Миронова в один образ Сергея Мигулина.

И никакого интереса к шолоховскому роману и «вопросу». Куда больше его привлекал 1937 год и войны Сталина с оппозицией. «Московская», а не «донская» судьба его отца. Нужно ли было тратить время на тупиковый вопрос авторства «Тихого Дона», если много более интересного: конспектирует трактаты Л. Толстого, восторгается «Андреем Рублевым» А. Тарковского, критически читает Достоевского и «шестидесятников», готовя свой народовольческий роман «Нетерпение». Да что говорить, если вместе с журналом «Каторга и ссылка» и «приказами 1918 года» он читает Плутарха, Квинта Курция Руфа, Ксенофонта Афинского как десерт или «бром» (О. Трифинова), потом увлекается за границей: Италия, Испания, Германия, Франция, США.

IV.

Разносторонность хоть и удивительная, но слишком бурная, неустойчивая. Между «Студентами» 1950 г., Сталинской премией за них и антисталинским «Домом на набережной» 1980 г. — путь и в длину и в ширину. Объемность жизни и творчества Трифо-

нова не обошли вниманием и постмодернисты. Владимир Сорокин, на излете своего концептуализма/постмодернизма, преодолевая «кризисные явления» 90-х, обращался к «подростковым дневникам» Трифинова в рассказе «Аварон» (из романа «Пир»).

Автор приведенных цитат **Михаил Марусенков** считает этот рассказ наполненным религиозным смыслом. Хотя и неясно, пуст он, этот смысл, «чуждый материальному миру, а вместе с ней и жизни», или все-таки «может оборачиваться духовной наполненностью». И кто будет душу наполнять, а главное, чем? Неужто «заумью, гротеском, абсурдом» и прочей «абсурдопедией»?

Так книга Марусенкова о Сорокине и называется: **«Абсурдопедия русской жизни Владимира Сорокина: заумь, гротеск, абсурд»** (СПб., Алетейя, 2012). На самом деле это кандидатская диссертация, защищенная двумя годами ранее в МГУ. Оказывается, творчество Сорокина расчленимо на четыре периода, и только в начале 2000-х писатель «переходит к изучению действительности». До этого были «какцентирование конвенциональности» и «деконструкция мифологии».

И вот поворот на 180 градусов — от деконструкции мифологии к ее «реконструкции», «познанию действительности». А еще смеялись над «новым реализмом», когда один из зачинателей постмодернизма осознал необходимость не «обыгрывать культурные мифологемы и стилистические клише», а наконец-то всерьез «задуматься над смыслом бытия». Т. е. как жить дальше. Вроде бы и застеснялся себя прежнего, но и отступить от «краеугольных камней (своей) поэтики» не в состоянии.

Тянет Сорокина к «национальной специфике» русской литературы, но *интернациональные* заумь, гротеск и абсурд не позволяют быть серьезным, как неореалисты. И тут-то «краеугольный» вопрос к книге самого Марусенкова: абсурд Сорокина философского происхождения, как, например, у Ю. Мамлеева, или все-таки «концептуалистско-стёбного»? Неясность остается, несмотря на специальные теоретические главы книги. Наверное, потому, что сам Сорокин вряд ли концептуально-абсурден. Скорее, «политически», из ненависти к «совку».

И еще «биологически». На что указывает диссертант: «Исходной точкой становления его (Сорокина) абсурдной поэтики, видимо, следует считать физические и психические травмы, перенесенные Сорокиным в детстве. Они обусловили как само обращение к лит. творчеству, так и восприя-

тие человеческой жизни в качестве тягостной ноши и болезненного внимания к проявлениям насилия». Насилием Сорокину кажется и вся русская литература (не без подсказки К. Леонтьева и В. Розанова), ответственная за события русской истории, начиная с Октябрьской революции.

Соцреализм, конечно, переусердствовал по части попыток оживления неживого, превращения «ходячих идей» в литературу. Но и Сорокин разве не переусердствовал, восполняя «нехватку телесности в русской литературе»? Так пришел абсурд, закрепился, по закону рефлекса, стал приемом, стилем, творчеством. Для литературоведов же разбирать законы и тонкости зауми, абсурда и т. п. просто праздник. Тем более что есть классика зауми в лице А. Крученых и ее канонизация В. Шкловским, сравнившим язык футуристов-заумников с заклинаниями сектантов.

Естественно, тут и обэриуты, и Д. Хармс со своими «Случаями». Маргинальными, а на самом деле просто детскими. Ведь что есть сие — теоретизирование вокруг строки А. Пушкина «Узрю ли русской Терпсихоры душой исполненный полет», где Крученых узрел, вернее, услышал некие «узрюли»-«глазища»? Игра, озорство, смешарики. А поэт-заумник на полном серьезе выдвигает теорию «сдвигологии», «деконструктивистского чтения».

Так вот провоцирует Сорокин своей «истерикой стиля» (Л. Рубинштейн) на сорокиноведение. Еще одной жертвой его стал Марусенков, старательно усложняющий произведения этого весьма простого (хотя и «знакового») писателя. Сейчас, правда, Сорокин уже не тот. О чем говорит его «Метель». Простота и сравнительная целомудренность этого романа не исключает его детскости. «Метель», за малыми исключениями, можно читать и детям.

И это еще одна тенденция в современной литературе, тлевшая со времен «абсурдистов» подлинных, т. е. обэриутов. Среди пионеров такого детско-взрослого чтения ныне — **Маризтта Чудакова**, солидный литературовед, и восторженный поклонник обоих Гайдаров. Под влиянием старшего, Аркадия, исследовательница творчества Булгакова, Зошенко, Олеси в 2000-е написала трехтомные приключения девочки Жени Осинкиной. Особые обаяние и роль Гайдара-внука — Егора подвигли Чудакову написать его восторженную биографию **«Егор. Биографический роман. Книжка длямышленных людей от десяти до шестнадцати лет»** (М., Время, 2012), не хуже Сорокина уничто-

жающую все советское. С помощью вундеркинда Егора Гайдара.

Экономический гений, он же «злодей» российских 90-х, предстает у Чудаковой прежде всего изрядным книгоцем. Она же, как книгочей профессиональный, эту особенность внука А. Гайдара и П. Бажова повсеместно подчеркивает и усиливает начитанностью собственной (одних эпитафий, лирических отступлений и вкраплений, от М. Кундеры до А. Дюма, несметно). И получается тогда, что невероятно умный Егор приступил к своим невероятно шоковым реформам 1991—92 гг., будучи человеком насквозь книжным, кабинетным ученым.

При всей безукоризненно антисоветской логике, доказывающей вселенское зло советизма, на которой Чудакова строит и книгу, и образ своего героя, выходит, что оба судят о СССР специфически-односторонне, как им удобнее. «Карфаген должен быть разрушен», и точка. А что катастрофических последствий только одной либерализации цен (за год они выросли в 26 раз!) он — и. о. премьер-министра, явно не ожидал, только доказывает незнание им своей страны. Или нежелание знать, за исключением дежурных выпадов в адрес плановой экономики, дефицита колбасы при обилии «ортопедической» обуви, «невыездных» персон и несправедливой цензуры.

Другой лейтмотив книги — Егор как герой гайдаровской закалки («чтобы против ветра, быстрее и дальше, чем по ветру!») и в то же время жертва, призванная принять на себя гнев миллионов жертв их с Ельциным реформ. По совокупности этих признаков выходит, что у Чудаковой в ее «Егоре» получился герой колоритный, но лишь литературный, лит. произведения, а не реальной жизни. Тем более что книга адресует, как будто бы, детям, которым нужно понятнее, а значит, попроще. Впрочем, импульсивная Чудакова нередко об этом забывает, грузя читателя политикой, увы, с позиций только одной стороны баррикад, плодя врагов по другую ее сторону. Ибо Е. Гайдар — фигура все-таки далеко не детская, чтобы стать когда-нибудь «идеальным жизненным примером для современной молодежи», как хотела бы автор.

Но когда надо было поддержать наследие вполне советского А. Гайдара, Чудакова не осталась в стороне. В битве за честное имя автора «Судьбы барабанщика», с начала 1990-х обвиняемого в кроваво-садистских массовых убийствах и казнях в Гражданскую войну и после, особенно в Хакасии («геноцид русского и хакасского народа»), она встала на сторону защитников А. Гайдара.

Вопрос же о хакасском «геноциде» и участии в нем Гайдара труден и сложен. Свидетельством тому — книга гайдароведа **Бориса Камова «Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров»** (М., ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011). Даже не книга, а маузер, который так любил Гайдар. Оружие, из которого Камов в упор расстреливает «газетных киллеров», покусившихся на его подзащитного. Не зря в цветовой гамме ее оформления присутствует стальной оружейный цвет.

Автор книги дает такую гневную отповедь хулителям Гайдара, что их антигайдаровские рассуждения меркнут перед страстными филиппиками Камова. Впрочем, «филиппики» — тут слишком интеллигентное слово для характеристики отборных ругателей, дозволенных литературному, а не матерному языку. Главная мишень здесь — Владимир Солоухин, аттестуемый как «известный дебошир, скандалист и фальсификатор истории». Не шадит почтенный гайдаровед и всех прочих: «Дауны от журналистики», «газетно-книжная шпана», «безвестные негодяи, трусливо спрятавшиеся за псевдонимами» и т. п.

Наверное, Камов прав. С его-то гайдароведческим стажем и напором уничтожить не только «шпану», но и «китов» из Москвы ничего не стоит. Но такими ли средствами, взятыми напрокат у тех же «киллеров»? Одобрил бы сам Гайдар — человек с такой доброй и мягкой улыбкой и такой по-детски обаятельной прозой, подобную агрессию, «истеричку стиля»?

Не знал он, правда, что внуком его будет Егор Гайдар, вокруг деятельности которого в 90-е гг. развернется настоящая гражданская война. Тут-то мы и вернемся к Чудаковой, чей отзыв о книге Камова эту книгу открывает. Впрочем, после антисоветского «Егора» ей легко переключиться с литературоведения на политологию. «Потоки грязи на Аркадия Гайдара» объясняются ею экономическими реформами его внука, «жесткими, но необходимыми». Ибо он «призван был историей спасти страну... от неминуемых голодных бунтов матерей».

Когда политика вторгается в литературу, исчезает всякое желание осмысливать суть произошедшего вокруг А. Гайдара. И ладно бы спорили о его произведениях. Копья же ломаются вокруг его биографии. Были или нет преступления юного Гайдара-ЧОНовца на Кубани, Тамбовщине и в Хакасии, стрелял ли он в безоружных, топил сразу по 76 человек в озере, да еще под лед, или все это клевета врагов Аркадия или Егора?

Приходится при этом вспоминать, что Солоухин, написавший разоблачительную повесть «Соленое озеро» — «патриот»-русофил, а Чудакова принадлежит как будто к противоположному лагерю. Вспомнится, что и «Наш современник», где в 1994 г. была опубликована повесть, отнюдь (егоргайдаровское словечко!) не лучший друг «Новому миру» или «Знамени», благоволящих к Чудаковой. Не говоря уж об анти- и филосемитизме. Нет, хватит уже сломанных копий, пахнущих «перестроечными» разборками.

V.

По-настоящему же важен и серьезен вопрос о двойственности/двуликости человека высокого ума и таланта, живущего и творящего в условиях революции и гражданской войны. Мало кому из действительно талантливых людей такого двоения удалось избежать. Это вина и беда и Булгакова, и Зощенко, и Олеси, милых сердцу Чудаковой. Также и И. Бабеля, чьи дневники так резко отличаются от его же «Конармии». Затуманенная ужас писателя от этой самой Конармии, которую он вроде бы и полюбил. Парадоксы двоения!

Не мог избежать этой роковой двойственности и А. Гайдар. Если считать его подлинным лит. талантом. В произведениях 20-х гг. двуликость писателя ощутима во «Всадниках неприступных гор», «Лбовщине» и «Давыдовщине». А вот начиная со «Школы» (тот самый 1929 год!) писатель выравнивается. Но не за счет соцреализма, а за счет перехода на детскую тематику. Точнее, показу того, как надо воспитать себя с юных лет, чтобы не быть тряпкой, трусом, Плохишом. Как воевать и геройствовать без пафоса, жить и выживать.

Вплоть до конкретных рецептов, практических советов. В этом смысле и «Школа», и «Дым в лесу» и др. повести и рассказы вполне пригодились бы для занятий по современному «ОБЖ». Сделать бы Камову в своей книге о «киллерах» акцент на этом ключевом моменте биографии и произведений Гайдара, не тратиться на очевидно уязвимых Солоухина и антигайдаровцев, успокоиться, устояться в аргументах и фактах.

Подумать, наконец, о читателях его «Мишени...», особенно малосведущих в гайдароведении, которым приходится начинать чтение книги с конца — участия Гайдара в партизанском отряде на Украине осенью 1941 г. накануне своей гибели, неясных ее обстоятельств и перезахоронения тела в 1947 г.

А затем хронологически пятиться назад, в 30-е гг., во времена репрессий его книг (особенно «Судьбы барабанщика»), его жены и его самого (чудесное спасение от ареста благодаря А. Фадееву). И лишь тогда «газетная шпана» заклеямена, обругана, приперта к позорному столбу, а эмоциональный запал удовлетворен и поугас, Камов начинает с начала: детства, отрочества, юности и т. д. С 313-й страницы 544-страничной книги.

Но как бы автор «Мишени...» ни выстраивал свою книгу, все равно главной мишенью оставался бы **Владимир Солоухин** и его «**Соленое озеро**» (1994). Выходит, задел автор «Владимирских проселков» и «Камешков на ладони» главного гайдароведа все-разрез. Значит, не только клевета и заказное очернение (якобы писал по заказу хакасов — ненавистников Гайдара) Гайдара содержится в его книге. Но и еще что-то, труднооспоримое.

Если судить о «Соленом озере» только по книге Камова, кажется, что Солоухин только и делает, что чернит Гайдара, с первой страницы до последней. Между тем о замысле написать о Гайдаре речь заходит в «Соленом озере» только спустя добрых 50 страниц неторопливого рассказа о Хакасии, ее поэзии, эпосе (который писателю довелось еще в советские годы переводить), ее угожьях. Не жалеет страниц Солоухин и чтобы рассказать о хакаских вишнях и жимолости, хариусах и сопках. Добродушие и лирика тут почти гайдаровские.

Солоухину это куда интереснее. Он любознателен, как ребенок, как Антон Стреломухов Чудакова. О литературе заговорили с его давним другом по Литинституту хакасом М. Кильчичаковым случайно («разговор... перешел вообще на литературу и не помню уж, как на Гайдара»). Он-то и рассказывает пораженному Солоухину о гайдаровских жестокостях — массовых казнях хакасов («стрелял в загылок», расстреливал из пулемета, топил в озере и т. п.).

Рассказ этот, в котором другой бы усомнился, лег на готовую почву: Солоухин как раз накануне издал книгу о зверствах В. Ленина «При свете дня» (1992) и человеконенавистнической сути большевизма и советской власти. Вкупе с политизированной экологией — обвинениями СССР в разорении и погублении сибирской природы, подкрепленными выдержками из статьи В. Астафьева «С карабином против прогресса», это демонстрирует вполне сложившееся мировоззрение, «белый» патриотизм, по В. Бондаренко.

Гайдар в Хакасии предстает у Солоухина мини-Лениным. Как идейный большевик

и ветеран (в 20 лет!) Гражданской войны, затеянной исключительно в злобных целях — убийства богатых («буржувей»), кулаков, офицеров и т. д. Те, кто этому сопротивлялся — тамбовец А. Антонов и «хакас» И. Соловьев, банду которого должен был уничтожить Гайдар, — были не бандитами, а героями. Все очень просто, надо только прежние «минусы» поменять на «плюсы». Солоухин — это Камов наоборот, и их полемика — борьба «плюсов» и «минусов». Смена которых и наплодила «либералов» и «патриотов» из прежде «однородных» советских людей.

Неловко как-то выступать в роли арбитра или «центриста»: правы и тот и другой, каждый наполовину. Но как бы ни были разрушительны революция и гражданская война, это исторически свершившийся факт, а не злая воля отдельных людей. Царя, самодержавную власть, даже духовенство (далеко не беспорочное) ненавидели слишком многие, чтобы поддерживать их защитников — белую гвардию, чьи отряды зверствовали ничуть не меньше «красных». Тупики капитализма, как бы ни теоретизировал в свое время Е. Гайдар и его популяризаторы до шестнадцати и старше, все более очевидны и пугающи. Так что идеи социализма-коммунизма рано сдавать в архив. И в Европе это чувствуют сейчас как никогда ясно.

Не сдать в архив и Гайдара с его произведениями. В Хакасии он, очевидно, все-таки превышал меру в борьбе с «соловьевцами» и сочувствующими им. Здесь пословица «Дыма без огня не бывает», столь не любимая А. Ахматовой и Камовым, все-таки действительна, и рассказы хакасов («фольклор», по Камову) не все выдумка. Верили тогда, увы, верили, что можно решить «классовые» противоречия оружием и насилием. Верят некоторые до сих пор.

Философии войны между народами и «классами» отдали дань слишком многие неглупые люди, чтобы их клеймить и ставить к позорному столбу. Есть такое подзабытое выражение «историзм мышления», к которому мы и апеллируем. Памятуя, что оно служит не оправданию разного рода и толка геноцидам, но одной лишь истине. На этом мы и заканчиваем это совсем не лирическое отступление.

VI.

О том, что этот историзм не умер, свидетельствуют переиздания Гайдара. Хоть и в провокативном издательстве «Ад Маргинем», но зато в 2012 году. Кто бы мог подумать! И это после 1991 года, «Соленого озе-

ра» и газетных публикаций, которые должны были похоронить Гайдара навсегда. Вот и документальная повесть Солоухина переиздается почти в те же сроки (т. 5 пятитомника Собрания сочинений В. Солоухина. М., Русский Мир, 2011), а мы читаем его с учетом «Мишени для киллеров» Камова и «адмаргинемовских» изданий.

Т. е. без фанатизма и предубеждений. Как написал о Гайдаре во вступительном эссе к сборнику «Обрез» (Ад Маргинем, 2012) молодой и неортодоксальный писатель, побывавший уже лауреатом Букера-2008, **Михаил Елизаров**. При всем словесном бурлении своего задорного стиля, писатель явно идет вслед за Камовым и его «Мишенью...». Повторяя аргументы и факты его книги, особенно касающиеся Хакасии (там «каждый чих Гайдара зафиксирован» органами, значит, почвы для обвинений нет). И соглашаясь с тем, что Гайдар нужен нынешнему читателю как личность и писатель.

Ибо автор «Школы» исповедовал героичество («буквенно-генетический код всех гайдаровских текстов: “Не бойся!”»), патриотизм («был дидактическим “суперфосфатом”... советского Храма») и ненавистную естественность стиля («я восторгался бесконечным диапазоном гайдаровского слога»). С другой стороны, Камов и камовство явно сковывают автора этой нестройной «вступительной статьи». Неслучайно поэтому обильное цитирование строк «ернического псевдо-структуралистского обзора творчества Гайдара» «альманаха» «Треугольный х...», т. е. из повести В. Пелевина «Жизнь насекомых» (1993). Есть полемика («никогда писатель Гайдар не воспевал ребенка-убийцу»). Но есть и симпатия к этой небрежной лихости в суждениях «насекомых» гайдароведов.

Ибо закваска творчества Елизарова совсем не гайдаровская, а вполне постмодернистская — без комплексов. Чреватая самооблачениями: «Я, боготворивший обэриутов», восторгался и Гайдаром, не уступавшим «перу поэта-чинаря Даниила Хармса». Правда, лишь в «эпистолярном мастерстве». Тем характернее другая особенность этого почти художественного текста Елизарова: играющий роль предисловия к современному сборнику Гайдара, этот текст, однако, упоминает входящие в книгу произведения лишь мельком. Причем повесть «Всадники неприступных гор» (1927) вообще «неудачный текст», по отзыву самого Гайдара, с которым Елизаров и не думает спорить. А из лучших текстов включена только «Голубая чашка» (1934).

Остается сделать вывод: текст самого Елизарова — вполне самостоятельная художественная единица с ярко выраженным присутствием «Я» автора, прежде всего самовыражающегося. Почти по-детски, по-подростковому. Как гайдаровский «Мальчиш», который жил «так, чтобы не бояться смерти». Да и вообще ничего, в том числе гайдаровского творчества, столь трудного для его идентификации окольно ли, напрямую ли.

Из таких бесстрашных «Я» состоит неореализм, справивший недавно свой десятилетний — «мальчишеский!» — юбилей. По содержанию и духу Гайдар вполне неореалистический писатель. И в статье одного из представителей поколения 00-ых просто обязаны были прозвучать соответствующие имена. Хотя бы З. Прилепина как автора «Патологий» и «Саньки».

В другой адмаргинемовской книге А. Гайдара «Жизнь ни во что (Лбовщина)» (ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012) Прилепин упоминается. На этот раз в послесловии авторства А. Родионова и Е. Троепольской — тексте не столь высокохудожественном и большом (5 страниц против 32-х Елизарова). И совсем не апологетическом. Просто потому, что Александр Лбов — реальное историческое лицо, глава боевиков-рабочих Первой русской революции в пригороде Перми Мотовилихе. А может, и потому, что своим напором, волей и нравом близок «нацболу» Саньке из романа Прилепина.

Но если у Гайдара есть нотки сочувствия Лбову, который не был «бандитом» и всячески пресекал уголовные наклонности своих подчиненных, то Родионов и Троепольская Лбова не жалуют и как героя произведения не воспринимают. Только в сравнении: с прототипом (им «двигала ненависть мелкого собственника, зажиточного обывателя к власти имущим»), с «харизматичными лидерами» нынешних протестных движений, а главное, с самим Гайдаром.

И тут авторы послесловия, видимо, не читавшие книги Камова, далеко не снисходительны к автору «Голубой чашки». Почти по Солоухину, они считают, что Гайдара из Хакасии «убрали за неправомерные расстрелы». И при описании деяний Лбова и лбовщины в целом начинающий писатель якобы использовал собственный опыт кровавого усмирителя бандитизма («буквально знает, как это делается»). О стиле Гайдара соавторы также пишут без особого восторга: характеры главных героев «схематизированы», их «прорисовка» хоть и не лишена «романтического драйва», но происходит от

«склонного к алкоголизму автора». И это еще одна ересь, которую Камов явно бы не одобрил.

Зачем тогда было вообще возвращать к жизни это полузабытое произведение Гайдара? Только ли из краеведческих амбиций — потому, что он написал его в Перми и опубликовал в местной газете «Звезда», «существующей до сих пор как памятник погибшим от пули, петли, болезни»? Не зря в выходных данных значится также (через косякую скобку) «Пермь» и издательство «Пионерский».

Нам же кажется, что дело не только в краеведении и что «Лбовщина» явилась в пику «Обрезу» и Елизарову. Чтобы явить другого Гайдара, «второго». Описанного Елизаровым вслед за «первым»: «Теперь у России два Аркадия Гайдара. Один — подзабытый гениальный писатель, фронтовик и герой. Другой — подзабытый мифологический вурдалак...» Корректнее же говорить об одном Гайдаре, но с двумя ликами: бойца и борца за советскую идею, во имя которой допустимо уничтожение ее врагов; человека, сомневающегося в этой «убийственной», убивающей идее и обратившегося

(чтобы уйти от сомнений и терзаний) к детской литературе, детям как незапятнанной братоубийственной кровью надежде нового строя.

Болезнь — то ли контузия, то ли маниакально-депрессивный синдром, то ли шизофрения, то ли алкоголизм — симптом такого раздвоения. Как у Срубова из «Щепки» или самого В. Зазубрина, автора романа «Два мира». Расстрелянного в 1937-м из-за невозможности обретения «одномирия».

Современной литературе, переживающей ныне двоение между постмодернизмом и неореализмом, может быть, необходим свой Гайдар. Свой новый герой, не запятанный как старым и непотребным, так и оздоравливающийся новым, но, порой, слишком явно насаждающимся. Нужен свой «ребенок», свой Антон, так ярко и свежо описанный Чудаковым в романе «Ложится мгла...». В нем будут и Гайдар, и Трифонов, и Чудакова со своим оребяченным «Егором».

Пусть будут перехлест, перебор, перевосторг. Но в доказательство того, что тенденция созрела. Даст ли она новый литературный побег, еще предстоит увидеть.



ПОЭТИЧЕСКАЯ «ПРЕЛЕСТЬ СМЫСЛА»

Более тридцати лет тому назад Сергей Донбай писал:

**И когда у врагов не останется злости,
И когда свою нежность друзья
истребят,
Я пойму, что во мне отражаются
звезды
И что птицы на мне, не пугаясь,
сидят...**

Сегодня я воспринимаю это коротенькое стихотворение своего рода эпиграфом к творческой судьбе самого Донбая. И, наверное, не случайно, написано оно было в конце семидесятых, поскольку тогда, полагаю, и пришло к Сергею Лаврентьевичу окончательное осознание собственной поэтической сущности, коему к тому времени уже предшествовал весьма нелегкий жизненный путь длиной в четверть века.

Родился Сергей Донбай 22 сентября 1942 года в Кемерово. А военно-послевоенное детство его прошло в Соцгороде (детище первых советских пятилеток), в окрестностях ныне уже легендарного Конного базара. Оба эти уголка кузбасской столицы, как и само Кемерово, в одноименных стихах Донбая найдут в будущем свое поэтическое отражение.

Стихотворение «Конный базар» являет собой колоритный этюд на тему военного детства с его точными, узнаваемыми деталями вроде «ореха, каленого из мешка» или «замороженных дисков, как будто луны, молока». Конный стал для поэта своего рода «иконой» той трудной, но счастливой поры, которую он всю жизнь нес в сердце своем и чудотворным теплом которой спасался в самые тяжелые моменты жизни.

Как, впрочем, и Соцгород, центром которого был когда-то Конный базар. В его изоб-

ражении также зримо и осязаемо передана атмосфера послевоенной поры с ее «особыми», но и типичными приметам. В их числе и «двухэтажные бараки / Кишат, как джунгли, ребятней», и «голодуха пальцем тычет, / А то и финкою пырнет». Но в стихотворении «Соцгород» картина выходит за пределы местечковой локальности и расширяется до горизонтов великой страны и естественным образом обобщается, ибо все это гигантское географическое пространство жило тогда едиными помыслами и заботами, продиктованными общей бедой.

Вместе с тем поэтические воспоминания Донбая о временах своего послевоенного детства окрашены не только сердечной болью, но и светлой ностальгической грустью. В первую очередь потому, что «кончилась война, / Но молоды еще сполна / Отец, и мама, и страна, / И сладки детства времена».

К детству Сергей Донбай в творчестве своем обратится еще не раз. Эпизоды из той «поры первоначальной», правда, кому-то могут показаться подчас слишком незначительными для опозитивирования, но сам поэт уверен в обратном: «С разбитыми локтями и коленками / Неповторимо детство никогда...» А уж тем более то, что выпало на долю поколения самого Донбая. Да и значимость любого штриха человеческого бытия нередко зависит от того, как, под каким углом на него взглянуть.

Вот, например, стихотворение «Воспоминание о кинотеатре “Москва”». Вроде бы заурядное провинциальное заведение кинопроката советской эпохи. Но для Донбая оно примечательно, с одной стороны, тем, что, как и для большинства мальчишек и девочек его поколения, стало таким окном в большой мир, который и постигался-то во

многим именно благодаря экрану, а с другой — с него, с кинотеатра этого, по сути, начиналась жизнь и судьба самого поэта:

**Здесь юные мать и отец,
Придя на вечерний сеанс,
Случайно, когда-то, давно, наконец,
Увиделись... к счастью для нас!**

Тема военного детства органично сочетается у Донбая с темой Великой Отечественной войны, образуя единое целое. Надо заметить, что за их освоение Донбай взялся уже в достаточно зрелом поэтическом возрасте: в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов. К этому времени оба тематических пласта были изрядно отработаны, и удачи не попытал здесь, наверное, только ленивый. Тем не менее Донбаю удалось и ракурс свой найти, и незамысленность взора обнаружить, и знаковые образы-символы обозначить. Что достаточно красноречиво подтверждают такие его стихотворения, как «Кадры хроники» или «Военное детство».

Пересматривая старую кинохронику, запечатлевшую встречу возвращающихся домой фронтовиков, поэт вдруг натывается взглядом на самый сокровенный, самый «говорящий» кадр:

**И на плече у родимой,
Старый — не по годам,
Плачет непобедимый
Мальчик во весь экран...**

И этот «непобедимый мальчик», преждевременно постаревший, говорит о великой войне куда больше многих красочных описаний.

Не менее символично поэтическое отображение великой трагедии народной в стихотворении «Военное детство». От детства более поздних поколений оно отличается тем, что в него когда-то вторглась, «вошла — до сих пор видна — как общее наше отечество Отечественная война». И много лет спустя «глядит сквозь военную прорезь — как целится — детство в нас». Под этим «прицелом» даже через многие мирные годы, признается поэт, «мы все еще эвакуированные / *Сиротственники войны*» (курсив мой. — А. Г.).

В этом стихотворении останавливает внимание метафорическое сравнение «как общее наше отечество Отечественная война». В неразделимости этих двух понятий, надо полагать, и следует искать истоки того мощного патриотизма, который помог одолеть лютого врага и который навсегда остался в душе прошедших горнило военных испытаний.

Еще одним трагическим символом «той войны, в которую зарыты / Дни и судьбы Родины моей», становятся у Сергея Донбая братские могилы. В одноименном стихотворении поэт подчеркивает поистине генетическую связь с теми, кто лежит под стелами и плитами этих захоронений: «Растворяюсь до последней капли, / И уже неразличим я как бы...» А финальные строки стихотворения («А война все дальше, / Все видней») помогают понять, почему о войне и военном детстве поэт Донбай взялся говорить, имея за плечами без малого четыре прожитых десятилетия. Как говорил другой русский стихотворец — «лицом к лицу лица не увидать».

Ну, а протаптывать свою тропу на Парнас Сергей Донбай начинал несколько в ином, но тоже вполне традиционном направлении — стремился поэтически пересоздать окружающий мир, пропуская его через собственное мироощущение неопита. Что, в общем-то, было совершенно естественно для молодого человека, еще не обремененного житейским опытом, с нерастраченным эмоциональным запасом (до осмысления военно-послевоенной поры, с которой совпало его детство, ему еще предстояло дорасти и созреть).

Первые пробы пера Донбая относятся к школьным годам, но заниматься стихотворчеством всерьез он стал уже в вузовских стенах.

После школы Сергей Донбай поступил на архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева. Прослеживалась в том некая наследственность, поскольку родился Сергей в семье известных кемеровских архитекторов, а значит, и яблоко от яблони упасть должно было недалеко.

Новосибирск с его насыщенной культурной и литературной атмосферой оказал на творческое развитие Сергея Донбая благоприятное влияние. Здесь в шестидесятые годы проводились многочисленные поэтические встречи, праздники и турниры, работали различные секции и кружки любителей словесности. Рядом с известными мастерами слова уверенно поднималась талантливая молодежь. Особую популярность обрело в ту пору городское литобъединение, созданное при газете «Молодость Сибири», которым руководил выпускник ленинградского университета поэт и журналист Илья Фояков. Его «лито» стало взлетной полосой для многих впоследствии широко известных в Сибири и за ее пределами стихотвор-

цев — А. Плитченко, Г. Карпунина, В. Крещика, Н. Греховой, Н. Закусиной и др. Ходил туда получать первые поэтические уроки и Сергей Донбай. Благо поучиться у наставника, отличавшегося огромной эрудицией, эстетическим вкусом и глубокими филологическими знаниями, было чему...

Здесь же, в Новосибирске, в областной газете «Советская Сибирь» 12 апреля 1961 года были напечатаны и первые стихи Сергея Донбая. В дальнейшем его поэтические работы появились в других периодических изданиях Сибири. В том числе в альманахе «Огни Кузбасса» и журнале «Сибирские огни». А в 1970 году выйдет в Кемерово первый поэтический сборник Сергея Донбая «Утренняя дорога».

Его основой, как, впрочем, и следующей книги Донбая «Прелесть смысла» (1977), стали поэтические зарисовки, передающие душевное состояние человека в тот или иной конкретный момент бытия — этакая «лирика настроения», сотканная из тончайших чувственных оттенков.

Вот стихотворение «Утренняя дорога». В нем — предощущение утра, когда досыпаются последние минуты и «отлетают сны, как журавли, / Шеями покачивая медленно». И образ утра в разных его вариациях у Донбая возникает не однажды. Так, по-своему красочен и оригинален он в «Утренних стихах». А в «Утреннем снегопаде» проступает через зимний городской пейзаж, запечатленный кистью живописца. Особое видение живописца подчеркивается в этом стихотворении и некоторыми деталями («Тишина лежит сугробами, / Как верблюды возле стен»). Сам же лирический герой ощущает себя как бы внутри им же созданной картины: «Все как будто нарисовано. / Ты и сам шагнул в эту». А в стихотворении «И качает звезду...» он, напротив, воспаряет в космические выси, ощущая за своей спиной изгиб земного шара, который поднимает его «к полосе заревой».

Свою первую книгу Сергей Донбай назвал «Утренняя дорога» (по одноименному стихотворению) не случайно. Поэт замечает («Доброе утро»), что «утренние пешеходы», которых на земле несть числа, «с утра значительнее и добрее» и без кофты дневных проблем и забот чище, как бы первозданной.

Одним из любимейших предметов поэзии раннего Донбая становится природа с ее меняющимися состояниями и пейзажами. И представить невозможно, скольких стихотворцев в разные века она вдохновила! А потому невероятно велика здесь всегда ве-

роятность эпигонства, повторения, банальности. Тем не менее, Сергею Донбаю, снова и снова обращаясь к миру природы, удается избежать этого. Ибо каждый раз найдется у него и свежие краски, и неожиданные ракурсы, и оригинальные образы...

Вот осень. Она у Сергея Донбая разная. В стихотворении «Посидим! Вот звезда упадет...» пока лишь ее предчувствие, но сама она еще впереди, хотя кое-что и намекает на скорый ее приход («в первый обморок падает лист»). А в стихотворении «Поэт» нежаркий осенний костер живой природы уже входит в душу печальным сонетом.

Впрочем, отнюдь не всегда Донбай запечатлевает осень тонкой акварелью в нежных лирических тонах. В одноименном стихотворении она достаточно грубо и зримо обретает личину алчно-азартных горожан, совершающих жестокой «скифский» набег за дарами природы. От созерцательного авторского благодушия здесь не остается и следа. Вместо него — тревога, боль, возмущение человеческим варварством, столь присущие произведениям экологического толка, направленным на защиту природы.

Но и вне экологических мотивов, в золотой синеве осени Сергей Донбай видит нечто куда более значительное, чем просто время года, о чем и заявляет в стихотворении «Ветка осени — простыла...»:

**И над промыслом живого
Высь безмолвно глубока,
Будто ищущая слово —
Дума, музыка, строка.**

Даже слякотный предзимний городской пейзаж («Я дождик и снег в две горсти...») становится у Донбая своеобразным отражением круговорота человеческой жизни в интерьере природного бытия.

Свою изюминку, точную емкую деталь-контрапункт Сергей Донбай умеет найти в буднях любого времени года.

Лето, например, в одноименном стихотворении у него предстает в облике юного очкастого водителя мотороллера, за спиной которого «пылала амазонка, / Колени подставляя быстроте». В стихотворении «Лето учит издалёка...» читательское внимание останавливает лесная «кровохлебка», что «жесткой каплей над травой запеклась», или «слеза древесной чаги». И невольно возникает ассоциация с художником-умельцем, превращающим подобранные им корневища в шедевры деревянной скульптуры. А предвечернее затишье на исходе сенокосного дня («Упали травы. Косари ушли...») наталкивает поэтическое воображение Донбая

на поистине вселенский образ: «На веточке у космоса во мгле, / Как яблоко, / Чуть держится земля».

Признаком наступающей весны может стать у Донбая рожденная мартовской оттепелью «сосулька на ладони», которая воспринимается поэтом как «первая улыбка о весне». В другом весеннем пейзаже («Небосвод облаками намок...») хрупкая сосулька из предвестника весны трансформируется в монументальную метафору вступившей в свои права полнокровной весны: «Весь в хрустальных сосульках балкон, / Как небесный орган нависал...» Поэт приветствует заполняющее пространство «вещество весны», но оно в его сознании неотлично «от любви».

Уже в начале творческого пути стала обозначаться одна из характерных черт поэзии Сергея Донбая — цикличность, возвращение к одним и тем же темам, предметам. В том не было какой-то логической заданности. Скорее, двигала поэтом некая внутренняя художественная потребность увидеть и ощутить в уже знакомом нечто новое, ранее неопознанное. А вот читая стихотворение «Зимой варит голова...», приходишь к выводу, что вновь и вновь возвращается Донбай к природе в разные времена года еще и потому, что обнаруживает прямое или косвенное влияние ее состояний на колебания человеческой души:

**Зимой варит голова
Неторопливо, с чувством, с толком.
Но под сугробами трава
Зашевелилась только-только —
Как будто бес в нас оживет!
Уже не молоды мы вроде...
Когда на реках сходит лед,
Зачем с ума мы сходим?..**

В стихотворении «Крикну!..» Донбай идет дальше, делая предположение, что «может быть, мы-то и есть / Слабое эхо природы / С опереженьем на миг...»

С другой стороны, «увидеть землю» со всеми ее обыденными приметам, красками, звуками, запахами, во всех ее пространственных и временных проекциях — не это ли для Донбая одна из важнейших поэтических задач? Потому, наверное, и волнуют его так «и рек весенняя надтреснутость», и «жуть осенней тишины». Оттого, видимо, столь важно поэту «и пульс у веточки потрогать», «и, повстречавшись, словно с другом, / Поцеловаться с родником!» И необходимо — чтобы потом, увидев землю из иллюминатора самолета, «полюбить наш шар земной / Безумной первую любовью».

Впрочем, сама эта любовь зарождается отнюдь не в заоблачных высотах. Ее истоки, опять же, в «поре первоначальной». И в стихотворении «Я не о легком выдохе, что зимний...» Сергей Донбай, переиначив известное «все мы родом из детства», скажет: «Мы путники из детства, из природы», подчеркнув тем самым важность как багажа детских ощущений, так и близости к природе. Обычная же тропка в лесу («Моление о лесной тропинке») становится у Донбая связующей нитью с миром природы, волшебным клубочком, ведущим в ее чертоги.

В большинстве стихов (далеко не только касающихся природы) Сергей Донбай успешно демонстрирует, что предметом его поэзии могут быть любые самые обычные и обыденные вещи и явления. Не погрешив против истины, его и самого окрестить можно «поэтом обыденности». И не случайно Ст. Куняев в предисловии к сборнику «Посреди России» сказал: «Поистине, Сергей Донбай поэт “от мира сего”». То есть от мира обыденной человеческой жизни.

Только не стоит думать, что жизнь эту можно передать, отобразить легко и просто. Подобно птичке божьей, которая что зрит, то и поет, не задумываясь об увиденном. Как раз нет. Обращать обыденность в поэзию — занятие на самом деле очень трудное, иной раз совершенно неблагодарное, и далеко не каждому оно дается. Сергею Донбаю это по силам. Не в последнюю очередь, наверное, и по причине, о которой говорит он в стихотворении «Поэт думает и чувствует». Каждый человек живет в своем, ему присущем ритме. А вот поэт, по мысли Донбая, способен объединять в себе разные ритмы — «поэт / Может быть сразу / И матерью, и ребенком, / И влюбленным дворником». И в каждой запечатленной им капле нашей обыденной жизни тем или иным образом преломляется бесконечный океан бытия.

Так, скажем, стихотворение «Городской двор» на первый взгляд не более чем колоритная урбанистическая зарисовка, хотя по сути — это срез большого социального пласта. И вокзал в стихотворении «Понять вокзал труднее, чем себя...» — не просто место для ожидания поездов. Донбай воспринимает его как ворота судьбы, через которые уходят люди со своими жизненными тайнами.

Надо сказать, что городские пейзажи и зарисовки стали важной приметой поэтического творчества Сергея Донбая в 70-х — 80-х годах. Некоторые из них, может быть, слишком уж «с природы», почти документальны. Как, например, «Стихи о новом жилом районе в городе Кемерово», «Притомская на-

Образ Сибири появляется в творчестве Сергея Донбая не раз. Что также совершенно логично для поэта, родившегося и выросшего в самой ее сердцевине. Поэтическим же символом Сибири становится у Донбая «живой небоскреб» сибирского кедра «на обрыве крутом», который «все души лесные в объятия стреб». А в стихотворении «Воля» Донбай пишет:

**Я родился, вздохнул, задохнулся
и ожил:
Этот воздух, который впервые схватил,
Был густым от страданий и пыли
дорожной,
Смешан с пеплом и горем отчества
был.**

Вместе с начинающейся жизнью вливалась в него «молодая морозная сила Сибири — и снега, и таежные жабры ее», входила неизбывная любовь к своему краю и вера «в землю родную, как в чистую силу». И не случайно в «Балладе об уходящем», размышляя о том, что взял бы он с собой в будущее, поэт в числе самого важного называет «детства ключик в чаще леса» и «отчее плечо Сибири».

Вместе с тем любовь к малой родине неотделима у Донбая от любви к великой России. Прямые или косвенные подтверждения тому найдем мы во многих его стихах. И тут надо сказать вот о чем. Патриотическая тема в русской советской поэзии одна из самых накатанных. Поэтому, обращаясь к ней, все труднее находить ее оригинальное художественное выражение. Тем не менее Сергею Донбаю свой незаёмный поэтический образ России найти удалось:

**Дверь открой посредине России
И лицом к быстрине прикоснись;
Сколько там мужики искурили —
В тамбурах, размышляя про жизнь.**

.....
**Свежий ветер, простор неоглядный...
Через слезы предстанет страна —
Наши волосы треплет и гладит
На восток и на запад она.**

Как всякий лирический поэт, Сергей Донбай не мог обойти стороной вечную тему отношений мужчины и женщины. Но вот что интересно. В стихотворении «Есть на земле такие женщины» поэт без обиняков заявляет, что ему ближе и милей не те яркие, броские, притягивающие к себе взоры особы, а «женщины, которых при свете дня не видим мы», зато «с наступлением первой тьмы» и до утра «они так явственно

подсвечены, как бы лампадой изнутри». И при взгляде на них к нему приходит понимание, что ничего нет «священной, непостижимей до конца, чем тайна милого лица», осиянного «робким свечением, так согревающим нас».

Внутренним духовным светом пронизана и вся интимная лирика Донбая. Любовное чувство в ней живет обычно не на каких-то внешних проявлениях или признавательных декларациях, а на вещах интуитивных, подсознательных, позволяющих людям любящим понимать друг друга без лишних слов и признаний, с полувзгляда и полувздоха. О чем свидетельствует, в частности, стихотворение «Я еще не сказал — обернулась ты сразу!..»

Любовь в понимании Донбая — чувство живое, подвижное. Она может накатить, накрыть с головой, но может и схлынуть, с трудом задерживаясь даже в памяти. О том и стихотворение «Мои беды все больше левеют...» Но интересна в нем не сама по себе тема непостоянства и переменчивости — она как раз достаточно банальна, а то, как выражает ее поэт, в каких образах и красках передает истаивающее со временем чувство. А они у Донбая находятся в гармоническом соответствии с предметом разговора. С одной стороны, «вот и письма твои темнеют, / Словно старое серебро», а с другой — память продолжает хранить аромат того давнего неповторимого чувства («так хранит прошлогоднее сено / Запах высохшего дождя»). Мы же, в свою очередь, видим в авторе не только проникновенного тонкого лирика, но и художника-живописца. И не только в данном случае. В стихотворении «Солнце сквозь шторы косится...», к примеру, любимая женщина на закате дня «медленным, медным последним золотом... залита». И таких красочных штрихов и мазков в интимной лирике Донбая можно обнаружить немало.

Говоря о любви, Сергей Донбай достаточно четко разграничивает настоящую любовь и влюбленность. В одноименном стихотворении отличительным свойством влюбленности поэт видит то, что «она похожа на бездомность, / Когда у чувства нету слов», и «нету жеста». А в результате нет соединения двух половин в единый организм. Как не произошло его у героев стихотворения, не сумевших преодолеть «бездомность влюбленности». Отсюда и горькое, но справедливое признание: «И я пожизненно жених, / И Вы бессрочная невеста».

Впрочем, куда чаще случается по-иному — и в стихотворении «Другие» Сергей

Донбай об этом напоминает — вроде бы налицо по всем статьям «идеальная пара», тем не менее жизнь уводит его или ее к другим, «чтобы легко в других потом / Всю жизнь друг другу узнаваться, / Страдая этим волшебством».

Но и влюбленность не проходит совсем уж бесследно. Расставаясь с нею, «стонет душа», «сердце болит» и «противится память живая» («Былая влюбленность прошла...»). Противится и вызывает в лирическом герое «возвращающее в юность» ностальгическое воспоминание о девушке, когда-то уснувшей на его плече в автобусе по дороге в романтическую Сигулду («Проснись у меня на плече...»). Воспоминание о светлом первозданном чувстве, которое, возникнув однажды, остается с человеком навсегда:

**И даже за нашим пределом,
Где только осенняя высь,
На склоне моем опустелом
Кукушкиной слезкой проснись.**

Уходящий XX век Сергей Донбай встречал на полувековом переломе своей жизни. К этому времени он уже прочно состоявшийся стихотворец с собственным поэтическим обликом, голосом, интонацией, признанием как в профессиональной, так и читательской среде. Его стихи печатают провинциальные и столичные литературные издания, они переводятся на иностранные языки. Одна за другой выходят поэтические книги «День» (1986), «Смута» (1991), «Проснись у меня на плече» (1992), «Стихотворения» (1996). Все большую известность обретает Донбай не только как поэт, но и литературный деятель. Оставив в 1976 году институт «Кемеровгражданпроект», где проработал более десятка лет, он всю дальнейшую свою судьбу связывает с журналом «Огни Кузбасса», в котором занимает сначала должность ответственного секретаря, а затем и главного редактора. А параллельно много лет руководит областным литературным объединением «Притомье».

Так что вместе с лирическим героем стихотворения «Мне весело живется...» у Донбая еще были основания чувствовать себя счастливым человеком и заявлять, «что в жизни мне везло». Однако прежняя жизнь уже начинает трещать по швам и, как признается поэт в стихотворении «Продолжает светиться», написанном уже за порогом девяностых, «чего-то уже не хватает», и «время другое тебя достает, достает».

А то, что время, начиная с момента так называемой «перестройки» смещалось явно не в лучшую сторону, можно судить по меняющейся тональности поэзии Донбая. Если в стихах советского Донбая много света, вольного воздуха, мажорного ощущения жизни, оптимизма, то за «сменой вех» его поэзия мрачнеет, делается жестче. Стихотворца-лирика все упорней теснит поэт гражданского, социального звучания, пытающийся найти ответ на очень непростой вопрос, что же с нами происходит, и «куда нас движет рок событий».

Любопытно, что еще в середине семидесятых годов в стихотворении «Спокон веку...» Сергей Донбай писал, видя в том одну из целей своей поэтической работы:

**И должно случиться это с нами:
Наболит, накопится в груди,
Чтобы нам предсказывать стихами,
Что же там таится впереди.**

Поэтическим Нострадамусом Сергей Донбай, увы, не стал, и что там впереди — не угадал. Да и очень уж трудно было в самый расцвет социализма прозреть его закат.

Крушение великой страны Советов, взрастившей его, поэт Донбай встретил болезненно. И сердцем, и душою, и всеми узами он оставался в уходящей эпохе, которая была, при всех ее издержках и суровости, как эпохой родительского, так и его собственного поколения. И, расставаясь с нею, поэт в стихотворении «Прощаясь с друзьями отца» признавался: «В советское время одною ногою живу». И не отрекался, оставаясь верным и времени этому, и его людям:

**Они со мной, живые и ушедшие.
Друзей не очищаю от пороков.
В своем отечестве, в моем отечестве —
Друзей не отличаю от пророков.**

Постперестроечные события нашли в поэзии Сергея Донбая значительный отклик. Жестко, но справедливо он пишет о таком вполне типичном явлении конца двадцатого столетия, как политические перевертыши, которые «уходят в депутаты, как в партию когда-то раньше», а «в партию вступали, как полицаи шли в войну» («Они»). Как же случилось, задается горьким вопросом поэт, что первородные ценности бытия с легкостью размениваются теперь на бытовые материальные блага, превращая человека в потребителя («Кто же нам разменял незаметно»)? Состояние же нынешнего общества, непомерно зараженного враждой, ненавистью,

яростью, Донбай сравнивает с палящей атмосферой жестокой летней засухи с ее «сухими грозами, мнимыми дождями» якобы протестных, но по существу обманно-пустых «оппозиционных» движений, в которой целое «поколение затерялось». Не в последнюю очередь, наверное, и по причине искаженно воспринятой свободы слова, которая по большому счету требует большого мужества и ответственности, о чем и напоминает поэт в стихотворении «Ропот». После долгого вынужденного молчания «вместе и врозь» наконец разрешили говорить, но вместо настоящего разговора слышен только легковесный крик, который «стал похож на молчанье», да ропот, суть которого «за прошлым стоит косогором». С другой стороны, и настоящее, «где столько страдания вокруг собралось», требует серьезного разговора. Только вот «откуда и как нам теперь почерпнуть, чтоб ропоту стать разговором?»

Не всегда, однако, в своих поэтических откликах на происходящие в стране в конце века перемены Сергею Донбаю удается уходить от политической риторики и рифмованной политизированной публицистики. Видимо, потому при чтении таких, например, его стихов, как «Опять в революцию нас засосало», «Дамоклов меч», «Россия — не жена, не мать!..» или «Ангел-хоронитель», не покидает стойкое ощущение их диссонанса с поэзией вообще и главной поэтической сутью самого Донбая, в частности. Да он, похоже, если судить по стихотворению «Пиши, “ни дня без строчки”...», опасность стать автором «очерков, написанных в рифму», тоже ощущал.

Во многом спасало Сергея Донбая чувство юмора, ирония, доходившая иной раз до сатиры и сарказма. Стихотворения на политическую злобу дня, написанные в таком ключе, выгодно отличаются у него от других стихов той же тематики. Вот как, например, увидел Донбай в своеобразном поэтическом шарже рядового и заурядного «врага народа», «щепку» и «винтик» социализма, пущенного на репрессивную переделку:

**И Ленина — не читал,
И Сталина — не читал,
И не страдал от угрызений.
Он в лагерях осуществлял
Немыслимый лесоповал —
Для их собраний сочинений.**

А вот обобщенно-саркастический обзор тоталитаризма поэтической кисти Донбая:

**Построение счастья
Строгого режима
В отдельно взятой стране.
Коллективная улыбка на лице.**

С улыбкой размышляя в стихотворении «Тот, кто был непогрешим» о кумирах и толпе, Донбай задается неожиданным, ломающим известный стереотип, вопросом: «Затоптать в себе раба — / Это только половина. / Ну, а если господина / Затоптать в себе судьба?» И делает ироничный вывод: потому, наверное, и «затоптать в себе раба / Не торопится толпа».

Любопытно и написанное в самом конце горбачевской «перестройки» стихотворение «История», где Донбай пытается взглянуть на нашу политическую историю через призму любовных отношений в ореоле кровавой революционной романтики. Оно тоже окрашено иронией, но ирония здесь отдает саднящей горечью и вместе с тем делает более контрастной мысль о том, что история общественных отношений нередко суть продолжение истории личных.

Ирония присутствует далеко не только в стихах политической, социальной направленности. Ей отмечены и многие другие поэтические произведения Сергея Донбая, написанные в разные годы. Можно даже сказать, что ирония — одна из приметных черт его творчества и достаточно сильное художественное средство, которым Донбай, как правило, успешно пользуется. В чем нетрудно убедиться на некоторых конкретных примерах.

Поистине классикой кузбасской поэзии стала возникшая более четверти века назад юмористическая зарисовка «Ждал автобуса народ» из обыденной жизни провинциальной глубинки: настолько в ней все зримо, узнаваемо, насколько и типично. Как и в «Воспоминании о Красном уголке», где поэт с улыбкой рассказывает, как в советское время выступал однажды перед работниками животноводческой фермы в Красном уголке, расположенном прямо в коровнике, в соответствующей помешению атмосфере («и воздух представлял собой настой / Мочи со стихотворною строкой...»), уже самим фактом существования этого стиха доказывая, что под пером талантливого человека поэзия не то что из любого сора, а даже из отходов коровьей жизнедеятельности может возникать. Не чуждо доброму юмору стихотворение «Эмансипация», в котором поэт подшучивает над феминистками, забывшими свое природное предназначение. Ироничен, но уже не столь добродушен во взгляде

на столичную суету Донбай в стихотворении «Провинциал, езжай в Москву»! А в «Наивной экологии», напоминающей читателю о дисгармонии отношений человека и природы, усмешка автора и вовсе печальная. С грустной иронией смотрит Сергей Донбай и на слепую погоню людей разных возрастов за дурной модой. Поэта страшит утеря человеком души в угоду телу, и всего подлинного, вытесняемого различными заменителями. В стихотворении «Эстрадное» он пишет:

**Мы — сверхсовременные
Роботы аэробики!
Душа устарела,
Как бабушкин с дедушкой домик...
Возделаем тело
По голым законам логики...**

Сказано более двух десятилетий назад — а как современно звучит и сегодня!

Ирония у Донбая может принимать разные оттенки, доходить до сатиры и сарказма, но пустым зубоскальством не бывает никогда. Кто-то, скажем, просто посмеется над пустопорожней обидчивостью, а вот Сергей Донбай, верный своей привычке вглядываться в глубину любого проявления человеческой жизни, создает ироническую притчу о затаенной обиде, которую сам человек подчас и выращивает, и холит, словно розу, хотя на поверку она оказывается обыкновенной лозой («Выращивая обиду, словно розу»). В духе той же иронической притчевости написаны «Если увеличить дерево...», «Квадратные шары», «Новая русская сказка», «Из варяг в греки»... И в каждом своя лукавая, а то и парадоксальная мудрость. Как, скажем, в стихотворении «Русская дорога», являющем собой этакую пародию на русскую народную песню «Степь да степь кругом...»:

**Дело было в бурю,
И мужик с лошадкой
Потеряли сбрую,
Ум, телегу с шапкой.**

**А потом, а после
В лавке притрактной
Он коньки отбросил,
А она — подковы.**

.....

**Русская дорога,
То мороз, то жарко.
Мужиков-то много...
А лошадку жалко.**

Драматические коллизии девяностых годов не заслоняли Донбаю «дела давно ми-

нувших дней». Наоборот, они активизировали его интерес к отечественной истории, навели на серьезные размышления и сопоставления «века нынешнего и века минувшего». Так, в стихотворении «Любимчики первых ролей...» Сергей Донбай задумывается о том, что главное связывает людей разных времен и что передается по наследству от людей прошлого. Что, в частности, досталось нам от тех, кто составлял «массу». Ведь она, если присмотреться, вовсе «не в едином порыве». А учила та «масса», приходит к выводу поэт, прежде всего тому, чтобы, в отличие от большинства разных наших вождей, не занимались мы шапкозакидательством...

Особая страница творчества Сергея Донбая — духовная поэзия. Но для него она, безусловно, гораздо шире одной только религиозной темы. Это скорей поэтическое ощущение и восприятие некоего светлого животворного храма в душе, укрепляющего и нравственно ориентирующего человека в его существовании.

В 2003 году в Кемерово вышла уникальная книга под названием «Собор стихов», вобравшая в себя «стихи-свидетельства о пути к Христу, написанные поэтами Кузнецкого края». В числе авторов и составителей этой книги был и Сергей Донбай. Как признается он в предисловии к сборнику, стихи «для этой книги не писались специально», а возникали в разное время как своего рода сердечный позыв православного христианина. Когда же возникла необходимость явить их на свет Божий, они нашлись у каждого. (Двумя десятками стихов духовного содержания, обращенных к Богу, представлен в этой книге и Донбай.) И это закономерно, считает он, ибо «при любой политической погоде поэт не может не думать о Боге, о душе, о любви, о природе». И замечает: «Может быть, это и есть наш путь, не дорога торная и известная, а путь к Храму. За нашими великими стройками, городской теснотой, свалками технического прогресса видны только купола Храма. И мы идем к ним, видя этот воздушный путь, спотыкаясь, потому что нельзя смотреть под ноги — потеряешь ориентир»:

**Там, где ангелом воздух уже
поцелованный,
Озаренный весной, пречистый
притих,
За прозрачной железной оградой
церковной
Люди строят пять солнц куполов
золотых!**

Но не забывает предупредить поэт в стихотворении «Что же осталось от прежних дней...», что просто построить храм — мало, надо еще и беречь его, не давая ему превращаться «в холм». И помогает в этом человеку таинственная «сила земного притяжения души», благодаря которой душа остается с человеком до конца.

Ну а видимым образом души, материализованным ее воплощением предстает у Донбая в стихотворении «На воле небесной опушки...» «лучина церквушки», свет которой способен преодолеть толщу времен, и взирая на которую, православному христианину «дышится легче». И «вечные свечи» русских церквей неугасимо пламенеют по всей огромной России, согревая своим духовным светом.

Но все труднее становится разглядеть его. «Застилает взор огонь и дым» «новой колокольни» бездушного техницизма и прогресса. «И покуда / Что-то не проглянет — / На слезе, на сердце, на золе! — / Будем мы, как инопланетяне, / Проходить по собственной земле», — заявляет поэт в финале стихотворения «Космодрома каменный погост», подразумевая под этим «что-то» придавленную спудом темных бесовских сил нашу духовность. Для ее освобождения и становится столь важным возведение храма в собственной душе, благодаря чему она устремляется вверх, к высотам совершенства, хотя не прост и нелегко сей путь — путь к Богу. У каждого он свой, но есть и общая — божественная — закономерность этого движения, которую Донбай отмечает в стихотворении «Как в поэзии слог»:

**Как в поэзии слог
Отзывается слогу,
Так для каждого Бог
Выбирает дорогу.**

**Как по-своему слог
Прибавляется к слогу,
Так по жизни, как мог,
Каждый двигался к Богу...**

Сам же Донбай двигался к Всевышнему, опираясь на посох поэтического слова, которым в меру сил своих отображал Богом данную земную жизнь. Но и Господь, полагая, не оставался в долгу, помогая поэту не растерять себя в смутные времена, обрести духовную крепость. Потому, наверное, и многие стихи Сергея Донбая заряжены высоковольной духовной энергией. В сочетании с художественным мастерством они дают подчас удивительный эффект. Как, например, в этом замечательном пейзаже, где

слились в гармоническое единство и свет, и звук, и чеканный метафорический образ тоски-печали, и состояние душевного восторга перед открывшейся человеку неброской, но сердечно близкой красотой родной природы:

**Нищим светом облиты снега,
Заунывно дорога басит,
И тоски золотая серьга
Одиноко над полем висит.**

**И луна эта мне дорога!
И печаль эта мне хороша!
Раздевается свет донага.
Бедной пищей довольна душа.**

В поэтическом мире Сергея Донбая Бог и Родина — понятия соподчиненные и родственные («между нами родство от молитвы и до прекрасной Отчизны»). Но божественная эта связь отнюдь не абстрактна. Напротив, проходя через территорию души и обыденного существования человека, она очень конкретна и личностна:

**...Уж коль вам Родина — от бога,
то знайте вы: из года в год
ведет обычная дорога
на стройку, в поле, на завод.**

С другой же стороны, человек и становится венцом Божественного творения через неустанный созидательный труд, и в том высший смысл его предназначенья:

**Сквозь все невзгоды и ненастья,
как испокон заведено:
в работе ведать смысл и счастье —
такое избранным дано!**

Божественную природу имеет и такая важнейшая часть человеческого бытия, как язык. Для Сергея Донбая это совершенно очевидно. Хотя бы потому, что «вначале было Слово». Размышляя в стихотворении «Родной язык в нас снова растревожит...» о непреходящем значении родного языка, его связующей времена, эпохи и поколения роли, Сергей Донбай приходит к выводу, что «он был и есть, как Бог, без доказательств. / Родной язык — наш промысел живой».

Что касается слова Божьего, то в стихотворении «Строчка из Библии» Донбай обращает наше внимание на регулярно повторяющуюся в Библии строчку «И сказал Господь, говоря». В ней поэт увидел своего рода духовную константу, идущую из глубины тысячелетий и ориентирующую человека в пространстве Божьего бытия. В том числе, безусловно, и его, поэта Донбая, много сил

положившего на духовное и эстетическое воспитание своей поэтической «паствы». Что, кстати, не прошло мимо внимания РПЦ. Деятельность Сергея Донбая на духовно-поэтической ниве была отмечена архиерейской грамотой «В благословение за усердные труды во славу Святой Церкви».

К Слову у Сергея Донбая вообще почетное, трепетное и чрезвычайно ответственное отношение. Он и поэтом-то себя называть стесняется и в стихотворении «Непротивление» говорит: «Я был и остался рифмач — / Что взять-то — рифмач-рифмачом!» Справедливая самокритика? Нет, конечно же! Донбай, безусловно, настоящий поэт со своим голосом, почерком и лицом. И сам, полагаю, в том не сомневается и цену истинную себе знает. Только всуе не скажет, или спрячется за ироническое «рифмач-рифмачом». И продолжит истовое служение Слову, пока остаются «на русском престоле Князь-Книга / И книжка-Княжна».

В гуле социальных потрясений на переломе тысячелетий лирическая интонация в поэзии Сергея Донбая приглушилась, но не исчезла. Только стала, пожалуй, более глубокой, проникновенной и раздумчивой. И «все больше, больше по нутру» поэту не «слеза мгновения», а «продолжительная нежность», которая приходит с годами. В стихотворении «Всех мирит возраст мой нетрудно...» он пишет:

**Приходит возраст, как садовник,
И завязь розовых идей,
И мудрости сухой шиповник —
Ему одна другой милей.**

Сегодня Сергей Донбай и сам напоминает того мудрого садовника. Или же лирического персонажа более раннего стихотворения «Старик и мысль» (1978), где поэт восхищен тем, что «старик забирается мыслью так свободно и так высоко» и оттуда смотрит «зреньем созревшего поля». Таким «зреньем» отличается и поэзия нынешнего Донбая.

Он по-прежнему немало размышляет о жизненных ценностях. Но, перебирая в сти-

хотворении «Ничего надежней в жизни...» разные варианты, приходит к выводу, который может подсказать только опыт прожитых лет: «Ничего прекрасней жизни / В нашей жизни нет».

Не изменяет себе Донбай и как «поэт обыденности». Однако быт в его стихах все настойчивей прорастает в бытие, уходящее в высоты вечности, которая, в свою очередь, может обернуться к читателю хорошо узнаваемым земным образом — например, усталой женщины, спешащей в детсад за сыном («Закончен день. Его усталость...»), или броской емкой метафорой типа «а жизнь как электричка мчится... / По нежной жилке над ключицей, / На стыках сердца грохоча».

По-прежнему не откажешь Донбаю в космогонизме ощущений. Так, лирический герой стихотворения «В простейшей форме пирамид...», пронизанного мыслью о неразрывной связи «живого с вечным», чувствует себя так, словно он «включен в розетку Космоса большую». А в стихотворении «В солнечном океане...» планета наша представлена «икринкой, / разумной каплей, / соринкой живой души!»

По-прежнему Сергей Донбай остается одним из ведущих литературных и культурных деятелей Кузбасса. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Высшего творческого совета Союза писателей России, Сергей Лаврентьевич является лауреатом премий имени Александра Невского, имени Василия Федорова. И вот уже более трех десятилетий он у кормила журнала «Огни Кузбасса», давно ставшего средоточием лучших писательских сил земли Кузнецкой.

Но главное, что, несмотря на груз прожитых лет (а в сентябре минувшего года ему исполнилось семьдесят), Сергей Донбай остается в поэтическом строю. Печатаются в литературной периодике его новые стихи, выходят книги — «Слеза» (2001), «Силица» (2006), «Мы рисуем город словом» (2008), «Посредине России» (2011). В них поэт продолжает свои неустанные поиски «прекрасного образа человека». И Бог ему в помощь!

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Костин В. Колокол и болото. М., Беловодье, 2012.

Начало романа «Колокол и болото» — в идиллическом тоне, но поверивший в предание о славном городе Потомске оказывается на Болоте, хотя «пышный центр города на расстоянии одной выкуренной сигареты». Два лика у Болота: «Место сырое, комариное, речка нечиста и поддаёт миазмами» — «Но и сделался Потомск чист и по-своему меланхолично-зачарован... рядом с исконной стихией мата образовалась гармония отличной русской речи». И время здесь, оказывается, не линейное, как везде, а циклическое — поколения идут по кругу. Автору понадобилось историческое введение — четыре века сибирского города. Слой за слоем отслаиваются пласты обыденности, и за планктонной мутью «хулиганки» проступает легендарное, чудесное. Главное же — читателю надо вжиться в атмосферу парадоксов, увидеть рожи, лица и лики Сибири.

«Любите своё Болото! Грязное и пьяное, убогое и скучное. Неимущее и никому, кроме вас, не нужное», — вот какой завет оставил таинственный Старец, явившийся вдруг на Болоте. Явился он, как наваждение, как временное просветление забубенных «бакланов», оказалось — для подведения итогов. Город Потомск суетно вспенился по поводу круглой даты — 400-летия, — перед этим вернулся из небытия колокол Благовест, и одно за другим пошли чудеса, но в памяти их удержали всего одиннадцать «потомцев». Владыка Парфений, нарисованный нейтрально, резюмирует в финале: «И никому, и, может быть, никогда нельзя рассказать об этом». А почему нельзя? «Мы не готовы к чуду».

Тут узнаётся булгаковский мотив, но с обратным знаком — с положительным. Не дух тьмы явился, а светлый Старец. Собрал

на Болоте последних совестливых людей и вразумляет их: «Никогда такого не было, чтобы люди посягали на родовые свои свойства, отказываясь от души, от дома, от семьи». Один из парадоксов романа, может быть, лейтмотив его: привязывайтесь сердцем к тому, что осталось, ибо «нет пока другого места для души». Ну как тут не вспомнить Василия Розанова: «Тиха Русь. Гладка Русь. Болотцем, перегноем попахивает, а как-то мило всё... Ко всему принохались». И есть зловещий парадокс — Синяя птица, тоже с обратным знаком: самолёт, уносящий «руководствующую» шваль, на которую не действует чудо-озарение. Итак, преобладает ирония, но есть и элегия, грусть по уходящей подлинности.

Что даёт такое название города — Потомск? Напоминает сибирякам: мы не иваны непомнящие, мы — чьи-то забывчивые потомки. Исторический экскурс, увлекательный, но не весёлый, оказался в романе фоном для разговора о современности. Какова она, нынешняя сибирская Россия, понять можно лишь на фоне прошлого. Экспозиция — это вторая глава «Нечто о городе Потомске» — представила разноязычие эпох. От первых воевод-мздоимцев до века двадцатого — многое повторяется. Глава закончена обескураживающим выводом: «Так, безумным обнулением всего накопленного, наработанного и выстраданного закончился в Потомске девятнадцатый век». А что же сказать об исходе двадцатого? Есть прогноз Старца: «И через страшные страдания пройдут нынешние люди, чтобы либо очиститься, либо погибнуть... сомкнутся без зазора дни предыдущие и дни последующие».

Настоящие действия начинаются ближе к середине романа. Но что считать главным событием романа? Наверно, возвращение колокола. Его сопровождает явление светлого Старца из легендарных запасников памяти и превращение губернатора в осетра. Про-

зрачная аллюзия, щедринский сарказм. Основной же свет — от любви Алёши и Ванды. Вот основной сюжетный контраст — настоящая чистая любовь в закоулках Болота. Любовь побеждает летаргию памяти: «А Ванда не знает, чей он потомок. Праправнук». Узнала — потому что полюбила. Заповедник исторической дрёмы в центре города... он где-то между сном и реальностью. Но тревожна надежда автора. Как и в романе Булгакова, в финале всё как будто возвращается на круги беспамьятства. И всё-таки есть несколько «потомцев», которым дано помнить.

На обсуждении романа Владимира Костина я слышал определения: «фантастический роман», «исторический», «бытовой», «сатирический». По частям — верно, но не ухвачен пафос романа, связь сюжета и стиля. Сопрягать эпохи и расслаивать времена, строить сюжет на диссонансах, укрупнять будто бы малое и умалить мнимо крупное — так мне видится замысел. И так понятен горестный возглас приезжих: «И это университетский город!» Теперь каждый областной центр — университетский город, и что же, все они лучше «Потомска»? Скажут в своё оправдание: у нас, мол, губернатор в осетра не превращался. Ой ли? Значит, дух гротеска к вам ещё не пожаловал. Два эпитафия настраивают на двойственное отношение к истории. Из Державина: «Науки, музы, боги — пьяны, / Все скачут, пляшут и поют», из Полонского: «В одной знакомой улице — / Я помню старый дом...»

Колокол над Болотом — ёмкая метафора. На язык просится интеллектуальная проза. Хотя это не жанр, а, скорее, стиль жизни писателя. Не имитационная интеллектуальность — эта сейчас не редкость, а горькая. Тут в свои права вступает ирония истории, а современность подталкивает писателя к сарказму. В Сибири ирония — птица редкая, залётная. Ни в таёжной полосе, ни в степной орде философская ирония не ночевала. Да и врачует дух не она ведь, а любовь, ирония лишь место для неё расчищает. Приелась непрерывная игра на понижение, просветляющих легенд — вот чего не видно. На этом фоне и высветляется лирическая ирония Костина.

Но ирония не самоцель, она лишь подталкивает к раздумью о главном: о семье, о любви и о вере. Ведь сама семья, основа жизнестойкой культуры, размыта, раздавлена в XX веке. Эпоха демонстративно игровой прозы довершает это разложение. А мыслим ли русский роман без семьи? Совместить иронию истории и «мысль семейную» — нелёгкая это задача. И вообще —

напомнить о самых традиционных ценностях, среди коих — быт провинции, хранительницы национального уклада. В этой связи встаёт вопрос: что с романом? Жив ли он ещё? Кажется, на исходе эпоха постмодерна, балаганно-шутовское отношение к истории всем уже надоело. Опять интересны авторы, обращённые к преданию, к родовой легенде, вообще к проблеме рода и семьи в России.

Есть читатели особого, старого замеса, они видят в романе одно ёрничанье. А в каком, мол, это жанре? Бездумно шагать по датам — вот оно, простое, «правильное» отношение к прошлому. Ироник всегда не люб провинциальной «элите», особенно же прикормленной в обкомовских буфетах. Пустые ритуальные знаки эпохи, её самонадеянную ряженость он видит вблизи и на расстоянии. В провинции такой писатель создаёт вокруг себя моральное напряжение, более заметное, чем в столице. Правда, и радиус действия другой.

Стилевой палитре соответствует эмоциональное разнозвучие романа. Стилистика его — разноязычие, вот, пожалуй, самое примечательное свойство. Можно нанизывать иронические бусинки — про нравы старых улиц, где «чужих» испытывают по заветам старины: «Ему ”напихали” — и под глаз, и под дых, и по шее, не тронув только ”помидоры”». Или: «Они пили портвейн дипломатически — одна бутылка на троих». Когда улыбка у читателя не склеивается, тут, наверно, сарказм: «Девица полулёгкого поведения, в полупрофессию вошла непринуждённо и без раздумий... время от времени развлекается тем, что собирается выйти замуж». Непредвзятый читатель это оценит, труднее уловить лиризм, а он — сбережённая в нас человечность. Он, конечно, в музыке повествования. Он и в элегической оглядке на прошлое, он в наложении нескольких сюжетных линий на основной тон. Память места, верность ему — для сибиряка это значит много. Это местная мифология, это домашние идолы: «Болото закрылось в своём мире, живя приблизительными воспоминаниями о славной поре бакланов... Время здесь перепуталось и живёт в комках и разрывах».

Мёрзло Болото, проваливалось само в себя и вспучивалось, а потом и вовсе взбесилось — революция. Уничтожила колокол «эсээрия», а после стала отходить, то есть забывать. Горестные символы, узнаваемые и, порой, ошарашивающие. Горькая ирония не заглушает мелодию породнения: «Чтобы славить Болото и трясины его — до этого надо дожить».

Нынешние залётные «бакланы» наставляют нас: «Чтобы так жить, какими надо быть пентюхами! Бросайте вы это Болото вонючее, шевелите-ка броднями». Ну, знакомо: «Оставь свой край, больной и грешный...». Если жизнь дошла до края своей грязи, то одно из двух: либо грязь заставит вернуться к традиционным ценностям, либо ничего от нас не останется. А на Болоте, где в каждый дом стучалась большая беда, люди хранят осколки старой жизни. И от летаргии памяти снова возвращаются к необходимости жить нормально — любить, и мыслить, и страдать.

Закрываешь книгу с ощущением: что-то новое и хорошо узнаваемое. «Хочется ущипнуть себя: неужели это реализм?» — так воскликнул А. Яковлев (ЛГ, 10.09. 2008) после прочтения книги Костина «Годовые кольца». Вот именно, если реализм, то — магический. Не совсем в духе Гарсиа Маркеса, но где-то в этом направлении. Знаю, что испаноязычную прозу Костин ценит больше всего. В XX веке она стала прорывом провинции в большую литературу.

Да, тут видится посильное сопротивление провинции обезличивающему центру. Писатели-провинциалы рвутся в Москву — и оказываются отгороженными от реальных проблем простой жизни, от народа своего. Потом гонят игровые романы, с натужным интеллектуализмом, с искусственными сюжетными перипетиями. Мнимо интеллектуальной прозы вдосталь, но мало сейчас литературы, лелеющей пластику, органику

жизни, дорожащей опытом поколений. Больше всё антироманы, антиэпос какой-то. Мы ждём: вот-вот окрепнет голос провинции, и отсюда пойдёт новая русская проза. Оригинальность романа, самобытность его я понимаю, может быть, простовато: автор не поступился глубиной ради внешней занимательности.

В «Годовых кольцах» историческая тема проходит вторым планом, или фоном. После выхода этого сборника Костин сделал важную оглядку на свою первую книгу: «Первая книжка была памятником инфантилизму людей моего поколения, инфантилизму вообще и советскому». А может быть, и самообороной — в лихие-то девяностые? Вот уж об инфантилизме по поводу новой книги Костина никто не скажет. Три тона, три цвета радуги — лиризм, ирония, сарказм — подержаны пластикой образов. «Колокол и Болото» — роман о ликах, лицах, личинах и рожах сибирской истории. Иные ведь пишут сплошь благолепные лики, а за угол вечером выйти опасаются. И в подтекст оседает: сейчас — мерзко, зато в прошлом идиллия. Хуже всего, как предупредил Старец, если «одна гадкая белиберда разведётся вокруг ваших воспоминаний». А что же у Костина — так было, так будет? Или нулевое решение? Болото выпало из двадцатого века, «и это безнадежно хорошо»: оно сберегло себя, оно настоящее, и рано или поздно «отступит перед ним Дурь, пронзившая и город, и страну, и мир».

Александр КАЗАРКИН



АВТОРЫ НОМЕРА

Ахпашева Наталья Марковна родилась в 1960 году в хакасском селе Аскиз. Окончила Литературный институт им. Горького. Автор многочисленных поэтических книг, изданных на русском и хакасском языках. Кандидат филологических наук. Заслуженный работник культуры Хакасской республики. Работает в ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Член союза писателей России. Живет в Абакане.

Бабушкин Александр Иванович родился в 1964 году в п. Токсово под Ленинградом. Окончил экономический факультет ЛГУ. Преподавал историю экономических учений, философию, работал грузчиком, сторожем, дворником, охранником, журналистом, главным редактором. Автор трех сборников стихов и книги прозы. Живет в пригороде Санкт-Петербурга.

Волнистая Наталья Николаевна родилась в небольшом белорусском городке. Окончила Белорусский госуниверситет в Минске по специальности «Прикладная математика». Работает программистом. Публиковалась в «Сибирских огнях». Живет в Минске.

Горшенин Алексей Валериевич родился в 1946 году в Ульяновске. Окончил Томский государственный университет. Работал в новосибирских газетах, в журнале «Сибирские огни». Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Октябрь», «Молодая гвардия» и др. Автор книг «Человек среди людей», «Беседы о сибирской литературе» и др. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Иванова Валерия родилась в 1972 г. в Иркутске. Окончила ИГУ. Публиковалась в «Сибирских огнях». Живет в Иркутской области.

Карташов Алексей родился в 1957 году в Магадане, в семье геологов. Учился в Москве, на биологическом факультете МГУ. Публикации в сборниках издательства «Амфора» (серия «Фрам»), автор сказочных повестей для детей. С 1991 года живет в Бостоне.

Метельков Антон родился в 1984 году. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Новосибирске.

Миллер Лариса Емельяновна родилась в 1940 году в Москве. Окончила Институт иностранных языков (МГПИИЯ), работала преподавателем английского языка. Автор многих книг стихов и прозы. Стихи переводились на английский, голландский, норвежский, шведский языки. Член СП СССР (с 1979 г.), Русского ПЕН-центра (с 1992 г.). Участник объединения духовных поэтов «Имени Твоему» (с 1988 г.). Живет в Москве.

Подсвилов Иван родился в 1939 году в станице Кардоникской Зеленчукского района Ставропольского края. Окончил Минераловодское железнодорожное училище, работал старшим путевым рабочим. После службы в армии учился в МГУ на факультете журналистики. С 1982 года — специальный корреспондент центральных газет «Советская Россия» и «Правда», с 1997 по 2009 год — заместитель главного редактора «Подмосковных известий». Член Союза писателей с 1973 года. Автор многих книг прозы, вышедших в Туле и Москве.

Румянцев Дмитрий Анатольевич родился в 1974 году в Омске. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности «Культурология». Печатался в журналах «Арион», «Дружба народов» и др. Живет в Омске.

Рыбин Александр родился в 1983 году в Тверской области. Рассказы публиковались в альманахе «Илья», журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Волга XXI век». Работает в газете. Живет во Владивостоке.

Стахеев Сергей Петрович родился в 1952 году в Чите. Окончил филологический факультет Иркутского государственного университета. Работает учителем русского языка и литературы. Живет в городе Тайшетте Иркутской области.

Яранцев Владимир Николаевич родился в 1958 году в г. Калининe. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журнале «Гуманитарные науки Сибири», областных и городских газетах, в журнале «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.